



**ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ДРУЖБЫ НАРОДОВ
СЕРИЯ:
СОЦИОЛОГИЯ**

2023 Том 23 № 4

**Научный журнал
Издается с 2001 г.**

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-61214 от 30.03.2015 г.
Учредитель: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы»

**RUDN JOURNAL
OF SOCIOLOGY**

2023 Volume 23 No. 4

**Founded in 2001
by the Peoples' Friendship University of Russia
named after Patrice Lumumba**

DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-4

Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: СОЦИОЛОГИЯ

ISSN 2408-8897 (online); 2313-2272 (print)

4 выпуска в год.

Языки: русский, английский.

Входит в перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ.

Публикует статьи по научным специальностям согласно номенклатуре ВАК РФ: 22.00.00 — социологические науки и 09.00.11 — социальная философия. Журнал включен в ядро РИНЦ, RSCI, Scopus, ERICH PLUS, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Ulrich's Periodicals Directory, EBSCOhost, Google Scholar, WorldCat, Electronic Journals Library Cyberleninka. Журнал индексируется в базе данных Web of Science — Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics). Подписной индекс издания в каталоге агентства Роспечать 20826.

Цели и тематика

Журнал «Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология» — периодическое международное рецензируемое научное издание в области социологических исследований. Журнал является международным как по составу редакционной коллегии и экспертного совета, так и по авторам и тематике публикаций.

Цели журнала: публикация результатов фундаментальных и прикладных научных исследований по актуальным вопросам социологической науки, широкий обмен результатами теоретических и эмпирических исследований между специалистами, работающими в различных областях социально-гуманитарного знания. На страницах журнала публикуются материалы по историографии мировой социальной мысли как классического, так и современного периода; статьи по результатам фундаментальных и прикладных исследований по проблематике специальных социологических теорий, по методологии и методике социологических исследований и др. В журнале выступают специалисты, представляющие ведущие научные социологические центры, институты, организации, а также вузы России и зарубежных стран. Широкая тематика журнала представляет возможность публиковаться в нем представителям смежных специальностей (политологам, историкам, экономистам и т.д.), опирающимся в своих исследованиях на эмпирические социологические данные. Кроме научных статей публикуется хроника научной жизни, включающая рецензии, научные обзоры, информацию о конференциях, научных проектах.

Журнал строго придерживается международных стандартов публикационной этики, обозначенных в документе COPE (Committee on Publication Ethics) <http://publicationethics.org>.

Полные сведения о журнале и его редакционной политике, требования к подготовке и публикации статей, архив (полнотекстовые выпуски с 2008 года) и дополнительная информация размещены на сайте: <http://journals.rudn.ru/sociology>.

Электронный адрес: socioj@rudn.ru.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode>

RUDN JOURNAL OF SOCIOLOGY

ISSN 2408-8897 (online); 2313-2272 (print)

4 issues per year.

Languages: Russian, English.

Indexed/abstracted in RSCI, Scopus, ERICH PLUS, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Ulrich's Periodicals Directory, EBSCOhost, Google Scholar, WorldCat, Electronic Journals Library Cyberleninka. The journal is indexed and abstracted in the Web of Science — Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics).

Aims and Scope

Bulletin of Peoples' Friendship University of Russia (RUDN Journal of Sociology) is a peer-reviewed international academic journal publishing research in sociology and related fields. It is international with regard to its editorial board, contributing authors and thematic foci of the publications.

The aims of the journal: to publish the results of fundamental and applied research on the topical issues of sociology, and to ensure a broad exchange of the results of theoretical and empirical studies between scientists from different fields of social sciences and humanities. In the journal one can find papers on the historiography of the classical and modern periods of the world social thought; on the results of fundamental and applied research devoted to the problems considered by special sociological theories; on the difficulties in choosing methodological approaches and techniques for the study of complex social phenomena, etc. The journal publishes papers of the authors representing the leading sociological centers, institutes, organizations, and universities in Russia and abroad. The thematic 'repertoire' of the journal presents opportunities for authors from many disciplinary fields (political scientists, historians, economists, etc.) relying on the empirical sociological data in their research. The journal also welcomes book reviews, literature overviews, and conference reports.

The journal is published in accordance with the policies of COPE (Committee on Publication Ethics) <http://publicationethics.org>.

Further information regarding the journal, its editorial board, requirements to articles for contributors, and the journal's archive (full-text issues from 2008) and additional information are available at <http://journals.rudn.ru/sociology>.

E-mail: socioj@rudn.ru.

Подписано в печать 05.12.2023. Выход в свет 15.12.2023. Формат 70×100/16.

Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура «Times New Roman».

Усл. печ. л. 21,94. Тираж 500 экз. Заказ № 1608. Цена свободная.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» (РУДН)

117198, Москва, Россия, ул. Миклухо-Маклая, д. 6

Отпечатано в типографии ИПК РУДН: 115419, Москва, Россия, ул. Орджоникидзе, 3

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Нарбут Н.П., доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой социологии Российского университета дружбы народов, Россия. E-mail: narbut-np@rudn.ru

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Троцук И.В., доктор социологических наук, профессор, профессор кафедры социологии Российского университета дружбы народов, Россия. E-mail: trotsuk-iv@rudn.ru

ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ

Бакиров В.С., доктор социологических наук, профессор, научный руководитель Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, академик НАН Украины, президент Украинской социологической ассоциации (Украина)

Гаспариивили А.Т., кандидат философских наук, доцент, заместитель директора Центра стратегии развития образования МГУ им. М.В. Ломоносова

Голенкова З.Т., доктор философских наук, профессор, руководитель Центра исследований социальной структуры и социального расслоения Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН

Горшков М.К., академик РАН, доктор философских наук, научный руководитель Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, директор Института социологии ФНИСЦ РАН

Диас Николас Х., доктор политологии, профессор факультета политических наук и социологии Мадридского университета Комплутенсе (Испания)

Егорышев С.В., доктор социологических наук, главный научный сотрудник Института социально-экономических исследований Уфимского федерального исследовательского центра РАН

Иванов В.Н., член-корреспондент РАН, доктор философских наук, профессор, советник РАН

Куропятник М.С., доктор социологических наук, профессор, заведующая кафедрой культурной антропологии и этнической социологии Санкт-Петербургского государственного университета

Назарова И.Б., доктор экономических наук, заведующая лабораторией исследования здоровья населения и системы здравоохранения Института социально-экономических проблем народонаселения ФНИСЦ РАН

Пан Д., доктор социологических наук, профессор Института социологии Шанхайской академии общественных наук (КНР)

Подвойский Д.Г., кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры социальной философии и философии истории философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

Пузанова Ж.В., доктор социологических наук, профессор, профессор кафедры социологии, заведующая лабораторией социологических и фокус-групповых исследований факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов

Ротман Д.Г., доктор социологических наук, профессор, директор Центра социологических и политических исследований Белорусского государственного университета (Белоруссия)

Хагендорн Л., доктор философии (социальная психология), почетный профессор Утрехтского университета (Нидерланды)

Чамбаликова М., доктор философии (социология), профессор, научный сотрудник Института социологии Словацкой академии наук, заведующая кафедрой социологии и социальной психологии высшей школы Данубиуса (Словакия)

Чулуумбаатар Г., доктор философских наук, профессор, академик и первый вице-президент Монгольской академии наук (Монголия)

Шастри С., доктор философии, профессор, вице-канцлер университета Джагран Лейксити (Индия)

Шнайдер С., доктор философии (социология), профессор Федерального университета Рио-Гранде-ду-Сул (Бразилия)

Шубрт И., доктор философии (социология), профессор факультета гуманитарных исследований Карлова университета (Чехия)

Шувакович У., доктор социологических наук, профессор кафедры философии и социальных наук, Белградский университет (Сербия)

Литературный редактор *К.В. Зенкин*

Компьютерная верстка *И.А. Чернова*

Адрес редакции:

115419, Москва, Россия, ул. Орджоникидзе, д. 3

Тел.: (495) 955-07-16; e-mail: publishing@rudn.ru

Почтовый адрес редакции:

117198, Москва, Россия, ул. Миклухо-Маклая, д. 10/2

Тел.: (495) 434-20-12, e-mail: socioj@rudn.ru

EDITORIAL BOARD

EDITOR-IN-CHIEF

Narbut N.P., D.Sc (Sociology), Professor, Head of Sociology Chair, RUDN University, Moscow, Russia.
E-mail: narbut-np@rudn.

EXECUTIVE SECRETARY

Trotsuk I.V., D.Sc (Sociology), Professor, Sociology Chair, RUDN University, Moscow, Russia.
E-mail: trotsuk-iv@rudn.ru

EDITORIAL BOARD

Bakirov V.S., D.Sc (Sociology), Professor, Scientific Director of V.N. Karazin Kharkiv National University, Academician of National Academy of Sciences of Ukraine, President of Ukrainian Sociological Association (Ukraine)

Gasparishvili A.T., PhD (Philosophy), Associate Professor, Deputy Director, Center for Educational Development, Lomonosov Moscow State University (Russia)

Golenkova Z.T., D.Sc (Philosophy), Professor, Head of Center for Social Structure and Social Differentiation, Federal Sociological Research Center of Russian Academy of Sciences (Russia)

Gorshkov M.K., D.Sc (Philosophy), Academician of Russian Academy of Sciences, Scientific Director of Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of Russian Academy of Sciences, Head of Institute of Sociology of FCTAS of RAS (Russia)

Hagendoorn L., D.Sc (Social Psychology), Professor Emeritus, Utrecht University (Netherlands)

Díez Nicolás J., D.Sc (Political Sciences), Professor, School of Political Sciences and Sociology, Complutense University of Madrid (Spain)

Egoryshev S.V., D.Sc (Sociology), Senior Researcher, Institute of Social and Economic Studies, Ufa Federal Research Centre of Russian Academy of Sciences

Ivanov V.N., D.Sc (Philosophy), Professor, Corresponding Member and Advisor, Russian Academy of Sciences (Russia)

Kuropjatnik M.S., D.Sc (Sociology), Professor, Chair of Cultural Anthropology and Ethnic Sociology, Saint Petersburg State University (Russia)

Nazarova I.B., D.Sc (Economics), Head of Laboratory for Population Health and Health System Studies, Institute of Socio-Economic Studies of Population, Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of Russian Academy of Sciences (Russia)

Pan D., D.Sc (Sociology), Professor, Sociology Institute of Shanghai Academy of Social Sciences (China)

Podvoyskiy D.G., PhD (Philosophy), Associate Professor, Chair of Social Philosophy and Philosophy of History, Lomonosov Moscow State University (Russia)

Puzanova Zh.V., D.Sc (Sociology), Professor, Head of Laboratory of Sociological and Focus-Group Research, RUDN University (Russia)

Rotman D.G., D.Sc (Sociology), Professor, Head of Center for Sociological and Political Research, Belorussian State University (Belorussia)

Shastri S., PhD (Philosophy), Professor, Vice Chancellor, Jagran Lakecity University (India)

Schneider S., D.Sc (Sociology), Professor of Sociology of Rural Development and Food Studies, Federal University of Rio Grande do Sul (Brazil)

Čambáliková M., PhD (Sociology), Professor, Researcher, Institute of Sociology of Slovak Academy of Sciences; Head of Sociology and Social Psychology Chair, Higher School Danubius (Slovakia)

Chuluunbaatar G., D.Sc (Philosophy), Professor, Academician and First Vice-President of Mongolian Academy of Sciences (Mongolia)

Šubrt J., PhD (Sociology), Professor, Faculty of Humanities, Charles University (Czech Republic)

Šuvaković U., D.Sc (Sociology), Professor, Department of Philosophy and Social Sciences, University of Belgrade (Serbia)

Review Editor *Konstantin V. Zenkin*

Computer design *Irina A. Chernova*

Editorial office:

Postal Address of the Editorial Board:

10/2 Miklukho-Maklaya str., 117198 Moscow, Russian Federation

Ph. +7 (495) 434-20-12; e-mail: socioj@rudn.ru

Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba (RUDN University), Moscow, Russian Federation

6 Miklukho-Maklaya str., 117198 Moscow, Russia

Printed at the RUDN Publishing House: 3, Ordzhonikidze str., 115419 Moscow, Russia,

+7 (495) 952-04-41; e-mail: publishing@rudn.ru

СОДЕРЖАНИЕ

ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ

- Джонг А.** На пути к космополитической социальной теории: опыт эпистемологического исследования (на англ. яз.)..... 683
- Дмитриев Т.А.** Средневековое городское гражданство на Западе в исторической социологии Макса Вебера..... 704

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

- Горшков М.К., Тюрина И.О.** Консолидация российского общества в условиях современных вызовов: историко-социологический и ценностно-мировоззренческий контексты 720
- Белов А.А., Данилов А.Н., Ротман Д.Г.** Человек-толерантный в ценностной системе координат «эссенциализм – экзистенциализм» 740
- Беляева Л.А.** Цивилизационная идентичность населения в современной России: поиск исследовательских инструментов..... 754
- Савин С.Д.** Стабилизационное сознание в изменяющемся российском обществе 770
- Абгаджав Д.А., Алейников А.В., Пинкевич А.Г.** Риск-рефлексивные детерминанты адаптации в условиях угроз: опыт эмпирического исследования..... 787
- Пузанова Ж.В., Ларина Т.И., Старостина А.А.** Восприятие фейковых новостей студенчеством с разными психологическими характеристиками: результаты методического эксперимента 800
- Голодова Ж.Г., Смирнов П.А.** Подходы к оценке и повышению уровня доступности жилья в России 812
- Меньшиков В., Кудиньш Я., Кокаревича А., Комарова В., Чижо Э.** Междисциплинарное исследование среднесрочного тренда рождаемости в Латвии (1970–2022 годы) (на англ. яз.) 825
- Милошевич Шошо Б., Талянович А.** Социокультурные характеристики суицидального поведения в Боснии и Герцеговине (на англ. яз.) 839

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ЛЕКТОРИЙ

- Муксит М.А., Музыкант В.Л., Пратома Р.Р.** Социологическое исследование киберугроз как составная часть общего регулирования защиты данных (на англ. яз.) 851
- Пузанова Ж.В., Ларина Т.И., Игнатова Т.А.** Сочетание методов фокус-группы и эксперимента: возможности и ограничения (на англ. яз.) 866
- Осеев А.А.** Идеальный портрет руководителя образовательного комплекса: методология и результаты изучения..... 875
- Осипов А.М., Наран Б.** Какова общественная эффективность образования в России?..... 888
- Мухаметжанова В.С.** Нравственные основы деятельности муниципальных служащих 901

РЕЦЕНЗИИ

- Данилов А.Н.** Выбор стратегии созидания будущего 916
- Субботина М.В.** Человек против смерти: идентичность, язык, технологии 924
- Нименский А.В., Герасимов А.Д.** Антиномии цифровизации и визуализации в современной массовой культуре..... 932

- НАШИ АВТОРЫ** 939

CONTENTS

HISTORY, THEORY AND METHODOLOGY OF SOCIOLOGICAL RESEARCH

Jong A. Towards a cosmopolitan social theory: An epistemological inquiry.....	683
Dmitriev T.A. Medieval urban citizenship in the West in Max Weber's historical sociology.....	704

CONTEMPORARY SOCIETY:

THE URGENT ISSUES AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT

Gorshkov M.K., Tyurina I.O. Consolidation of the Russian society under contemporary challenges: Social-historical and value contexts.....	720
Belov A.A., Danilov A.N., Rotman D.G. Homo tolerant in the value system “essentialism — existentialism”.....	740
Belyaeva L.A. Civilizational identity of contemporary Russia: In search for research tools.....	754
Savin S.D. Stabilization consciousness in the changing Russian society.....	770
Puzanova Zh.V., Larina T.I., Starostina A.A. Perception of fake news by students with different psychological characteristics: Results of the methodological experiment.....	787
Golodova Zh.G., Smirnov P.A. Approaches to assessing and increasing housing affordability in Russia.....	800
Menshikov V., Kudins J., Kokarevica A., Komarova V., Cizo E. Interdisciplinary study of the medium-term fertility trend in Latvia (1970–2022).....	814
Milošević Šošo B., Taljanović A. Social-cultural features of the suicidal behaviour in Bosnia and Herzegovina.....	827

SOCIOLOGICAL LECTURES

Muqsith M.A., Muzykant V.L., Pratomo R.R. Sociological study of cyber threats as an integrated part of the general data protection regulation.....	841
Abgadzava D.A., Aleinikov A.V., Pinkevich A.G. Risk-reflexive determinants of adaptation under threats: An empirical study.....	853
Puzanova Zh.V., Larina T.I., Ignatova T.A. Combination of focus group and experiment methods: Opportunities and limitations.....	868
Oseev A.A. Ideal image of the head of the educational complex: Research methodology and results.....	877
Osipov A.M., Naran B. What is the social efficiency of education in Russia?.....	890
Mukhametzhanova V.S. Moral foundations of the municipal employees work.....	903

REVIEWS

Danilov A.N. In search of a strategy for creating the future.....	918
Subbotina M.V. Man against death: Identity, language, technology.....	926
Nimensky A.V., Gerasimov A.D. Antinomies of digitalization and visualization in the contemporary mass culture.....	934

AUTHORS	941
----------------------	-----



ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ

HISTORY, THEORY AND METHODOLOGY OF SOCIOLOGICAL RESEARCH

DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-4-683-703

EDN: FXICHV

Towards a cosmopolitan social theory: An epistemological inquiry*

A. JongRUDN University,
Miklukho-Maklaya St., 6, Moscow, 117198, Russia(e-mail: dzhong-a@rudn.ru)

Abstract. The increasing significance of transnational and global phenomena determines the need in a new social theory that, while considering the particularity and unique characteristics of social phenomena, makes them scientifically meaningful on a transnational and global scale and in relation to each other. The fluid, indeterminate and multi-dimensional nature of global phenomena, which has become the basis for deep uncertainty and insecurity throughout the world, has increased the need to understand transnational and global phenomena. This made social and global studies revisit and reformulate social theory in relation to globalization and ever-increasing global interconnectedness [1; 33]. In general, there are two approaches: the revisionist approach seeks to reformulate and modify social sciences based on the new ontology of the contemporary world and referring to the roots and foundations of social sciences, especially sociology, to be reconstructed and restored [2; 17; 30; 34]; radical approaches argue that, given the historical-social background of social sciences and their epistemological-theoretical characteristics, it is impossible to modify and adapt them to the contemporary world; thereby, they strive to substitute these sciences [1; 4; 18; 23; 35–37]. The paper presents an attempt to find a balance between these two extremes, criticizing the epistemological foundations of social sciences and retrieving them from post-foundationalist philosophy, in order to develop a cosmopolitan social theory. Global cosmopolitanization and the increasing role of indeterminacy, mutual communication and interdependence of social phenomena, determine the need in a social theory that takes into account singularity and conceptualizes it in relation to transnational and global trends through concepts of fluidity and indeterminacy. The author argues that social sciences and theories are based on three epistemes — modern, national, and imperial — as the epistemological-historical foundations. Any cosmopolitan social theory

*© A. Jong, 2023

The article was submitted on 21.06.2023. The article was accepted on 26.09.2023.

needs primarily to criticize and go beyond these epistemes, which the author shows by interrogating two epistemological antinomies — universalism/singularism and essentialism/relativism. Post-foundationalism and the idea of social configurations are presented as the cores of cosmopolitan social theory, which can overcome the predicaments imposed by three epistemes and provide a solution for the above-mentioned antinomies. .

Key words: cosmopolitanization; episteme; post-foundationalism; indeterminacy; social configurations; migratory realities

Modern social science, especially sociology, emerged in the 19th century at the peak of the first wave of modernity, in the era of certainty in the colonial metropolises and nation-states of Western Europe, in which the modern immanent reason promised to rebuild the world with science, technology and the idea of progress [1; 18; 35; 38–40]. This social science was affected by the historical and social conditions of the time and was a part of the promises of its age. Like natural sciences, this science claimed to be universal, trans-historical and objective and to make objective phenomena in different times and places meaningful with a specific conceptual-categorical apparatus [18; 35; 38; 41]. This apparatus had fundamental features that not only highlighted certain types or aspects of phenomena as objects of inquiry but also participated in their (re)construction. For instance, when the social became an object of investigation, some characteristics were defined for it a priori and it was made meaningful in relation to the non-social [42]. This meant setting aside or reconstructing many phenomena in terms of determined and given categories that were supposed to make sense of the world and then reorganize it like natural sciences. However, this conceptual apparatus has encountered serious epistemological, ontological and normative challenges in understanding social phenomena in different societies and times. Therefore, many contemporary social theories attempt to reform, deconstruct or reconstruct social science based on the ideas of second modernity [43; 44], globalization [15; 32], global culture [24], postmodernism [29], world society [45; 46], world system [31], civilizations [39; 47], post-colonialism [2; 8], global south [1], indigenous and local communities [48; 49], world risk society [50], late capitalism [51], post-nationalism [52], etc., and aim to propose both theoretical and empirical alternatives.

Based on Foucault's concept of episteme [53; 54], this paper shows that social sciences in general and sociology with dominant social theories in particular are epistemologically based on the modern, colonial, and national epistemes. The entanglement and simultaneity of these three epistemes allowed a certain conceptual apparatus to dominate in social sciences. However, today it has greatly reduced the effectiveness of social science in making sense of fluid, indeterminate, and global social phenomena. The paper describes the characteristics and operation modes of these epistemes in social sciences; shows that any social science and theory that intends to overcome the predicaments of these three epistemes under the current cosmopolitanization [3; 4; 23; 37; 55–58] (globalization of uncertainties, indeterminacies, and interconnectedness) will face two epistemological antinomies

(essentialism/relativism (as extreme form of constructivism) and universalism/singularism) and is to provide a solution to overcome them. Such a solution can be found in post-foundationalism [9; 10; 59] — while suspending these dualities, it attempts to highlight contingency and indeterminacy as the key characteristics of social phenomena in the era of uncertainty and fluidity. Thus, social phenomena are conceptualized in a process of becoming based on the conditions of their possibility and within a constellation of relations and categories. Thereby, the idea of social configurations will be considered as an object of cosmopolitan social theory and global inquiries. Finally, focusing on migration as an example of social configurations, their modes of construction in the age of cosmopolitanization will be described.

Modern social science and modern, national and imperial epistemes

When it comes to sociology, the world consists of entities called societies. Societies and the social are considered the main objects of social inquiry, but their quiddity has always been a source of dispute as the basis of various sociological theories and paradigms [60]. Sociology developed in the time when order and progress were two fundamental ideals and presuppositions of the modern thought, foundations of a new ontology of the social world [1; 18]. Based on this ontology, separate, given and distinct entities were considered as outside and independent of subjects (sociologists, according to Auguste Comte), with law and order that could be recognized and regulated [18; 41; 61]. At the level of epistemology, it is assumed that, on one hand, these standardized and separate entities can be scientifically known based on a kind of categorization system (theoretical-logical systems and empirical evidence); on the other hand, there is a correspondence between these external entities and cognitive categories. Indeterminacy, contingency and accidentality were supposed to be controlled by regulated and rational categories and foundations [18; 35; 41; 59; 62; 63]. The modern episteme [10; 53; 54] cognitively, the imperial [1; 2; 64] and national epistemes [10; 40; 65] historically provided the conditions for modern social science.

For Michel Foucault, episteme is a general system of understanding in a period of history that “imposes on each branch of knowledge the same norms and postulates, a general stage of reason, a certain structure of thought that the men of a particular period cannot escape” [54. P. 211]. Episteme refers to the historical a priori of an epoch [66. P. 22] which provides grounds for truth, knowledge, sciences, and discourses [67]. Epistemes are conceptual and epistemological regimes for suspending the indeterminacy of the objective world and for rationalizing or imagining some order for it. Each episteme possesses a system of regulations and principles; based on the order in which these rules and principles are placed in that system, provides conditions for discourses and sciences; identifies their internal, conceptual, and fundamental relations; determines instruments and possibilities

for consolidation and dominance of discourses; constitutes true and false, central and important, secondary and unimportant categories, insiders and outsiders. Thus, epistemes are cognitive contexts for understanding the order of the universe or the order of things.

In any given culture and at any particular moment, there is always only one episteme that defines the possibility of knowledge and discourses, being expressed in a theory or implied in a practice [53. P. 183]. In *The Order of Things* [53], Foucault identifies three epistemes in the Western culture, each dominated in a specific period, determining a specific form of the structure, arrangement and pattern of knowledge. The first episteme, in the pre-classical period (Renaissance), developed in the Medieval Ages and continued after the Renaissance to the early 17th century — its basic principle was analogy and resemblance. The classic episteme was the second — from the mid-17th century to the early 19th century — and claimed that rather than resembling things represent each other. The third, modern episteme developed in the modern epoch — since the 19th century, seeking to discover a rational and universal order embedded in regulated facts and events of the universe, i.e., a kind of essence, origin and, thus, history are imagined for phenomena, being comprehended by the subject. Order was grasped in the episteme; however, primarily based on differentiation rather than resemblance or cognition of representations. Differentiation, presupposed essence and history were the central principles of this episteme for suspending the indeterminacy of reality based on a kind of foundationalism [10; 53].

According to the requirements of the modern episteme, objects of knowledge are established and standardized units, each has an origin and a history [54] based on a rational and universal order which can be understood based on a regime of foundationalist differentiation [10; 42; 68]. Foundationalism epistemologically implies that there is a complete, fixed and independent foundation outside the research object, and knowledge of phenomena requires knowledge of this foundation. On the contrary, anti-foundationalism seeks to criticize and negate foundations (as opposed to foundationalism) and non-foundationalism denies the claim of any foundation [9; 10; 59; 65; 69]. In modern social theory and sociology, foundations (order, progress, state, nation, etc.) were invented and referred to for understanding and making sense of the external world. The objects of social sciences, like objects of natural sciences, could be made meaningful in an ordered and logical system of categories, and then laws of a high degree of universality and certainty could be formulated. This level of universality, certainty and determinacy were as if granted to the modern man by the immanent and critical reason of the enlightenment [9], at the moment of the Western culture's transition from representation to differentiation. Man became a subject who made himself an object of his knowledge, which, according to Foucault [53], created the modern human science. Categories of citizen, society, people, state, nation, right, justice, class, progress and so on were (re)constructed to identify

and make sense of the modern social and personal life in Western Europe and then in the global North.

The question is how we can make sense of the relationships between a concept like nation, with deep roots in the Western political philosophy [38], and real social structures in Western Europe in other times or in non-Western societies? According to the modern episteme, the construction of a category such as nation or society implies the definition of non-nation and non-society [10; 42]. Therefore, the issue of threshold is the most important element in many social categories. In the same token, each conception or definition of order and progress implicitly and explicitly includes a conception or definition of disorder and non-progress. Considering nation, the evolution of the concept implies the exclusion and disregard of many social actors, times and spaces that are somehow not incorporated into the social analysis of nation, which was the basis for various regimes of regulation. The relationship between these categories and realities presents both epistemological and ontological challenges, raising the question of whether it is possible to accurately define social phenomena beyond the modern Western European episteme. For instance, if the modern episteme determines the object of research, its characteristics and the method for its study, how can we assess the effectiveness of the category “nation” for explaining social phenomena in different temporal and spatial contexts?

Modern social sciences have developed gradually from the 16th century, while sociology as an academic discipline and public discourse — from the late 19th century in European and American metropolises [1; 18; 39]. According to Michael Burawoy, “sociology was born with civil society at the end of the 19th century. It was born with the rise of mass education, mass parties, the expansion of media and transportation, the police and postal service, newspapers and new means of transportation, all of which linked populations to their nation-state. The topics of sociology — family, organizations, political parties, culture, deviance and social control, etc. — presume a space for society alongside but also intimately connected to market and state” [70. P. 5]. This sociology developed within the culture of imperialism and in urban metropolises. The new science embodied an intellectual response to both modern and colonized worlds [1]. The rapid and revolutionary transformations of Western European societies due to the idea of progress made understanding of these changes and of the issue of order more problematic. This is why such categories as society, community, norms, cooperation, authority, solidarity, status, sacred/profane, alienation, division of labor and various types of social changes stem from the idea of progress together with such categories as revolution, industrialization, competition, secularism, modernity, etc., and became the central objects of modern social sciences. As many post-colonial thinkers argue, sociology was born in metropolises and colonial nation-states of the West to face their imperialist problems [1; 2; 5–8]. The search for universal laws for progress and later for modernity allowed “the

idea of global difference” to dominate sociology through the imperial episteme, which assumes “differences between the civilization of the metropole and other cultures whose main feature was their primitiveness” [1. P. 7]. Therefore, social theory transposed “a temporal-chronological scheme (modern vs pre-modern) onto a spatial-ideological construct (occident vs orient); thus, the non-Western became pre-modern, and modernization implied Westernization” [64. P. 367].

Foundations is also a fundamental issue for the imperial episteme and especially for its idea of global difference as another representation of the foundationalist differentiation, which can be traced in the works of most classical sociologists on the natural state of society and its progress[64]. Therefore, since August Comte, the universal laws of progress and the problem of order have become the basic agendas or foundations of sociology. In the light of the modern episteme, a regime of foundationalist differentiation is at work in the imperial episteme. On the one hand, in metropolises, the dominant sociological understanding of order and progress as constitutive elements of society allowed to exclude a majority of groups, relations, times, and spaces; on the other hand, sociology defined a kind of non-society for colonies through the bias of methodological nationalism and national episteme [10; 23; 71–73]. In this conception, history has only one path with universal laws represented in the scientific idea of progress. Western and modern societies were the only societies of progress, while other communities were forced to follow these universal rules as much as possible. Sociology was the leading scientific discipline that formulated the universal laws of progress and order [1].

Thus, sociology was a discourse of society articulated in a certain period of transformation of western societies, but then it claimed to be scientific and universal and, relying on a regime of power/truth of the time, managed to impose its epistemic requirements on the understanding of all types of communities. In general, the imperial episteme developed in the epistemology and methodology of sociology through its four major features that every critique of sociology focuses on: the claim of universality; definitions ‘from the center’; gestures of exclusion; and grand erasure. Sociological theories and methods claim to be universal and suppose that “all societies are knowable, and they are knowable in the same way and from the same point of view” [1. P. 44], while any ideas outside metropolitan universities are classified as local or indigenous. General social theory always tries to provide a solution to the antinomies, dualities, problems and weaknesses of previous and existing theories that were formulated mainly in the global North and address the social world based on the dominant categories of Western modernity. In addition to the regime of differentiation embedded in the modern episteme, there is a kind of direct exclusion or deliberate choice in the assumptions, references to other theories and empirical data in sociology.

Another foundation on which modern social sciences have attempted to explain the world is the nation-state as the basis of the national episteme. Modern social

science and its major analytical categories, including society, state, nation, solidarity, rationality, class, territory, power and so on, have developed during the era of nation-building. Fundamental categories of social sciences were integral to the developing idea of the nation-state or the ideal of the state/nation congruency in Western Europe [23; 40; 72; 74–77]. These categories and the logic of their analysis implied the strive of the age to reorganize communities as different forms of nation-state or national entities.

The ‘national episteme’ in the epistemology of modern social sciences refers to a specific and historically contingent system of understanding that governs knowledge, truth, sciences and discourses within a particular nation-state. This episteme is a comprehensive system of thought that shapes and constrains the way individuals in the given historical period perceive the world. The national episteme establishes norms, postulates and a fundamental structure of thought through various fields of knowledge and inquiry based on the epistemic boundaries of nation-state and congruency of nation/state. It embodies the historical a priori of that nation-state, which means that it is deeply intertwined with the historical and cultural context of the specific society and period. This national episteme not only influences how knowledge is produced and organized but also determines the conditions for the development of sciences and discourses within the national context. It establishes the rules and principles that structure the knowledge system in the nation-state and determine the internal, conceptual and fundamental relationships within the knowledge system. The national episteme shapes the very foundations of social sciences based on the presuppositions of the global regimes of nation-states, influencing what is recognized as valid knowledge, how it is categorized, and who or what is defined as an insider or outsider by the intellectual community of that nation-state.

The dominance of the national episteme in social sciences led to methodological nationalism. In the broadest sense, it is any kind of equality or correspondence between society and nation-state, i.e., “naturalization of the nation-state by social sciences” [71. P. 301; 72. P. 576]. By assuming a regime of state/nation congruency [77], methodological nationalism considers states and their governments as the primary focus of social-scientific analysis [33] and defines the nation, state and society as the natural social-political forms of the modern world: humans are naturally organized into a certain number of nations, each constructs itself internally as a nation-state and sets exterior boundaries to separate itself from other nation-states [23; 56]. Even in comparative studies, society, its components and history are considered as the nation-state, its elements and history, and social conflicts of interests are interpreted in terms of national conflicts. “It is a nation-state point of view on society and politics, law, justice and history that governs the sociological imagination. And it is exactly this methodological nationalism that prevents the social science from getting at the heart of the dynamics of modernization and globalization, both past and present” [55. P. 287]. While this nationalistic

perspective continues to provide insights for considering and even criticizing various social phenomena, it selectively highlights some aspects of political, social and economic phenomena and disregards or distorts others. Here the modern regime of foundationalist differentiation is also at work. By excluding the (internal and external) non-national (religious, irrational, traditional, ethnic, oriental, contingent, singular, transnational, minor, etc.), the modern social theory — under the influence of the national episteme — ignores the conceptualization of singular non-national or transnational phenomena, non-national rationalities and ideas, mobilities and transnational interdependency, immigrants and strangers, transnational and global organizations and forces. Through understanding how methodological nationalism has formed the modes of categorization and conceptualization of the social world, we can grasp the epistemic implications of nationalism and nation- or state-building for social sciences.

The simultaneity and dominance of three epistemes provided the epistemic basis for the emergence and consolidation of modern social sciences in the 19th century and for the first wave of modernization which promised the global reconstruction based on immanent reason and with the help of science and technology in overcoming uncertainties and indeterminacies. This modernization and its epistemological and historical foundations face serious challenges in the current era, especially under cosmopolitanization return of uncertainties; therefore, modern social sciences as a product of modernity have lost their functional roles [23; 43; 50; 56; 78–82] in the world of more fluid and indeterminate forms, units and boundaries [3; 9; 10; 23; 36]. We witness transformations of social phenomena and their subsequent reconstruction in the era of uncertainty, indeterminacy and interconnectivity. Fundamentally, cosmopolitanization entails globalization of crises, uncertainties and indeterminacies, which made prominent institutions, such as state, family, religion, economic and educational institutions that guided the first wave of modernization and structured the modern society face the most formidable challenges in fulfilling their functions. Thus, determinacy, order and rationality that the modern episteme previously applied for understanding external phenomena are no longer effective, since social phenomena have become fluid and indeterminate. The ontology of the contemporary world is not transitioning or progressing toward a new or other (determinate) order; rather, it steps into the realm of uncertainties and indeterminacies. For instance, the state can manifest itself in different forms that it cannot be easily categorized as democratic, religious, autocratic, socialist and so on. A social phenomenon can emerge as economic in a specific time and place, but immediately disintegrate and lose its functionality, turning into a cultural phenomenon; it can no longer be defined as economic or cultural due to being heterogeneous and indeterminate. Consequently, such social categories and units have become ‘zombies’, since they lack any inherent meaning in the external world after their production.

On the other hand, with the imperial episteme under cosmopolitanization, we witness the agency of entities, rationalities, cultures, actors and — more broadly speaking — facets of the non-Western world, subjugated and expelled under modernity, its rationality and institution, and under the modern, imperial and national epistemes. Today a radical Islamic group in the Middle East or East Asia can create major global crises; post-colonial movements, suppressed civil society actors or forces previously marginalized as non-democratic, non-scientific, non-modern and non-secular can play a role in cosmopolitanization, challenging many established global relationships and orders. Ultimately, cosmopolitanizing realities mean transnationalizing world, which contradicts the national episteme and determines mutual global interactions of social phenomena. This implies that a national or local phenomenon possesses facets of transnationalism, since it is influenced by global and transnational trends and relations and can contribute to the creation of transnational or global phenomena. However, national entities/actors and states are not the only influential players on various national, regional and global scenes, which signifies a shift and suspension of robust categorizations and boundaries of the national episteme. Thus, three forces shape the ontology of the new cosmopolitanizing world — indeterminacy, transnationality and global interconnections that contradict the epistemological foundations of social sciences within the three dominant epistemes. Today social theory, a prisoner of these epistemes, needs to be reconstructed in order to be epistemologically able to reconceptualize social phenomena.

Preconditions of a cosmopolitan social theory

Is it possible to formulate a new understanding of society in social theory and sociology to solve the problems imposed by the modern, national and imperial epistemes and to present a more realistic picture of the contemporary world? How is it possible to analyze social phenomena after incorporating the indeterminate and suspending the regime of foundational distinctions that operates throughout these epistemes? How can uncertain elements lead to the suspension of the foundations of these epistemes? What will be the consequences of such efforts for social actors? Within the ontology of cosmopolitanization, how can one make sense of social phenomena with their unique, singular and local characteristics in relation to global and universal processes as inherently uncertain and indeterminate? How can this conceptualization escape the trap of essentialism, extreme relativism or groundless and non/anti-foundationalist approaches and produce knowledge about fluid and heterogeneous social phenomena? There are various answers to these questions [1; 8; 18; 21; 37; 41; 45; 83–85].

If the contemporary social theory intends to adapt its ontology to cosmopolitanization, first it needs to overcome the dominance of three epistemes. There is a disparity between the ontology of the contemporary world, i.e., cosmopolitanization, and the epistemology of social; therefore, the social theory

should suspend the dominance of three epistemes and consider indeterminacy, transnationality and global interrelations in comprehending current phenomena and configurations, i.e., we need a coherent and epistemologically deconstructive approach to reexamine and revise the core issues in the epistemology of social sciences based on the antinomies of essentialism/relativism and universalism/singularism, which would set the ground for a cosmopolitan social theory.

By discarding indeterminacy and relying on solid and rational foundations, the modern social theory and sociology of the 19th century aimed at making sense of the world scientifically and then at reconstructing it mainly at the national level. Today, after the era of global modernization, the world faces the unintended consequences of modernization, trends that have ontologically transgressed many categories, boundaries and epistemic characteristics of the modern world [78; 82]. Instead of the certainties of the first modernization, the contemporary world faces global risks, crises and threats that go beyond national and state boundaries. Indeterminacy and uncertainties that were supposed to be controlled by three epistemes seem to return, which changes the configuration of the world. The dominance of three epistemes has reduced the analytical efficiency of social sciences and turned many of its categories into zombie categories [36; 86]. A mere reformulation or modification of these categories and theories will not lead to a better understanding of the contemporary world — we need to suspend the dominance of the epistemes and their central logic, particularly foundationalist differentiation, to make social theory address indeterminacy when analyzing social phenomena — of a transnational or global character, in fluid and indeterminate relationships with each other. Cosmopolitanization as globalization of risks and indeterminacy [50; 55; 56; 80; 87] determines the need in a cosmopolitan social theory that would consider multiplicity and particularity of different social phenomena in their totality, in relation to each other and in transnational and global contexts.

Epistemologically, cosmopolitan social theory is to delineate the subject of social inquiry and elucidate the nature of knowledge in the new global context. This paper introduces the idea of social configuration as an alternative and solution to the above-mentioned challenges and uses migratory realities as an illustrative example to demonstrate the relevance and efficacy of the idea in the analysis of social phenomena within the cosmopolitanized spaces of action.

Basically, the idea of regulated, isolated, standardized and determined external entities as independent units with specific laws together with the assumption that these units are knowable and correspond to epistemic categories, is the very manifestation of essentialism [35; 41] based on the unified set of knowledge and logical prepositions with a common genesis. According to the modern episteme [53; 54], since the subject shares a common origin and foundation with the object of analysis, we can grasp a certain truth and knowledge. Any progress in knowledge would be accomplished by “the application of logic and mathematics to the known and the unknown. The ultimate goal consisted of reducing reality to propositions

that were both timeless and universal” [88. P. 79]. This mode of study of nature was transferred to the study of society.

Such a foundation together with the ratio of the objective world and cognitive categories in different epistemic apparatus determines whether it is essentialist or relativist. In radical constructivism or relativism, objective realities are suspended in favor of subjective categories [41] (no direct and valid correspondence between cognitive categories and objective entities). In general, the idea of an entity called society in the objective world, as a unit with discernible order and law, is a representation of essentialism in the works of many sociologists. On the other hand, the claim of the impossibility of society and the social has also been expressed by many constructivist approaches in social sciences [89]. The essentialist conception, which always presupposed an external foundation of society, was dominant since the birth of sociology. In classical sociology, society was founded on order and progress and functioned like a set of mechanical or organic units; events and forces contrary to the dominant perceptions of order and progress were excluded as contingent, indeterminate, uncertain or even abnormal and disruptive. In constructionist approaches, the existence of any regulated and given society in the objective world is basically rejected, and the demarcation and regularization of many social units is attributed to mental and linguistic categories [90]. In extreme constructivism, we enter the realm of anti/non-foundationalism, groundless nihilism that claims everything to be imagined, which makes society impossible, its history plural, discrete and unbalanced, and scientific knowledge of the social world suspended [9; 41]. Michel Foucault [54] defines this antinomy as a duality between norm, rule and system — function, conflict and signification, i.e., even extreme constructivism, or anti-foundationalist philosophy, is also subject to the requirements of the modern episteme.

Modern science has always claimed to be universal [88], and universal categories or propositions with the highest level of inclusion and certainty have been the most important criterion of being scientific. This science was to provide universal explanations for natural and social phenomena through both logic and empirical evidence. This conception of science has been criticized both in the global North and the global South. Basically, the idea of universal laws for the social world is a modern idea based on immanent reason, but are these universal laws and categories valid for other societies and times both in the past and the future? [88; 91] In radical post-colonialist approaches criticizing the basis of any universal laws, this understanding of knowledge is considered western, universalist and totalitarian. It states that everything is a singular event that is fundamentally and incommensurably different from any other; for instance, principally, modernity was a singular event in the West, but the Western regime of truth/power strived to promote the singular as the universal, as a general law to be imposed on other times and places [8; 92]. Secularism was a local idea that emerged in “the 17th century as a political solution intended to end the European Wars of Religion

by establishing a lowest common denominator among the doctrines of conflicting Christian sects and by defining a political ethic altogether independent of religious doctrines” [93. P. 324]. But this local and historical doctrine was turned through the secular episteme into a universal, self-evident, trans-temporal idea and one of the main pillars of universal modernity.

In post-colonialism, post-modernism and various types of constructivism/constructionism, society is considered as a special arrangement in a certain period of modernity in the global North, which became a universal category with cosmopolitan characteristics. In this post-metaphysical or anti-foundational approach, the scientific understanding of society (sociology) is rejected [90; 94] and substituted by its interpretation as a set of singular categories [29]. The main concern of social analysis is to deconstruct the foundations of the dominant regime of power/knowledge in order to identify the events and ruptures that are the basis of such regimes and present them as truths or trans-historical and trans-spatial realities [8]. The only universal foundation is the difference between the singular(s) [90], because only this idea makes the singular meaningful and plausible.

Another important issue is history and historicity. It is still unclear whether general social categories have a universal and shared history (of progress) or we deal with multiple histories of different categories in different societies. This issue is clearly illustrated by the debates on modernity as one of the key categories of sociological theory: does modernity have a universal rule and a unified, teleological, linear and universal history, or are there multiple modernities and non-modern histories? Is it possible to talk about history/sociology and its categories, with the level of determination implied in the Western modernity? Many anti-foundationalist approaches strive to define themselves precisely in opposition to the Western modernity and its universal history based on local historical conditions. These are questions and dilemmas that have determined the history of sociology due to the dominance of the modern, national and imperial epistemes [7].

Post-foundationalism and social configurations

According to post-foundationalism [9; 10; 59; 95; 96], many problems determined by the antinomy of essentialism/relativism and universalism/singularism can be solved by suspending the national, colonial and modern epistemes. First, the idea of complete, solid and given foundations should be replaced by the idea of incomplete, partial and indeterminate foundations [59; 95], i.e., society is an incomplete and partial category [59; 90; 97]. Put it differently, each foundation determines one possibility out of many and the impossibility of other foundations. Therefore, the abyss or groundless is embedded in every realization of the foundation because it implies the non-realization of other foundations [9]. Accordingly, social phenomena are contingent, and contingency means that any social analysis must prioritize the possibility or impossibility of a socially determined phenomenon [98]. Moreover, phenomena are determined at a certain moment and space and under

a certain historical constellation, which means that historicity must become a part of social analysis [99], i.e., social units should be considered neither given, nor prior and completed. Thus, the corresponding social categories would be incomplete, relational and ongoing within the temporal-spatial horizon. Sociologists study the temporary moment of determination of the social, which means that the idea of regulated, self-founded, self-contained and standardized units in the social world should be discarded. Second, the idea of the correspondence of cognitive categories to external units should be suspended as the idea of any final and solid foundations for these categories. But what is the object of social inquiry in the post-foundationalist approach? What phenomena are supposed to be represented by social categories instead of given objects?

The modern science aimed at knowing the unknown by overcoming uncertainty and indeterminacy [18]. If the social is only an incomplete effort of society in the path of determination, this determination can display different levels of universality or singularity. The issue of determination as based on the verification of conditions of possibility is another layer that must be included in social analysis to simultaneously consider the universal and the singular. For instance, in the regime of nation-states, this means determination by the requirements of power and truth in the form of the nation. Therefore, if we consider migration in the regime of nation-states, it has such universal characteristics as moving from one nation-state to another, but, according to Theodor Adorno [100], cannot be completely understood in its general unity in a scientific way. Migration implies different and even diverging determinations in different moments and spaces [88]. Moreover, the moment of determination of social reality, a mediator between the universal and the singular, can be grasped neither in the form of universal categories nor as a field of singular events — only as a set of heterogeneous configurations.

By considering social units as particular configurations (between the universal and the singular) and relational entities, we can overcome the antinomy of both universalism/singularism and essentialism/relativism. Social configurations are contingent units determined by social actors in a particular time and place under certain conditions. Unlike regulated social units, interconnectivity, incompleteness, fluidity and indeterminacy are the key features of configurations. Many categories, elements, relations, variables, etc., which social theory located as its objects in the context called society, become meaningful as social configurations — constructed, consolidated, reconstructed and deconstructed. This does not mean a simple replacement of one analytical unit with another, it is rather giving up determined units and making sense of indeterminate phenomena. The level of determination, universality, stability, continuity, generalizability, historicity, agency's quiddity, normativity or descriptiveness, coloniality, locality, nationality or transnationality, etc., are specified within a configuration at the level of the particular in a temporal-spatial context. When configurations are considered particular units 'between' the universal and the singular, they differ in degree of determinations/foundations

and family resemblances (in the Wittgensteinian sense). As a result, these configurations, while preserving their distinctive characteristics and singularities in various relationships with other configurations, manifest different levels of universality. Different networks of relations and connections can contribute to more comprehensive, universal, inclusive, and structurally sound, larger-scale configurations.

In the analysis of configurations, all actors, entities and relationships involved are considered through their roles and centrality explicitly delineated. There is no prior differentiation in the analysis of configurations at any level, and an inclusive approach can be applied. According to post-foundationalism and the idea of social configurations, the modern, national and colonial epistemes and their representations in social sciences have been historical configurations that managed to self-perpetuate by representing themselves in a transhistorical manner and in various regimes of power/knowledge, thus, having transformed into dominant, given and natural epistemes. Therefore, an empty signifier like society is a set of configurations in a certain time, space and place. By considering the contingency of these configurations, the social theorist first scrutinizes the conditions of their possibility and then analyzes their main features. For a thorough understanding of configurations, a priori categories and universal theories must be deconstructed, and extreme singularism and empiricism/presentism embedded in many social approaches must be avoided. Since all categories are defined a posteriori in relation to configurations, in their verification the gap between theory and method would be closed. Therefore, in the epistemological perspective, configurations are understanding tools beyond the wrong assumption that there are pure universality and mere singularity.

Social configurations and the case of migration

Social configurations as the main object of social inquiries can be an epistemological solution for the above-mentioned predicaments and incorporate indeterminacy into social theories in the age of cosmopolitanization. Unlike regulated, standardized, fixed and determined social entities (state, nation, institution, family, etc.) or given and prior categories (culture, religion, migration, economy, etc.), social configurations are indeterminate and posterior due to the engagement of different actors at different levels with different goals. These actors interact to meet some needs, pursue some interests or based on structural conditions, which requires some pre-existing social positions and learning some social roles (exposure, acquaintance, internalization and then action or position, disposition and practice) [9; 101]. These interactions and practices result in a network of relations ‘around’ constructive categories. The types and orders of categories and their discursive expressions become the basis for different regimes of boundaries and for the construction of social entities or configurations. In general, the grammar of configurations, whose fluidity,

relationality and indeterminacy are their most important features, determines their quiddity [9; 102].

Social configurations are built on distinct foundations, but these are incomplete, non-given foundations partially determined in a constant process of grounding under special historical conditions. Therefore, configurations display different levels of determination, and the only thing the researcher has access to is the moment of such determination. Therefore, configurations are basically contingent and determined under special conditions of possibility, which should be taken into account to understand these configurations. The contingency of configurations and the incompleteness of their foundations indicate that this determination is accompanied by the indeterminacy of other possibilities, which should also be incorporated in social analysis. Thus, when a social configuration in terms of categories and their orders finds an economic articulation, other foundations and characteristics become impossible, which entails different levels of stability, durability and scales. A configuration may be formed at the national level but have transnational implications [102]. A configuration may be economic and transnational, but it can be globalized on another level and become cultural. The scale, stability, durability and grammar of a configuration can make it manifested in the form of a nation or a short-term economic community consisting of various actors in the cyberspace. All these features are comprehensible a posteriori — by empirical or historical investigation of configurations, their grammar and relationship with the structural foundations and other configurations. Social configurations can be compared based on non-foundationalist and non-essentialist approaches, like family resemblances, and the degree of particularity of configurations and their components can be identified in relation to each other [88].

International migration is an excellent example of a transnational phenomenon resulting from cosmopolitanization and determining fundamental transformations. Based on different economic, political, cultural, geographical and social foundations, in many social theories, various aspects of migration have been studied [103–107], including with implications of the three epistemes. Most migration theories are mainly foundationalist and fall into the trap of methodological nationalism and Eurocentrism. Even multidisciplinary, transnational, postcolonial and cultural approaches that tried to criticize foundationalist approaches have also been caught in a kind of anti/non-foundationalism [103; 108]. By suspending the category of migration as complete and given and considering it as an interconnected set of social configurations, the fluidity, indeterminacy and relational nature of migratory realities can be revealed. The actors of these configurations (immigrants, asylum seekers, workers, groups, capitals, families, states, transnational organizations, etc.), from the time of their movement to the time of their settlement in a new society, participate in several social configurations

or become the creators of new configurations. Therefore, migration is not just a matter of mobility from one nation-state to another under certain structural factors, we need to identify the contingency of configurations and the conditions of their possibility, because there is no universal or trans-historical factor to understand migration patterns and phenomena as indeterminate and fluid under the current globalized risks.

The scale, domain, relations, actors and forces dominating these configurations and, in general, their quiddity should be ‘extracted’ from the empirical study of existing configurations. Whether they are antagonistic or cooperative, economic or cultural, stable or temporary, etc., all are contingent configurations. Migration can be a category in a larger configuration or a platform for the accumulation and formation of other types of configurations. Therefore, understanding these configurations in spatial-temporal contexts and in mutual structural and historical relations, and also their internal grammar is the key task in making sense of migratory realities. Such understanding of a configuration and its degree of particularity can be achieved through comparative studies based on the method of family resemblances. Different actors interact, carrying on their own previous categories and pursuing their imagined interests, which results in the construction of some categories and a temporary agreement on what they are/mean. The category of migration may be constructed during this process or as its result, then these categories are placed in a specific order determining the content of a migratory configuration — national, transnational, political, religious, antagonist, economic or cultural. Then these categories and their orders become the basis of different regimes of boundaries and groupings and represent themselves in different forms of configuration with various types of stability and durability. Migrants may form various configurations with other actors and enter into various relationship with the host society — from cooperation to conflict. Despite being rooted in the existing social, national and economic entities, migratory configurations pass through such entities and obtain various forms [82], including a set of social configurations in close relationship with national, ethnic, gender, religious, etc. realities and their different types of configuration.

Cosmopolitanization exposed the contemporary world to the most profound global transformations, but the dominant social sciences and theories continue to ignore uncertainty and indeterminacy and to rely on the modern, national and imperial epistemes. The social analyst is either afraid or unable to incorporate indeterminacy into analytical categories because this would collapse the research field that constitutes his profession and discipline. Therefore, the gap between the cosmopolitanized world and sociology, or between the ontology and epistemology of social theories, is increasing, which directly and indirectly leads

to the exclusion and neglect of phenomena, actors, relationships and entities that play an active role in shaping various social configurations. In the traditional social sciences, many actors or phenomena are labeled as accidental, unscientific, irrational, non-modern, non-liberal, non-democratic, non-national, disorderly, regressive and so on. The dominance of these epistemes hinders the understanding of these entities, relationships, actors and configurations, especially by deferring their unique and singular cultural and historical attributes in various societies, rendering differentiation impossible. A few modifications and alternatives have been proposed to overcome this gap, but none rejected the basic assumptions of the modern, national and imperial epistemes for the construction of social theory. Any critique of contemporary sociology must begin with the critique of these epistemes.

Therefore, we need a cosmopolitan social theory that can make sense of the uncertainties, indeterminacy and fluidity in the construction of social phenomena in relation to transnational and global trends. The article assesses the possibility of a cosmopolitan social theory as referring to two epistemological antinomies — essentialism/relativism and universalism/singularism, which allowed to suggest the philosophy of post-foundationalism and the idea of social configurations as the cores of the cosmopolitan social theory. According to the post-foundationalist approach, social phenomena are epistemologically contingent, temporal and based on incomplete and partial foundations at a particular moment of specific social-historical constellations. These foundations are on a constant path of grounding, and their determination coincides with the indeterminacy of many other possibilities. Thus, social configurations should be the object of social inquiries as units reflecting the indeterminacy, fluidity and multiplicity of the world in the ongoing construction of social phenomena. By examining the conditions of determination of these social configurations, the cosmopolitan social theory takes into account their grammar in a posterior and relational way.

References

1. Connell R. *Southern Theory: The Global Dynamics of Knowledge in Social Science*. London; 2007.
2. Go J. *Postcolonial Thought and Social Theory*. Oxford; 2016.
3. Beck U. *The Metamorphosis of the World: How Climate Change is Transforming Our Concept of the World*. Cambridge; 2016.
4. Beck U. Cosmopolitan sociology: Outline of a paradigm shift. Rovisco M., Nowicka M. (Eds.). *The Ashgate Research Companion to Cosmopolitanism*. London–New York; 2016.
5. Gutierrez Rodriguez E., Boatcă M., Costa S. (Eds.). *Decolonizing European Sociology: Transdisciplinary Approaches*. London–New York; 2016.
6. Alatas S.F. Eurocentrism. *Blackwell Encyclopedia of Sociology*. Oxford; 2016.
7. McLennan G. Sociology, eurocentrism and postcolonial theory. *European Journal of Social Theory*. 2003; 6 (1).
8. Chakrabarty D. *Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference*. Princeton; 2000.

9. Jong A. Social configurations in the moment of post-foundationalism. *Frontiers in Sociology*. 2023; 7.
10. Jong A. Modern episteme, methodological nationalism and the politics of transnationalism. *Frontiers in Political Science*. 2023; 5.
11. Nederveen Pieterse J. *Globalization and Culture: Global Mélange*. Washington; 2019.
12. Nederveen Pieterse J. What is global studies? *Globalizations*. 2013; 10 (4).
13. Juergensmeyer M. What is global studies? *Globalizations*. 2013; 10 (6).
14. Dicken P. *Global Shift: Mapping the Changing Contours of the World Economy*. London; 2007.
15. Darian-Smith E., McCarty P.C. *The Global Turn*. Berkeley; 2019.
16. Shaw M. *Theory of the Global State*. Cambridge University Press; 2000.
17. Albrow M. The global shift and its consequences for sociology. *Advances in Sociological Knowledge*. Wiesbaden; 2004.
18. Bauman Z. *Society under Siege*. Cambridge; 2002.
19. Bauman Z. *Liquid Modernity*. Cambridge; 2000.
20. Bauman Z. *Globalization: The Human Consequences*. New York; 2000.
21. Arjomand S.A. *Social Theory and Regional Studies in the Global Age*. Albany; 2014.
22. Amelina A.D., Nergiz D., Faist T., Glick Schiller N. (Eds.). *Beyond Methodological Nationalism: Research Methodologies for Cross-Border Studies*. Routledge; 2012.
23. Beck U., Sznajder N. Unpacking cosmopolitanism for the social sciences: A research agenda. *British Journal of Sociology*. 2006; 57 (1).
24. Featherstone M. *Global Culture: Nationalism, Globalization and Modernity*. Sage; 1990.
25. Giddens A. *Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives*. London; 1999.
26. Held D. *Global Transformations: Politics, Economics and Culture*. Stanford; 1999.
27. Held D. *Cosmopolitanism: Ideals and Realities*. Cambridge; 2010.
28. Held D., McGrew A. *Globalization/Anti-Globalization: Beyond the Great Divide*. Cambridge; 2007.
29. Lyotard J.-F. *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*. Manchester; 1986.
30. Seidman S. *The Postmodern Turn: New Perspectives on Social Theory*. Cambridge; 1994.
31. Wallerstein I. *World-Systems Analysis: An Introduction*. Durham; 2004.
32. Robinson W.I. Social theory and globalization: The rise of a transnational state. *Theory and Society*. 2001; 30 (2).
33. Robinson W.I. Beyond nation-state paradigms: Globalization, sociology, and the challenge of transnational studies. *Sociological Forum*. 1998; 13 (4).
34. Giddens A. *New Rules of Sociological Method: A Positive Critique of Interpretative Sociologies*. London; 1976.
35. Latour B. *Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory*. Oxford; 2005.
36. Beck U. Zombie categories: Interview with Ulrich Beck. Beck U., Beck-Gernsheim E. (Eds.). *Individualization: Institutionalized Individualism and Its Social and Political Consequences*. Lanham; 2002.
37. Beck U. Methodological cosmopolitanism. Blaug R., Schwarzmantel J. (Eds.). *Democracy: A Reader*. New York; 2016.
38. Wallerstein I. *Open the Social Sciences: Report of the Gulbenkian Commission on the Restructuring of the Social Sciences*. Stanford; 1996.
39. Wittrock B. History, sociology, and the reconfiguration of civilizations. Arjomand S.A. (Ed.). *Social Theory and Regional Studies in the Global Age*. Albany; 2014.
40. Chernilo D. Social theory's methodological nationalism: Myth and reality. *European Journal of Social Theory*. 2006; 9 (1).
41. Mahoney J. *The Logic of Social Science*. Princeton; 2021.
42. Foucault M. *Society Must Be Defended*. London; 2003.
43. Beck U. *Risk Society: Towards a New Modernity*. London; 1992.
44. Beck U. Varieties of second modernity and the cosmopolitan vision. *Theory, Culture & Society*. 2016; 33.

45. Meyer J.W., Boli J., Thomas G.M., Ramirez F.O. World society and the nation-state. *American Journal of Sociology*. 1997; 103 (1).
46. Meyer J.W. The changing cultural content of the nation-state: A world society perspective. Steinmetz G. (Ed.). *State/Culture*. Ithaca; 2018.
47. Arjomand S., Tiryakian E. (Eds.). *Rethinking Civilizational Analysis*. London; 2004.
48. Smith L.T. *Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples*. London; 2012.
49. Mauro F., Hardison P.D. Traditional knowledge of indigenous and local communities: International debate and policy initiatives. *Ecological Applications*. 2000; 10 (5).
50. Beck U. *World Risk Society*. Cambridge; 1999.
51. Jameson F. *Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism*. Durham; 2020.
52. Habermas J. *The Postnational Constellation: Political Essays*. Cambridge; 2001.
53. Foucault M. *The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences*. London–New York; 1966.
54. Foucault M. *Archaeology of Knowledge*. London–New York; 2002.
55. Beck U. The cosmopolitan condition. *Theory, Culture & Society*. 2007; 24 (7–8)
56. Beck U. *The Cosmopolitan Vision*. Cambridge; 2006.
57. Beck U., Blok A., Tyfield D., Zhang J.Y. Cosmopolitan communities of climate risk: Conceptual and empirical suggestions for a new research agenda. *Global Networks*. 2013; 13 (1).
58. Beck U., Levy D. Cosmopolitanized nations: Re-imagining collectivity in world risk society. *Theory, Culture & Society*. 2013; 30 (2).
59. Marchart O. *Post-Foundational Political Thought: Political Difference in Nancy, Lefort, Badiou and Laclau*. Edinburgh; 2007.
60. Frisby D., Sayer D. *Society*. Chichester; 1986.
61. Giddens A. *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. Cambridge; 1984.
62. Sayer A. *Method in Social Science*. London; 2010.
63. Reckwitz A. *The Society of Singularities*. Cambridge; 2020.
64. Ghamari-Tabrizi B. Can Burawoy make everybody happy? Comments on public sociology. *Critical Sociology*. 2005; 31 (3).
65. Jong A., Ali R. Political Islam as an incomplete and contested category: A post-foundationalist revision. *Religions*. 2023; 14 (8).
66. Oksala J. *Foucault on Freedom*. Cambridge; 2005.
67. Peters R. The episteme and the historical a priori: On Foucault's archaeological method. *Journal of French and Francophone Philosophy*. 2021; 29 (1–2).
68. Foucault M. Orders of discourse. *Social Science Information*. 1971; 10 (2).
69. Herzog D. *Without Foundations*. Ithaca–London; 1985.
70. Burawoy M. *Public Sociologies in Global Context*. Ithaca; 2003.
71. Wimmer A., Glick Schiller N. Methodological nationalism and beyond: Nation-state building, migration and the social sciences. *Global Networks*. 2002; 2 (4).
72. Wimmer A., Glick Schiller N. Methodological nationalism, the social sciences, and the study of migration: An essay in historical epistemology. *International Migration Review*. 2003; 37 (3).
73. Chernilo D. *A Social Theory of the Nation-State*. London–New York; 2008.
74. Giddens A. *The Class Structure of the Advanced Societies*. London; 1973.
75. Calhoun C. Nationalism, political community and the representation of society. *European Journal of Social Theory*. 1999; 2 (2).
76. Toulmin S. *Cosmopolis: The Hidden Agenda of Modernity*. Chicago; 1990.
77. Mandelbaum M.M. *The Nation/State Fantasy: A Psychoanalytical Genealogy of Nationalism*. Cham; 2020.
78. Jong A., Entezari A. World risk society, reconfiguration of religion, and transnational religious organizations. *Journal of Strategic Management Studies*. 2023; 14 (54).
79. Jong A. Explaining the patterns of globalization, consumption and everyday-life. *Journal of Business Administration Research*. 2016; 8 (15).

80. Jong A. World risk society and constructing cosmopolitan realities: A Bourdieusian critique of risk society. *Frontiers of Sociology*. 2022; 7.
81. Jong A. Construction of identity patterns in the process of globalization. *Journal of Strategic Management Studies*. 2016; 7 (26).
82. Jong A. Transnational configurations and cosmopolitanization. *International Journal of Interdisciplinary Social and Community Studies*. 2022; 17 (2).
83. Go J. Global fields and imperial forms: Field theory and the British and American Empires. *Sociological Theory*. 2008; 26 (3).
84. Blok A., Selchow S. Special theme introduction: Methodological cosmopolitanism across the socio-cultural sciences. *Global Networks*. 2020; 20 (3).
85. Blok A. Towards cosmopolitan middle-range theorizing: A metamorphosis in the practice of social theory? *Current Sociology*. 2015; 63 (1).
86. Beck U. Interview with Ulrich Beck. *Journal of Consumer Culture*. 2001; 1 (2).
87. Beck U. *World at Risk*. Cambridge; 2007.
88. Rehbein B. *Critical Theory After the Rise of the Global South Kaleidoscopic Dialectic*. New York; 2015.
89. Burr V. *Social Constructionism*. London–New York; 2015.
90. Laclau E. The impossibility of society. *Ideology and Power in the Age of Lenin in Ruins*. London; 1991.
91. Rehbein B. Critical theory after the rise of the Global South. *Social Theory and Asian Dialogues*. Singapore; 2018.
92. Akiwowo A. Universalism and indigenisation in sociological theory: Introduction. *International Sociology*. 1988; 3 (2).
93. Mahmood S. Secularism, hermeneutics, and empire: The politics of Islamic reformation. *Public Culture*. 2006; 18 (2).
94. Bevir M. Anti-foundationalism. Bevir M. (Ed.). *Encyclopedia of Political Theory*. Thousand Oaks; 2010.
95. Butler J. Contingent foundations: Feminism and the question of postmodernism. Butler J., Scott J.W. (Eds.). *Feminists Theorize the Political*. London–New York; 1992.
96. Spivak G. Foundations and cultural studies. Silverman H.J. (Ed.). *Questioning Foundations Truth/Subjectivity/Culture*. New York–London; 1993.
97. Trogdon K. Grounding: necessary or contingent? *Pacific Philosophical Quarterly*. 2013; 94 (4).
98. Butler J., Laclau E., Zizek S. *Contingency, Hegemony, Universality: Contemporary Dialogues on the Left*. London; 2000.
99. Conrad S. *What is Global History?* Princeton; 2016.
100. Adorno T. *Positivist Dispute in German Sociology*. Portsmouth; 1981.
101. Wimmer A. *Nationalist Exclusion and Ethnic Conflict: Shadows of Modernity*. Cambridge; 2002.
102. Mosleh A.A., Jong A. Iran and covid-19: Institutional configurations. Pieterse J.N., Lim H., Khondker H. (Eds.). *Covid-19 and Governance*. London–New York; 2021.
103. Faist T. *The Volume and Dynamics of International Migration and Transnational Social Spaces*. Oxford; 2000.
104. Hagen-Zanker J. Why do people migrate? A review of the theoretical literature. 2008. URL: <http://www.ssrn.com/abstract=1105657>.
105. Hammar T., Brochmann G., Tamas K., Faist T. (Eds.). *International Migration, Immobility and Development*. London; 1997.
106. Bijak J. *Forecasting International Migration: Selected Theories, Models, and Methods*. Warsaw; 2006.
107. Massey D.S., Arango J., Hugo G., Kouaouci A., Pellegrino A., Taylor J.E. Theories of international migration: A review and appraisal. *Population and Development Review*. 1993; 19 (3).
108. Nair P. Postcolonial theories of migration. *Encyclopedia of Global Human Migration*. New Jersey; 2013.

DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-4-683-703
EDN: FXICHV

На пути к космополитической социальной теории: опыт эпистемологического исследования*

А. Джонг

Российский университет дружбы народов,
ул. Миклухо-Маклая, 6, Москва, 117198, Россия

(e-mail: dzhong-a@rudn.ru)

Аннотация. Возрастающая значимость глобальных феноменов диктует необходимость новой социальной теории, которая, признавая уникальные характеристики социальных явлений, способна придать им научный смысл на транснациональном уровне, а также в соотношении с друг другом. Текущая и многоуровневая природа глобальных феноменов, ставшая причиной глубочайшей неопределенности и небезопасности в мировых масштабах, требует особых подходов к изучению новых типов социальности, что привело к пересмотру многих положений социальной теории в отношении глобализации и все возрастающей взаимосвязи социальных процессов и явлений [1; 33]. Здесь можно выделить два основных подхода: ревизионизм стремится модифицировать социальные науки в соответствии с новой онтологией современного мира и опираясь на реконструкцию исходных постулатов социальной мысли, особенно социологии [2; 17; 30; 34]; радикально настроенные исследователи, напротив, утверждают, что на основе исторических и теоретических характеристик социальных наук невозможно изменить и адаптировать их к требованиям современного мира, а потому они нуждаются в замене [1; 4; 18; 23; 35–37]. В статье представлена попытка найти компромисс между этими крайними позициями, сочетая критику эпистемологических оснований социальных наук и используя постфундационалистскую философию для разработки космополитической социальной теории. Глобальная космополитизация и возрастающая роль взаимозависимости социальных феноменов требуют такой социальной теории, которая бы учитывала единичность, но концептуализировала ее в контексте транснациональных и глобальных трендов с помощью понятий текучести и неопределенности. Автор полагает, что в основе современных социальных наук и теорий (возникших в эпоху модерна) лежат три историко-эпистемологических положения, или эпистемы, — модерна, нации и империи. Любая космополитическая теория должна, в первую очередь, критиковать и отказываться от этих эпистем, что автор и делает, апеллируя к двум эпистемологическим антиномиям — универсализма/партикуляризма и эссенциализма/релятивизма. Постфундационализм и идея социальных конфигураций представлены в статье как ядро космополитической социальной теории, которая сможет преодолеть как противоречия, порождаемые тремя эпистемами, так и две антиномии.

Ключевые слова: космополитизация; эпистема; постфундационализм; неопределенность; социальные конфигурации; миграционные реалии

*© Джонг А., 2023

Статья поступила 21.06.2023 г. Статья принята к публикации 26.09.2023 г.



DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-4-704-719

EDN: FSTVUA

Средневековое городское гражданство на Западе в исторической социологии Макса Вебера*

Т.А. Дмитриев

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
ул. Мясницкая, 30, Москва, 101000, Россия

(e-mail: tdmitriev@hse.ru)

Аннотация. Последние десятилетия в социальных науках были отмечены интересом к вопросам гражданства как важнейшего феномена современного мира, что обусловлено актуальными проблемами мира модерна, связанными с процессами глобализации, отношениями между мировыми центрами силы по линии Север — Юг и Запад — Восток, набирающими силу миграционными потоками между странами и континентами, а также выдвиганием на первый план круга политически релевантных тем, связанных с правами человека. Поиски решений этих проблем дали импульс оживленным дебатам как в академических кругах, так и в более широкой среде интеллектуалов и образованной публики по вопросу, в какой мере демократическая модель гражданства, исторически возникшая на Западе в Новое и Новейшее время, способна справиться с новыми глобальными вызовами современности. Будучи центрированными на актуальных вопросах гражданства, политике гражданских прав и гражданской идентичности, дебаты вокруг современного гражданства имеют и важное историко-социологическое измерение. Оно связано с вопросом, сформулированным примерно сто лет тому назад Максом Вебером: в чем заключался универсальный потенциал демократической идеи гражданства, сформировавшейся на Западе в современную эпоху, и каковы предпосылки этой модели гражданства на предшествующих этапах исторического развития западного мира? Формулируя исследовательскую проблему таким образом, Вебер рассматривает институт гражданства в широком контексте сравнительно-исторической социологии, изучающей различие путей исторического развития Запада и Востока. Один из ближайших предшественников современной модели гражданства на Западе — средневековое городское гражданство. Для понимания эволюции досовременных моделей гражданства в Западной Европе в Средние века совершенно незаменимыми в теоретическом и эвристическом отношении остаются исследования Вебера, формирующие историческую социологию античного и средневекового гражданства в таких его работах, как «Город» и «История хозяйства». В статье предпринята попытка реконструировать идеально-типическую модель средневекового городского гражданства в трактовке Вебера, дополнив ее по мере необходимости материалами из других релевантных источников.

Ключевые слова: Макс Вебер; историческая социология; средневековое городское гражданство; Запад; Восток; братство, скрепленное клятвой; homo politicus; homo oeconomicus

*© Дмитриев Т.А., 2023

Статья поступила 11.07.2023 г. Статья принята к публикации 16.10.2023 г.

Город на Востоке и на Западе и уникальность института городского гражданства

Центральным вопросом очерка М. Вебера «Город», написанного накануне Первой мировой войны, но опубликованного посмертно (1), стал «уникальный характер того, каким образом городское сообщество на Западе смогло создать политически активных граждан. Он сравнивает здесь как древнюю, так и средневековую Европу с Востоком, но особенно его интересуют различия между античной и средневековой эпохами в истории Запады; ибо, хотя в политическом и институциональном развитии между ними просматриваются очевидные параллели, только в средневековый период сложились условия для “современного капитализма” и “современного государства”» [27. С. 219]. Институт гражданства — и античного, и средневекового — Вебер рассматривает как отличительную черту политической и социальной истории западного мира: «Лишь на Западе мы встречаем понятие гражданина (*civis romanus, citoyen, bourgeois, Bürger*), так как лишь на Западе существует город в специфическом смысле этого слова» [3. С. 286].

Что считать городом, определялось в прошлом не размерами поселения, а прежде всего соображениями хозяйственного характера. С этой точки зрения как в Европе, так и вне ее городом называется торговый и ремесленный центр, нуждающийся в постоянном подвозе жизненных средств и припасов. Обычно город был не просто рыночным местом или городом производителей, но также крепостью и сообществом со своим религиозным культом и политическими институтами (последнее характерно для античного и средневекового европейского города). Именно на Западе «город должен рассматриваться как до некоторой степени автономный союз, “община” [*eine “Gemeinde”*] с особыми политическими и административными учреждениями» [3. С. 344]. Конечно, добавляет Вебер, и «вне Европы существуют города как крепости и как места пребывания духовной и светской власти. Но нигде, кроме Запады, мы не видим города в качестве *общинного союза*. Отличительными чертами его в средние века являются собственное право, собственный суд и до известной степени автономное управление. Средневековый горожанин был гражданином, и потому он принимал участие в этом суде и в избрании этого управления» [3. С. 290].

Ничего подобного античному и средневековому городскому гражданству, по мнению Вебера, мы не находим на Востоке. Причина — особые географические и экономические факторы, а также родоплеменная, семейная и кастовая замкнутость. В древних цивилизациях Передней Азии (включая Египет), Индии и Китая, возникших вокруг великих рек, для успешного ведения хозяйства было остро необходимо искусственное орошение, а также масштабные общественные работы по его устройству, организация которых требовала института трудовой повинности. На этой почве в странах Востока возникает сильная централизованная царская бюрократия, развившаяся впо-

следствии в «систему общегосударственного бюрократического управления, которое дало возможность царю при помощи налогов и готового административного аппарата взять военно-хозяйственное снабжение армии в свои руки». Благодаря этому в централизованных монархиях Востока контроль над средствами производства сочетается с контролем над средствами ведения войны (2): в то время как «в Европе снабжение и вооружение войска военачальниками, т.е. отделение солдата от средств осуществления войны, является такой же новостью, как отделение рабочего от средств производства продуктов, в Азии мы видим это с древнейших времен» [3. С. 291–292]. Следствием стало «отделение солдат от населения и безоружность подданных, а потому в противовес власти короля не могло возникнуть никакой самостоятельной гражданской общины, так как гражданин был прежде всего невоенным» [3. С. 385].

Другим препятствием для возникновения свободных городских общин вне западного мира была прочность родовых и кастовых уз. В Китае идентичность человека определялась прежде всего его родовыми связями, находившими свое концентрированное выражение в культе предков, в Индии — кастовой принадлежностью, причем в обоих случаях идентичность подкреплялась магическими верованиями, ритуалами и обрядами [3. С. 352, 385]. Религиозная мозаичность жизни народов Индостанского полуострова, где на протяжении веков то мирно, а то конфликтно сосуществовали три мировые религии — индуизм, буддизм и ислам, также не способствовала появлению свободных городских общин на основе религиозного в своей основе братства (*Verbrüderung*) (3). Согласно Веберу на Востоке возникновению городской общины на основе городского братства «препятствовала магическая замкнутость родов, а в Индии — каст. В Китае роды были носителями важнейших религиозных традиций — культа предков — и потому нерушимы; в Индии касты являлись носителями особого рода жизни, с соблюдением которого был связан вопрос о вечном спасении при переселении душ. В Индии кастовые рамки составляли абсолютное препятствие, в Китае же — и особенно в Передней Азии — родовая связь была препятствием лишь относительным» [3. С. 385].

Таким образом, развитие городов на Западе шло особым путем, отличавшемся от их развития на Востоке (4). Главное отличие двух исторических путей заключалось в том, что «на Западе не было табуированных границ индийско-экваториального региона, а также различных тотемических, связанных с культом предков, и кастовых магических ограничений племенных союзов, которые в Азии препятствовали объединению жителей города в гомогенное братство» [5. С. 60]. Христианство лишь довело этот процесс до логического завершения — «окончательно обесценило и уничтожило все и всякие родовые связи в их религиозном значении» [5. С. 61]. Своеобразие института средневекового городского гражданства на Западе состоит в создании такой

гражданской общины, которая не основана на кровнородственных, родоплеменных или кастовых связях. Городская община Средних веков представляет собой основанный на клятве братский союз тех, кто стал ее членом (5), чем напоминает античный полис: «и развитый античный полис, и средневековый город представляли собой прежде всего союз, основанный на *братстве*, соответствующим религиозным символом которого служил в глазах горожан городской бог или святой» [3. С. 365].

Вместе с тем модель средневекового городского братства отличалась от принципов создания городских союзов в античном полисе. В средневековой Европе главной предпосылкой таких союзов стала концепция религиозного братства, основанного на христианской идее спасения сообщества верующих при посредстве церкви. Это был принципиально новый момент, отличающий средневековый город от античного полиса, где политическое и религиозное начала не были дифференцированы столь основательно. Распространение универсальной (по крайней мере по своему потенциалу) религиозной этики братства отняло у родоплеменных начал совместной жизни религиозное и магическое значение: «Разрыв родовых связей был одним из многочисленных симптомов влияния христианской религии, способствовавших образованию средневекового города, наряду с той существенной ролью, которую играла церковная община в организации церковного управления городом» [3. С. 368].

Модель гражданства, которая возникает в средневековом городе, по сравнению с античной предшественницей представляет большой шаг вперед. Новая форма городского гражданства приходит на смену старой потому, что христианство с его принципом «нет ни эллина, ни иудея» и враждебным отношением к магии делает возможным новый тип братского городского союза, основанного на более универсальных, чем в античном городе, связях между согражданами (6). Благодаря этому при образовании средневековых городов, особенно на Севере Европы, «гражданин вступал в городскую корпорацию, по крайней мере, при новообразованиях, в качестве отдельного лица, индивидуально приносил свою присягу. Персональная принадлежность его к городскому союзу, а не род или племя, гарантировала ему индивидуальное гражданское правовое положение. Городская корпорация включала в себя нередко торговцев, чуждых ей не только по месту происхождения, но и по племени» [3. С. 370].

Феномен *conjuratio* и социально-политические особенности средневекового города

Город как автономная община или обладающая самоуправлением территориальная корпорация нередко возникает на средневековом Западе благодаря *conjuratio* — учреждению скрепленного клятвой городского союза. Речь идет об имевшем большое политическое значение символическом ритуале: горожане «торжественный момент перехода власти из рук феодаль-

ного сеньора в руки города отмечали клятвой *conjuratio*» [14. С. 8]. Принося клятву, граждане посредством этого ритуального действия становились членами братского союза, который, появившись в Италии, распространяется затем по всей Западной Европе. Для характеристики этого союза Вебер использует понятие «*Verbrüderung*», которое может толковаться не только субстанциально — как основанное на добровольном волеизъявлении братское объединение горожан, «подчиненных одному, *общему* для всех них *праву*» [3. С. 364], но и процессуально — как сам акт такого братского объединения, зачастую бросающий вызов прежнему сеньору города, в ходе которого городские слои подчас прибегали для достижения своих политических целей к насилию (7). Хотя средневековые города могли обретать автономию и учреждать гражданские общины разными путями, в том числе «в силу договорного или жалованного признания основателем города или его потомками широкого или ограниченного права автономности и суверенности» [3. С. 374], наибольший интерес Вебера вызывала та модель возникновения автономной средневековой городской общины на Западе, инициатива создания которой исходила не сверху, от сеньора или его потомков, а снизу — от горожан, готовых с оружием в руках отстаивать свои права. Такой способ возникновения средневековой городской общины он называет «исконным» (*originär*) и усматривает его ключевую черту в акте узурпации горожанами власти прежнего сеньора, скрепленном братской клятвой (*die Eidverschwörung*). Как подчеркивает Вебер, «исконная узурпация посредством внезапного акта единения в корпорацию, скрепленное клятвой объединение (*conjuratio*) горожан имело место в больших старых городах вроде Генуи и Кельна» [3. С. 374].

Главные структурные отличия средневековой городской демократии от античной заключались в иной организации городского пространства и военного дела. В средневековом городе граждане делились по цехам, античный город не знал подобного деления: «в древности нет цеха как владыки города, нет, вместе с тем, цеховой политики и, наконец, нет противоположности между капиталом и трудом в том виде, в каком она определилась на исходе средних веков» [3. С. 297]. Деление по цехам в значительной степени определялось особенностями хозяйственной жизни средневекового города. Одной из главных забот его властей была организация эффективной системы ремесленного производства как одного из основных источников существования города. Иными словами, средневековый город, в отличие от античного полиса, не был военным союзом; города обычно основывались как центры ремесла и торговли, средоточия деловой активности. Именно «на почве средневековой торговой и промышленной организации, отчасти рядом с ней, отчасти в ее рамках, но всегда, несмотря ни на какую борьбу против цехов, пользуясь созданными ими путями и правовыми формами, современный капитализм создал условия для своего роста» [2. С. 439].

Вторым важнейшим отличием средневековой городской демократии от античной была иная постановка военного дела, что также серьезно сказывалось на статусе средневекового горожанина. «Если античное государство-город в его наиболее характерной форме не создало ничего, подобного ремесленному цеху, то причина этого носит чисто военный характер. Античный город создал высшую форму военной техники того времени: мы не можем указать ничего равного войску гоплитов или римским легионам. Этим объясняется то свойственное античности обстоятельство, что стремление к обогащению осуществлялось главным образом военной добычей, а также другими преимуществами, извлекаемыми из политики. Гражданину противопоставляется всякий, занимающийся мирным заработком в современном смысле слова» [3. С. 301].

В отличие от средневекового города, в котором сложились предпосылки для возникновения современного рационального капитализма, античный полис жил постоянными войнами, обложением данью союзников, захватом военной добычи, обращением в рабство населения целых городов и поддержкой пролетаризированных городских масс за счет средств от военных реквизиций и контрибуций. В этом отношении «средневековый промышленный континентальный город совершенно отличается от античного полиса» [3. С. 479], поскольку «он представлял собой в период господства цехов образование, ориентированное на доходы посредством рационального ведения хозяйства» [3. С. 480], за счет сбыта на внешних рынках изделий ремесленного производства и торговли. Эта социально-историческая перемена эпохального масштаба объяснялась не в последнюю очередь тем, что в Средние века в Западной и Центральной Европе «города потеряли возможность получать экономические доходы при помощи самостоятельной военной политики» [3. С. 480].

Военный потенциал средневекового европейского города был несопоставим с военным потенциалом классического античного полиса. Военная история европейского средневековья характеризуется резким снижением роли пехоты и преобладанием на поле боя рыцарской конницы. В Средние века городское ополчение, за редким случаем, не могло соперничать с профессионально обученной и экипированной рыцарской конницей, поэтому военная организация города носит оборонительный характер. Как говорили в Средние века, сто конных рыцарей стоят тысячи пеших воинов. В военной истории европейского Средневековья известно всего несколько случаев, когда пешее ополчение смогло одержать верх над рыцарской конницей [9]. Поэтому «военная сила служила для населения городов внутри страны не основой их экономических доходов, но лишь опорой» [3. С. 480].

С точки зрения исторической социологии принципиальное различие между античным и средневековым городом на Западе — отношения с сельской округой. В античном мире город и его сельская округа представляли со-

бой единое политическое целое, и большинство полноправных граждан было крестьянами-землевладельцами, составлявшими основу военного ополчения. В Древней Греции это был тяжеловооруженный и самоэкипированный пехотинец-гоплит, в Древнем Риме — пехотинец-легионер. Напротив, в Средние века город и его сельское окружение имели принципиально разный правовой статус: крестьянская масса была лишена гражданских прав, и значительная ее часть пребывала в крепостном состоянии [26. С. 134]. По преимуществу конфликтный и неравноправный характер взаимоотношений городов-коммун и их сельской округи в Средние века и в эпоху Возрождения сказывался не только на политическом, но и на социальном и военном потенциале городов-государств на Западе.

«Главной слабостью города-государства, — отмечает Ф. Гилберт, имея в виду итальянские города-коммуны средних веков и эпохи Возрождения, — которая становилась все более очевидной по мере консолидации территориальных монархий, была узкая основа, из которой он черпал свою политическую силу. Получив при помощи различных способов контроль над большей частью прилегающих территорий, города ревностно охраняли свое право эксплуатировать тех, кого они подчинили своей власти. Неудивительно, что всякий раз, когда городу-государству угрожали иностранные захватчики или внутренние кризисы, жители зависимых районов пытались воспользоваться возможностью вернуть себе свободу. Нередко город-государство сталкивался одновременно с иностранными армиями и мятежными подданными, и часто его ресурсов было недостаточно ни для поддержания своей независимости, ни для сохранения своих владений» [20. С. 45].

В подобном неравноправии города и его сельской округи следует видеть и главную причину относительной слабости городского ополчения: в условиях Средневековья даже итальянским городам-коммунам, дальше других европейских городов продвинувшихся по пути обретения политической автономии, «не удалось создать пехоту, спаянную наподобие античной в одно тактическое целое» [15. С. 106]. «Главная сила мелких античных государств заключалась не в тех бойцах, которых выставляли непосредственно горожане, а в крестьянах их округи, в их рыбаках, в их угольщиках. Все это в Древней Греции или Риме было прочно политически связано с городом и жило общими интересами. В Средневековье, хотя города добивались государственной власти над довольно значительными сельскими районами, глубокая экономическая и политическая пропасть отделяла интересы городского и сельского населения, и попытки создания вооруженную силу городов из крестьянских элементов не могли иметь успеха» [15. С. 106]. Исключением была средневековая Швейцария, чья первоклассная пехота, равной которой не было в Европе вплоть до появления в XVI веке знаменитых испанских терций, имела своей социальной основой политический союз между крестьян-

ством лесных кантонов (Швиц, Ури и Унтервальден) и городами — Берном, Цюрихом и Люцерном [8].

Вебер концептуализирует противоположность между античным полисом, граждане которого были заняты политикой, войнами и разделом военной добычи, и средневековым городом, ориентированным на мирные ремесла и торговлю, с помощью категорий *homo politicus* и *homo oeconomicus*. Гражданин античного полиса и римской республики — *homo politicus*, а типичный свободный гражданин средневекового европейского города-коммуны — *homo oeconomicus*, как правило, ремесленник или торговец. Этим объясняется и меньшая «воинственность» средневековой городской общины, интересы которой вращались вокруг мирной хозяйственной деятельности, ремесел и торговли, а не вокруг войны, служившей главным источником доходов для демократии и ее граждан. Гражданин античного города был *homo politicus* особого рода — он «был в первую очередь воином» [3. С. 477]. «Античный полис был со времени создания дисциплинированного войска гоплитов цехом воинов» [3. С. 476], для которых «никакой свободы поведения в принципе не было» [3. С. 477].

Благодаря этим структурным факторам в средневековых европейских городах сформировались зачатки современного рационального капитализма западного типа, способного процветать только в условиях мира, тогда как античный полис жил политическими делами и войной, что делало его предрасположенным к различным формам политического капитализма (до появления Римской империи) [см.: 22. С. 7–40]. Такой подход заставлял городскую экономическую политику ориентироваться на интересы потребителей, а не производителей. В свою очередь, поскольку главными бенефициарами завоевательной политики античного полиса были его полноправные граждане, они стремились ограничивать доступ в свой круг, за счет ограничительной политики предоставления гражданства — чтобы не делиться военной добычей и общественными благами с чужаками и пришельцами: «Всем античным общинам гоплитов свойственно упорное нежелание расширить рамки своей общины путем допущения в нее на равных правах других общин для создания таким путем из многих общин одного государства» [3. С. 481].

Средневековое городское гражданство как «структурный мост» к модерну

От гражданина средневекового европейского города (*Stadtsbürger*) прослеживается сложный и извилистый путь к гражданину территориально-го государства модерна (*Staatsbürger*) [13] — Т. Парсонс назвал городское средневековое гражданство одним из «структурных мостов» к модерну на Западе [12]. Несмотря на то, что средневековые города не обладали политической независимостью, сопоставимой с той, что имели античные полисы, принцип ассоциации, лежавший в основе городских общин, не только

сохранился, но и обрел второе дыхание благодаря христианству, которому средневековая Европа обязана тем, что городская община стала не объединением родов, как в античности, а объединением индивидов, исповедовавших одну общую — христианскую — веру. В средневековом городе «граждане *municipium* [городской общины] представляли собой объединение равных, имеющих одинаковые юридические и политические права и одинаково несущих военные и другие подобные обязанности граждан. Хотя во всех *municipia*, как и в Риме, постепенно возникли аристократии богатых и знатных граждан, которые монополизировали общественные должности, в них все же в достаточной мере сохранялся, в отличие от сельского общества, особенно периода феодализма, дух ассоциации. Выживание таких городских сообществ составляло важную отличительную особенность предсовременной Европы, если сравнивать ее с любым восточным обществом, находящимся приблизительно на такой же стадии развития» [12. С. 54].

Хотя предложенную Парсонсом концептуализацию городского средневекового гражданства в странах Западной Европы как одного из «структурных мостов» к модерну в целом стоит признать удачной, ее не следует воспринимать как эволюционную схему прямого перехода от городского гражданства позднего Средневековья к современной демократической модели гражданства [10]. Потребовался целый ряд промежуточных исторических этапов, чтобы на смену феодально-статусным системам политического господства, основанным на разнообразных формах личной зависимости (вассально-сеньориальной, клиентельной и крепостной), в Новое время пришли более универсальные и специфически современные концепции сперва пассивного подданства, а затем активного гражданства, вобравшие в себя и исторический опыт средневекового городского гражданства. В то же самое время не следует игнорировать структурные недостатки средневековой городской модели гражданства, которые не позволили ей на заре Нового времени стать эксклюзивным образцом для формирования новых, более универсальных форм гражданской идентичности.

Сильной стороной средневековой городской модели гражданства на Западе, особенно на первоначальных этапах, было то, что она служила действенным средством преодоления родового и сословного партикуляризма. В отличие от античных городских союзов, которые покоились на принципах синойкизма — объединения родов, членом городской общины средневековый горожанин становился индивидуально, а не в качестве члена родовой, сословной или кастовой общности. Кроме того, в силу заинтересованности городских общин в притоке населения в городах Северной и Центральной Европы возникает известный принцип «городской воздух делает свободным» (*Stadtluft macht frei*), согласно которому «по прошествии разного, но в общем всегда короткого времени господин терял право собственности на своего крепостного или раба», поэтому «сословные различия в городе исчезали —

по крайней мере постольку, поскольку они касались обычного понятия свободы и несвободы» [3. С. 363].

Вместе с тем слабым местом городской модели гражданства на Западе было то, что, обладая определенным (религиозным в своей основе) потенциалом для преодоления родового и сословного партикуляризма, она не могла использовать этот потенциал универсализации гражданского статуса, чтобы поднять его на более высокий уровень, в том числе из-за принципиально различного гражданско-правового статуса населения средневекового города и подчиненной ему сельской округи и — шире — всех остальных зависимых от города земель. Само выражение «городской воздух делает свободным» указывает на связанное с граждански-правовым статусом различие в положении городского и сельского населения, на «разницу между сельским обществом с его переплетением феодальных зависимостей и городом как местом большей независимости и гражданских свобод» [28. С. 56]. Если применительно к античному миру, в частности к Древнему Риму после завершения борьбы сословий (примерно 287 г. до н.э.), можно говорить о существенном расхождении интересов социальных низов деревни (*plebs rustica*), жившей земледельческим трудом, и социальных низов города (*plebs urbana*), зависимых от даровой раздачи хлеба государством [16. С. 124–125], но при равном гражданско-правовом статусе (*civis Romanus*) первых и вторых, то радиус действия средневекового городского гражданства ограничивался городом, причем даже его социальные низы зачастую не были полноправными членами городской общины, что не способствовало усилению ни военного, ни политического потенциала средневекового города на Западе.

Хотя Вебер считает возможным говорить о городской средневековой демократии на Западе, она настолько отличалась от античной демократии, не говоря уже о современной плебисцитарной массовой демократии, что при ближайшем рассмотрении оказывается «демократией» скорее по названию, чем по существу. Средневековая городская демократия не знает политико-правового равенства граждан в смысле античных *isonomia* — равенства перед законом, *isēgoria* — равного права на слово и голос в народном собрании — и *isokrtaia* — равного распределения власти. Как правило, все важные политические решения в средневековом городе принимала небольшая прослойка знатных и состоятельных граждан, «уважаемых людей», принадлежавших к городскому патрициату, а остальным гражданам по большей части (если не брать кризисные периоды) приходилось довольствоваться ролью статистов на городской политической сцене. Эта черта средневековой городской демократии дала Веберу основание охарактеризовать ее как «плутократическое коллегиальное правление знати» [7. С. 43].

Наконец, еще одним слабым местом городской средневековой модели гражданства с точки зрения последующего развития форм гражданской идентичности в Новое и Новейшее время в Западной Европе была ее су-

губо религиозно-христианская основа. Исходный универсалистский потенциал христианства (по сравнению с языческими религиями классической античности), который позволил появиться на исторической сцене средневековой Европы институту городского гражданства, после духовного раскола западноевропейского мира в результате протестантской Реформации и огосударствления христианских церквей как в католическом (Франция, Испания), так и в протестантском мире, утратил — не сразу и не целиком, но в значительной степени — свою интеграционную силу и перестал играть роль фактора, объединяющего всех подданных короны. Возникла необходимость в новых формах гражданства и гражданской идентичности, а также в новой основе для гражданской «однородности», построенной не на субго религиозно-христианском, а сперва на династическом, а затем во всей большей степени на национально-территориальном начале. Из числа современников этот исторический сдвиг лучше других понял первый министр французского короля Людовика XIII кардинал Ришелье: «Разгромив гугенотскую партию — это “государство в государстве” — Ришелье не пошел на поводу “святош” и никогда не посягал на религиозные и гражданские права французских протестантов, не делая после падения Ларошели политических различий между ними и католиками. И те и другие были для него прежде всего французами» [17. С. 375]. Переход в эпоху абсолютизма к династически-подданническим, довольно сильно окрашенным в национальные тона моделям гражданства, а затем, после Французской революции, к республиканским, светским и национально-государственным вариантам гражданской идентичности стал одним из важнейших способов конституирования гражданско-правовой «однородности», найденном европейской современностью.

Таким образом, историческая социология Вебера предлагает понятийные ресурсы для концептуализации перехода от городской средневековой к современной демократической модели гражданства на Западе в Новое и Новейшее время (8). Он полагал, что основанная на ремесленно-торговых гильдиях средневековая городская демократия получила шанс на развитие, потому что ее тогдашние феодальные правители зачастую не имели достаточно ресурсов, чтобы распространить свое прямое правление на города (9), и потому что, предоставляя городам определенную административную и судебную автономию, они рассчитывали пополнить свою казну — для содержания двора и войска. В результате в ряде регионов Западной Европы (Северная и Центральная Германия, Южная Франция, Фландрия и Брабант, Северная и Средняя Италия) сложились предпосылки для относительно мирного развития городских демократически-олигархических форм правления и свойственных им моделей гражданства. В историографии Средних веков эта линия исторического развития получила название «городской» или «коммунальной» революции» XI–XIV веков [1. С. 217–232].

Ситуация стала меняться по мере того, как феодализм начал уступать исторические позиции патримониально-бюрократически управляемым княжествам и королевствам [18. С. 33–58; 21. С. 253–263]. При помощи больших армий и профессионально обученных чиновников они сосредоточили власть в своих руках и добились контроля над обширными территориями, преуспев в XV–XVI веках, помимо всего прочего, в подрыве автономии и самоуправления городов, повернув, тем самым, вспять «городскую революцию» европейского Средневековья. «По мере того как абсолютистские монархии вступали в период острой конкуренции, усиливалась эксплуатация городов и контроль над ними в целях строительства империй» [21. С. 240]. Абсолютистско-патримониальные режимы с их бюрократическим аппаратом и тенденцией к концентрации и монополизации публичной власти на определенных территориях выступили в качестве могущественных и довольно эффективных проводников политики «уравнивания» правового и социально-экономического статуса своих подданных, что способствовало возникновению современной массовой демократии и свойственных ей моделей гражданства. По оценке Вебера, сглаживание экономических и социальных различий (для выполнения управленческих функций) посредством бюрократической организации государства модерна «является неизбежным побочным следствием современной массовой демократии (в противоположность демократическому самоуправлению малых гомогенных единиц), вытекающим из характерного для нее принципа — абстрактной регулярности осуществления господства, что, в свою очередь, есть следствие правового равенства в личностном и административном смысле, т.е. устранения привилегий и принципиального отказа от решения дел не по общему правилу, а “от случая к случаю”... Эта регулярность следует из самих социальных предпосылок возникновения бюрократии» [7. С. 54].

Организационную экспансию современной государственной, а также частно-хозяйственной и партийно-политической бюрократии, сопровождающуюся изгнанием из управления феодальных, патримониальных и (в тенденции) плутократических привилегий в сочетании с «нивелированием подданных», Вебер называет «пассивной демократизацией» [7. С. 55–56] (10). В качестве ее движущих сил на Западе в Новое время он рассматривает не только распространение рациональной государственной (и не только) бюрократии, но и создание массовых армий и давление частнокапиталистических интересов: «бюрократизация и социальное нивелирование внутри политических и особенно государственных образований, связанные с разрушением противостоящих этому локальных и феодальных привилегий, в Новое время часто оказывались на руку капиталу и проводились в прямом союзе с ним. Этому служил великий исторический союз абсолютной княжеской власти и капиталистических интересов» [7. С. 60].

Одно из главных и отчасти побочных следствий совокупности этих факторов — «нивелировка подданных» в плане «устранения привилегий» и «сглаживания экономических и социальных различий» между ними, а также утверждение «правового равенства в личном и административном смысле» [7. С. 54], которые обусловили формирование и распространение современной демократической модели гражданства в Новое и Новейшее время на Западе. Однако это тема отдельного исследования, к которому мы обратимся в ближайшем будущем.

Примечания

- (1) Это незаконченное исследование Вебера было опубликовано сначала в «Архиве социальных наук и социальной политики» в 1921 году, а затем как глава в «Хозяйстве и обществе» в 1922 году. Дату написания текста публикатор «Города» в полном собрании сочинений и писем Вебера В. Ниппель определяет периодом между концом 1913 и серединой 1914 года [30. С. 1]. Иного мнения придерживается П. Гош, настаивая, что «нет никаких свидетельств того, когда Вебер впервые составил» текст [19. С. 384], но при этом выдвигая предположение, что «Город» был написан Вебером в феврале–марте 1908 года, вскоре после окончания работы над «Аграрными отношениями в античности».
- (2) Вебер обычно использует такие понятия, как «средства ведения войны» (*die Kriegsmittel*) и «вещественные средства военного производства» (*die sachlichen Kriegs betriebsmittel*) [4. С. 128–129]. В социологической литературе также получило распространение близкое понятие «средства (способы) разрушения» [11].
- (3) Есть основания согласиться с оценкой В. Ниппеля, отметившего, что веберовское «понятие *Verbrüderung* в качестве описания процесса индивидуализации, поощряемого христианством, блестяще отражает фундаментальные различия между Западом и цивилизациями Востока» [26. С. 138].
- (4) О различии путей исторического развития Запада и Востока через призму сравнительно-исторического метода у Вебера см. [23; 24].
- (5) «В качестве центральной категории “братство” (*Verbrüderung*) появляется на позднем этапе творчества Вебера, который характеризуется использованием универсально-исторического и религиозно-социологического сравнительного подхода, а именно в очерке “Город”, в посвященных религиозной социологии частях “Хозяйства и общества” и работах, посвященных конфуцианству, индуизму и иудаизму» [25. С. 39].
- (6) Символическим «часом зачатия» западноевропейской буржуазии Вебер считал состоявшуюся в Антиохии на заре христианства совместную ритуальную трапезу христиан-евреев и христиан — бывших язычников, т.е. необрезанных, санкционированную апостолом Павлом. «Снятие всех ритуальных ограничений по рождению для участия в евхаристии, как это произошло в Антиохии, также было — с точки зрения религиозных предпосылок — моментом зачатия “буржуазии” на Западе, хотя ее рождение свершилось более чем тысячелетием позже, в революционных “клятвенных союзах” (*conjuraciones*) средневековых городов. Потому что без совместных трапез, говоря по-христиански — без совместной вечери, клятвенное братство и средневековая городская буржуазия были просто невозможны» [29. С. 96].
- (7) Вебер специально оговаривает то обстоятельство, что «все *conjuraciones* и союзы Запада, начиная с ранней античности, были объединениями способных носить оружие городских слоев, что и является решающим моментом» [3. С. 374].
- (8) В характеристике «пассивной демократизации» по Веберу я ориентируюсь на ее аналитическую реконструкцию, предложенную С. Кальбергом в «Социологии цивилизаций Макса Вебера» [21. С. 240–242].

- (9) «Европейский город очень рано стал привилегированным союзом с твердо закрепленными правами, которые можно было планомерно расширять и которые были расширены, поскольку феодальный владелец города тогда еще не обладал техническими средствами управления: город был военным союзом, который мог успешно затворить ворота перед рыцарским войском» [6. С. 94].
- (10) Вебер уточняет, что «демократизация» в подразумеваемом им смысле «не означает неперемennого возрастания активной доли подданных, причастных к господству в рамках данного социального образования. Это может, но не обязательно должно быть следствием процесса, который мы имеем в виду» [7. С. 55–56]. Подобная «демократизация» до определенного момента вполне мирно уживалась с временным закатом моделей активного гражданства, характерных для городов-коммун Средневековья, и с выходом на первый план моделей пассивного подданства, преобладавших в патриархально управляемых княжествах и абсолютистских монархиях Нового времени.

Библиографический список

1. Буассонад П. От нашествия варваров до эпохи Возрождения. Жизнь и труд в средневековой Европе. М., 2010.
2. Вебер М. Аграрная история древнего мира. М., 2001.
3. Вебер М. История хозяйства. Город. М., 2001.
4. Вебер М. Политические работы. М., 2003.
5. Вебер М. Город. М., 2017.
6. Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий: Опыты сравнительной социологии религии. Конфуцианство и даосизм. М., 2017.
7. Вебер М. Хозяйство и общество. Т. IV. М., 2019.
8. Давыдов А., Карабед И.К., Маслов А.Н. Воинские традиции швейцарского Средневековья: очерки исторического развития, вопросы реконструкции материальной культуры. Нижний Новгород, 2012.
9. Дельбрюк Г. История военного искусства. Т. III. СПб., 1997.
10. Дмитриев Т.А. Институт гражданства и современное общество: исторический опыт Запада // Россия и мир: анатомия международных процессов. М., 2014.
11. Кола Д. Политическая социология. М., 2001.
12. Парсонс Т. Система современных обществ. М., 1998.
13. Ридель М. Бюргер, гражданин, бюргерство/буржуазия // Словарь основных исторических понятий. Т. II. М., 2014.
14. Рутенбург В.И. Введение // Итальянские коммуны XIV–XV веков. М.–Л., 1965.
15. Свечин А.А. Эволюция военного искусства. М., 2002.
16. Утченко С.Л. Кризис и падение Римской республики. М., 1965.
17. Черкасов П.П. Кардинал Ришелье. М., 1990.
18. Breuer S. Bürokratie und Charisma. Zur politischen Soziologie Max Webers. Darmstadt, 1994.
19. Ghosh P. Max Weber und “The Protestant Ethic”: Twin Histories. Oxford, 2014.
20. Gilbert F. Machiavelli and Guicciardini. Politics and History in Sixteenth Century Florence. Princeton, 1973.
21. Kalberg S. Max Weber’s Sociology of Civilizations: A Reconstruction. London, 2021.
22. Love J.R. Antiquity and Capitalism: Max Weber and the Sociological Foundations of Roman Civilization. London, 1991.
23. Love J.R. Max Weber’s orient // Cambridge Companion to Weber. Cambridge, 2000.
24. Nelson B. On orient and occident in Max Weber // Social Research. 1976. Vol. 43. No. 4.
25. Nippel W. Max Weber zwischen Althistorie und Universalgeschichte: Synoikismos und Verbrüderung // Die okzidentale Stadt nach Max Weber. München, 1994.
26. Nippel W. Homo Politicus and Homo Oeconomicus: The European citizen according to Max Weber // The Idea of Europe. Cambridge, 2002.
27. Nippel W. Ancient and Modern Democracy. Two Concepts of Liberty? Cambridge, 2016.

28. Nolte P. Was ist Demokratie? Geschichte und Gegenwart. München, 2012.
29. Weber M. Gesamtausgabe. Bd. I/20. Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen: Hinduismus und Buddhismus: 1916–1920. Tübingen, 1996.
30. Weber M. Gesamtausgabe. Bd. I/22-5. Wirtschaft und Gesellschaft: die Wirtschaft und die gesellschaftlichen Ordnungen und Mächte. Die Stadt. Tübingen, 1999.

DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-4-704-719

EDN: FSTVUA

Medieval urban citizenship in the West in Max Weber's historical sociology*

T.A. Dmitriev

National Research University Higher School of Economics,
Myasnitskaya St., 20, Moscow, 101000, Russia

(e-mail: tdmitriev@hse.ru)

Abstract. Recent decades in social sciences have been marked by the interest in citizenship as the most important phenomenon of the contemporary world due to its current problems associated with globalization, relations between world centers of power along the North-South and West-East lines and growing migration flows between countries and continents, and also due to the urgent, politically relevant, human rights problems. The search for solutions to these problems has led to debates in both academic circles and wider intellectual public about the extent to which the democratic model of citizenship, which historically developed in the West in modernity, can meet the new global challenges of our time. Although such debates focus on the contemporary issues of citizenship, civil rights and civic identity, they also have an important historical-sociological dimension according to Max Weber's question formulated about a century ago: what was the universal potential of the democratic idea of citizenship that emerged in the West in the modern era, and what were the premises of this model of citizenship at the previous stages of the Western historical development? Thus, Weber considers the institution of citizenship in the broader context of comparative historical sociology which studies the difference in the paths of historical development of the West and the East. One of the closest predecessors to the modern model of citizenship in the West is medieval urban citizenship. To understand the evolution of pre-modern models of citizenship in Western Europe in the Middle Ages, Weber's ideas remain essential in the theoretical and heuristic perspective, forming the historical sociology of ancient and medieval citizenship in his works *The City* and *General Economic History*. The article presents an attempt to reconstruct the ideal-typical model of medieval urban citizenship in Weber's interpretation, supplementing it with some necessary materials from other relevant sources.

Key words: Max Weber; historical sociology; medieval urban citizenship; West; East; oath-bound brotherhood; homo politicus; homo oeconomicus

References

1. Boissonnade P. *Ot nashestvija varvarov do epohi Vozrozhdenija. Zhizn i trud v srednevekovoj Evrope* [Life and Work in Medieval Europe]. Moscow, 2010. (In Russ.).

*© T.A. Dmitriev, 2023

The article was submitted on 11.07.2023. The article was accepted on 16.10.2023.

2. Weber M. *Agrarnaja istorija drevnego mira* [The Agrarian Sociology of Ancient Civilizations]. Moscow; 2001. (In Russ.).
3. Weber M. *Istorija khozjajstva. Gorod* [General Economic History. The City]. Moscow; 2001. (In Russ.).
4. Weber M. *Politicheskie raboty* [Political Writings]. Moscow; 2003. (In Russ.).
5. Weber M. *Gorod* [The City]. Moscow; 2017. (In Russ.).
6. Weber M. *Khozjajstvennaja etika mirovyh religij: Opyty sravnitelnoj sotsiologii religii. Konfutsianstvo i daosizm* [Economic Ethics of World Religions: Essays on Comparative Sociology of Religion. Confucianism and Taoism]. Moscow; 2017. (In Russ.).
7. Weber M. *Khozjajstvo i obshchestvo* [Economy and Society]. Vol. IV. Moscow; 2019. (In Russ.).
8. Davydov A., Karabed I., Maslov A. *Voinskie traditsii shvejtsarskogo Srednevekovija: ocherki istoricheskogo razvitija, voprosy rekonstruktsii materialnoj kultury* [Military Traditions of the Swiss Middle Ages: Essays on Historical Development, Issues of Reconstruction of Material Culture]. Nizhny Novgorod; 2012. (In Russ.).
9. Delbrück H. *Istorija voennogo iskusstva* [History of the Art of War]. Vol. III. Saint Petersburg; 1997. (In Russ.).
10. Dmitriev T.A. Institut grazhdanstva i sovremennoe obshchestvo: istorichesky opyt Zapada [Institution of citizenship and contemporary society: Historical experience of the West]. *Rossija i mir: anatomija mezhdunarodnyh protsessov*. Moscow; 2014. (In Russ.).
11. Colas D. *Politicheskaja sotsiologija* [Political Sociology]. Moscow; 2001. (In Russ.).
12. Parsons T. *Sistema sovremennyh obshhestv* [The System of Modern Societies]. Moscow; 1998. (In Russ.).
13. Ridel M. Bjourger, grazhdanin, bjourgerstvo/burzhuazija [Burgher, citizen, bourgeoisie]. *Slovar osnovnyh istoricheskikh ponjatij*. Vol. II. Moscow; 2014. (In Russ.).
14. Rutenburg V.I. Vvedenie [Introduction]. *Italijanskie kommuny XIV-XV vekov*. Moscow–Leningrad; 1965. (In Russ.).
15. Svechin A.A. *Evoljutsija voennogo iskusstva* [The Evolution of the Art of War]. Moscow; 2002. (In Russ.).
16. Utchenko S.L. *Krizis i padenie Rimskoj respubliki* [The Crisis and Fall of the Roman Republic]. Moscow; 1965. (In Russ.).
17. Cherkasov P.P. *Cardinal Richelieu*. Moscow; 1990. (In Russ.).
18. Breuer S. *Bürokratie und Charisma. Zur politischen Soziologie Max Webers*. Darmstadt; 1994.
19. Ghosh P. *Max Weber und "The Protestant Ethic": Twin Histories*. Oxford; 2014.
20. Gilbert F. *Machiavelli and Guicciardini. Politics and History in Sixteenth Century Florence*. Princeton; 1973.
21. Kalberg S. *Max Weber's Sociology of Civilizations: A Reconstruction*. London; 2021.
22. Love J.R. *Antiquity and Capitalism: Max Weber and the Sociological Foundations of Roman Civilization*. London, 1991.
23. Love J.R. Max Weber's orient. *Cambridge Companion to Weber*. Cambridge; 2000.
24. Nelson B. On orient and occident in Max Weber. *Social Research*. 1976; 43 (4).
25. Nippel W. Max Weber zwischen Althistorie und Universalgeschichte: Synoikismos und Verbrüderung. *Die okzidentale Stadt nach Max Weber*. München; 1994.
26. Nippel W. *Homo Politicus and Homo Oeconomicus: The European citizen according to Max Weber. The Idea of Europe*. Cambridge; 2002.
27. Nippel W. *Ancient and Modern Democracy. Two Concepts of Liberty?* Cambridge; 2016.
28. Nolte P. *Was ist Demokratie? Geschichte und Gegenwart*. München; 2012.
29. Weber M. *Gesamtausgabe. Band I/20: Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen. Hinduismus und Buddhismus (1916–1920)*. Tübingen; 1996.
30. Weber M. *Gesamtausgabe. Bd. I/22-5: Wirtschaft und Gesellschaft: die Wirtschaft und die gesellschaftlichen Ordnungen und Mächte. Die Stadt*. Tübingen; 1999.



СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

CONTEMPORARY SOCIETY: THE URGENT ISSUES AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT

DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-4-720-739

EDN: FQZJXO

Консолидация российского общества в условиях современных вызовов: историко-социологический и ценностно-мировоззренческий контексты*

М.К. Горшков^{1,2}, И.О. Тюрина²

¹Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН,
ул. Кржижановского, 24/35, корп. 5, Москва, 117218, Россия

²Институт социологии ФНИСЦ РАН,
ул. Большая Андроньевская, 5, стр. 1, Москва, 109544, Россия

(e-mail: m_gorshkov@isras.ru; irina1-tiourina@yandex.ru)

Аннотация. Гражданская идентичность — один из ключевых ресурсов сплочения российского социума. В ее основе лежит историческое самосознание народа, общая историческая память, солидарная коммеморация значимых исторических событий и достижений государства и общества. Гражданская идентичность российской нации сконцентрирована вокруг советского наследия: российская реальность наполнена советскими реминисценциями и маркерами исторической памяти, многие из которых выступают «скрепами» дифференцированного социального пространства. Однако советский период все более отдалается, обрастая мифами и упрощенными интерпретациями, обостряется внимание к трактовке неоднозначных событий советской истории, что может повлечь критическую ревизию советской ценностной парадигмы в отношении исторического наследия и политики памяти, стать катализатором центробежных настроений, породить угрозы безопасности и целостности государства. От того, какие маркеры идентичности будут доминировать в массовом сознании россиян и ка-

*© Горшков М.К., Тюрина И.О., 2023

Статья поступила 10.05.2023 г. Статья принята к публикации 14.09.2023 г.

кими будут важнейшие референтные группы самоидентификации, зависит эффективность государственных институтов и перспективы структур гражданского общества. Как следствие, особую актуальность обретает изучение исторического сознания и памяти россиян как базовых начал национального консенсуса, выявление особенностей посткризисного исторического мировоззрения разных групп российского социума. На основе данных мониторинговых исследований ИС ФНИСЦ РАН (массовые опросы, проведенные в 2020–2023 годы на репрезентативной общероссийской районированной квотной выборке; N = 2000) и комплексного подхода оценивается состояние исторического и ценностного сознания россиян в условиях современных вызовов: интерес к истории и фактическим сведениям о ней, восприятие исторических периодов и ведущих исторических деятелей; отношение к отечественной истории, формированию общероссийской идентичности и к роли в этом процессе семейной памяти; «новое видение» России и ее будущего, тренд на переосмысление обществом идеи перемен и пути развития страны, понимаемого в массовом сознании через концепт самобытной модели мироустройства и цивилизационного суверенитета; представления о ключевых социальных группах, способствующих или препятствующих развитию страны, и задачах, которые предстоит решить на пути созидания России будущего. Основные выводы представлены в статье в виде постулатов.

Ключевые слова: постсоветская Россия; консолидация общества; вызовы и угрозы; гражданская идентичность; историческое сознание; историческая память; отечественная история; социологическое постулирование; российская модель мироустройства; видение России и ее будущего

Одним из ключевых ресурсов сплоченности современного российского общества является гражданская (государственно-гражданская) идентичность — осознание принадлежности к сообществу граждан России, чувство солидарности с ними; образ «мы», объединяющий россиян и определяющий их взаимосвязанность традициями, ценностями, единством исторических судеб и образа жизни, языка и культуры, эмоциональными состояниями, способность действовать сообща, уверенность в поступательном развитии страны [см., напр.: 5; 6; 21 и др.]. В основании гражданской идентичности, в структуре которой выделяют три базовых компонента — когнитивный, ценностный и эмоциональный, лежит историческое самосознание народа — сложный духовно-практический феномен, отличающийся в том числе ориентацией на отсутствие исторической целостности в объяснении и интерпретации событий прошлого, конкретностью, подверженностью политико-идеологическому воздействию и деятельным началом [14. С. 91] и включающий в себя множество разнокачественных (рациональных, нравственных, эстетических, эмоционально-чувственных) элементов: общая память о прошлом и его оценки, осознанное или неосознанное чувство единства исторической судьбы и порожденное им «родство по истории», знание значимых достижений государства и общества, национально-государственных символов, исторических героев и традиций [см., напр.: 1; 7; 11; 15 и др.]. Историческое самосознание народа играет важнейшую роль в определении человеком и группой своей идентичности и потому влияет на выбор политических, социальных и иных предпочтений: «Единое историческое сознание — это целый комплекс...

исторических событий, единая оценка которых отточена веками общей исторической судьбы, а признание этой оценки и обозначает... принадлежность к народу; это и вполне реальное ощущение человеком причастности собственной... судьбы к чему-то большому, значимому, великому, причастности современных поколений к исторической судьбе своего народа, понимание ими собственной исторической и нравственной ответственности за свою землю и свой народ перед прошлыми и будущими поколениями» [13. С. 35].

Историческое сознание — явление устоявшееся, опирающееся на традиционные ценности, идеалы и смыслы, но одновременно и весьма пластичное — поддающееся влиянию изнутри, меняющееся в зависимости от внешних обстоятельств и контекста. Будучи многогранным и многоуровневым, в структуре общественного сознания оно «фиксирует... аспекты стабильности и изменчивости в их временном бытии», совмещает в себе «все три модуса исторического времени — прошлое, настоящее и будущее»: становление исторического сознания происходит в процессе взаимодействия субъекта (социальных общностей и индивидов) с развивающейся исторической реальностью [10. С. 17–20]. Источники формирования исторического сознания — стихийного или управляемого — как разновидности знания обществом своего прошлого и современности разнообразны: историческая память, фольклор, религиозные учения, мифология, официальные государственные концепции, реализуемые через систему образования, культуру, средства массовой коммуникации, научные интерпретации, произведения литературы, искусства и пр. Подвержено оно и влиянию отдельных социальных групп, обозначающих свои исторические приоритеты в качестве «общезначимых», что делает историческое сознание «ареной борьбы различных социально-политических сил с целью утверждения определенных целей исторического развития, ведь борьба за историю — это всегда борьба за настоящее и будущее» [13. С. 33].

Характеризуя суть и содержание исторического сознания как фактора становления современного российского социума, подчеркнем отсутствие единой трактовки данного термина [см., напр.: 3; 12; 14; 19; 22 и др.]. Так, Ж.Т. Тощенко полагает, что «оно представляет собой совокупность идей, взглядов, чувств, настроений, отражающих восприятие и оценку прошлого во всем его многообразии, присущем и характерном как для общества в целом, так и для различных социально-демографических, социально-профессиональных и этносоциальных групп, а также отдельных людей» [23. С. 3]. Ю.А. Левада утверждает, что понятие это охватывает «все многообразие стихийно сложившихся или созданных наукой форм, в которых общество осознает... свое прошлое... воспроизводит свое движение во времени» [9. С. 305]. Приведенные дефиниции не исчерпывают всего их спектра: в литературе представлены и другие подходы к пониманию содержания исторического сознания — онтологический, гносеологический, аксиологический, антропологический, деятельностный и пр. [см.: 10; 14; 22].

Всплеск интереса к историческому сознанию, его становлению, формированию лежащей в его основе общей исторической памяти — «определённым образом сфокусированного сознания, которое отражает особую значимость и актуальность информации о прошлом в тесной связи с настоящим и будущим», являющейся «выражением процесса организации, сохранения и воспроизводства прошлого опыта народа, страны, государства для возможного его использования в деятельности людей или для возвращения его влияния в сферу общественного сознания» [23. С. 3], был зафиксирован в последние десятилетия на фоне процессов, начавшихся в России на рубеже XX–XXI веков и обусловивших фундаментальные социокультурные изменения — ожививших «историческое чувство», способствовавших переосмыслению истории, переоценке социально значимых ценностей и символов, хранящихся в историческом сознании [12]. Вместе с тем проблематика эта не нова: необходимость обращения к ней и учета многочисленных условий и факторов, влияющих на функционирование исторического сознания и памяти, признавалась еще на ранних ступенях развития общества — в эпоху, когда история воспринималась в качестве «наставника», обеспечивающего образцы для социализации, своего рода «памяти народа», формирующей его сознание, а позже — как способ познания мира, средство просвещения и развития личности [16].

В советский период понятие исторического сознания было разработано в отечественных социально-гуманитарных науках относительно слабо. Научные труды, посвященные его гносеологической природе, взаимосвязи с историческим знанием, закономерностям генезиса и становления, социальной природе и функциям, появляются лишь в конце 1970-х — начале 1980-х годов и носят общеполитический характер. Со второй половины 1980-х годов советское обществоведение обращается к теории исторического сознания как формы сознания общественного, в том числе к выделению его уровней и образующих их компонентов (знание истории, исторический опыт, социальное прогнозирование и пр.), к проявлению исторического сознания в переходный период, значимости исторического сознания, его взаимосвязи с исторической правдой и т.п. Постперестроечный период характеризовался появлением фундаментальных трудов по различным аспектам рассматриваемого феномена: «обществоведческую литературу тех лет, в которой ставились и решались вопросы, связанные с понятием и различными сторонами функционирования исторического сознания, можно условно разделить на три группы: (1) работы, посвященные общим теоретическим проблемам исторического сознания и отдельным его сторонам; (2) философская литература о сущности, содержании, структуре социокультурного кризиса переходного периода, отражающая, в том числе, и характер исторического сознания в сложившихся условиях; (3) философские труды, рассматривающие непосредственно проблему исторического сознания в переходный период отечественной истории» [10. С. 11].

Изучение исторического сознания и памяти не ограничивается их теоретическим осмыслением — предпринимаются многочисленные попытки рассмотреть их «сквозь призму эмпирики», оценить особенности исторического сознания населения. Однако социологическое измерение состояния и динамики исторического сознания, прежде всего исторических символов и оснований исторической гордости, осуществляется крайне редко. Вместе с тем, как показывают исследования Института социологии (ИС) ФНИСЦ РАН, историческая память оказывает влияние на эмоционально-смысловые структуры идентичности, а через них — на массовое сознание и поведенческие практики. В то же время исторические представления формируют специфическую когнитивную структуру, которую можно определить как исходную матрицу понимания [2]. Преэминентность поколений и консенсус в оценке предшествующих исторических эпох — естественные условия социального воспроизводства и конструктивной коммуникации. Это означает, что, если в обществе по каким-либо причинам — социальным или геополитическим — возникает потребность заново отрефлексировать свою идентичность, актуализируется и запрос на определенную интерпретацию истории [2. С. 335].

Многолетние массовые опросы россиян демонстрируют, что гражданская идентичность современной российской нации сконцентрирована вокруг советского наследия. С начала 1990-х годов ключевые символы и поводы коллективной гордости практически не меняются — победа советского народа в Великой Отечественной войне и последующее восстановление страны, великие деятели отечественной науки, культуры и искусства. Реальность россиян полна советскими реминисценциями и маркерами исторической памяти, многие из которых выступают «скрепами» социума. Однако с каждым годом советский период все более отдаляется, обрастая упрощенными интерпретациями, а в ситуации внешнеполитической изоляции России обостряется внимание недружественных ей государств к трактовке неоднозначных событий советской истории, что провоцирует внутривнутриполитические дискуссии о советском наследии, ревизию и пересмотр ценностной парадигмы в части политики памяти, объединяющей этнокультурно многообразный российский социум.

Общее советское прошлое определяет главным образом самосознание старших поколений, тогда как для молодежи оно относится скорее к сфере исторической памяти. Учитывая фиксируемую сегодня тенденцию частичной утраты «глобальными идентичностями» своего влияния, тот особенно заметный в молодежной среде факт, что идентичности эти зачастую уступают чувству общности в группах низовой самоорганизации и регулярной коммуникации, а также падение уровня исторических знаний и сужение культурного кругозора молодых людей, можно утверждать: особую значимость обретают вопросы сохранения исторической памяти как основы культурной преемственности поколений и национально-гражданской идентично-

сти, а, значит, переосмысления гуманитарной компоненты образовательных программ в школах и вузах. Меняется и социальная среда, которая начинает играть роль не столько «хранителя» национальных образцов культуры, языка, традиций и ценностей, сколько «посредника», задающего тематическую направленность межкультурной коммуникации. Это способствует актуализации в этнокультурных группах собственной идентичности, в том числе через поддержку соответствующих политических проектов, и может стать катализатором центрбежных настроений и конфликтов.

Акцент на вопросах, связанных с диагностикой массового исторического и ценностного сознания россиян, был сделан научным коллективом ИС ФНИСЦ РАН в период 2020–2023 годов (1). Основные выводы исследований, проведенных в это период, представлены в статье в виде постулатов — положений, которые принимаются за истинные в силу теоретической или практической необходимости, — и соответствующих комментариев (эмпирических обоснований) к каждому из них (2).

1. В большинстве своем российские граждане проявляют очевидный интерес к мировой и особенно отечественной истории. Во многом это обусловлено значимой ролью исторического прошлого в консолидации населения как на локальном, так и на страновом уровне, в условиях повышенной опасности и рисков для судеб отечества. Заинтересованность в исторических знаниях заметно выше в группах высокообразованных, хорошо обеспеченных россиян, активно использующих современные информационные технологии. Главные источники исторических сведений практически для всех социально-демографических групп — исторические художественные и документальные фильмы, телесериалы, семейные архивы и Интернет (особенно в молодежной среде) (Табл. 1).

Таблица 1

Источники информации об истории России, сентябрь 2020 года, %

Источники информации	
Исторические художественные фильмы и сериалы	45
Исторические документальные фильмы	40
Воспоминания и рассказы родных, близких, семейные истории	32
Интернет-ресурсы, посвященные исторической тематике	26
Исторические романы, художественная литература	25
Посещение музеев, туристические поездки, экскурсии	24
Школьные и вузовские учебники истории	21
Историческая научная литература, исторические исследования	19
Специализированные программы и ток-шоу на телевидении	13
Мемуары, воспоминания видных исторических деятелей	12
Компьютерные игры с историческими сюжетами	4
<i>Историей не интересуются</i>	17

Наряду с этим выделяется «ядро» серьезных почитателей истории (около 20%), для которых основным источником исторических знаний и сведений является научная литература, вплоть до специальных исследований. Существование этой группы сдерживает попытки «пересмотра» и фальсификации отечественной истории: ее представители — по сути, ведущие субъекты адекватного восприятия исторических символов и ключевых событий исторического прошлого.

2. В массовом сознании россиян история страны определяется не переходными этапами, связанными с конкретными реформами, правителями или политическим строем, а ключевыми событиями, которые соотносятся с коренными изменениями условий жизнедеятельности людей. Так, переломным событием, определившим ход отечественной истории в советский период, россияне считают Великую Отечественную войну и одержанную в ней героическую победу советского народа (Рис. 1). Что касается досоветской истории, то в представлениях россиян она тесно связана с православием, поэтому определяющее значение для нее имеет Крещение Руси. Среди оказавших значительное влияние на историческое развитие страны событий современности наши сограждане называют прежде всего воссоединение Крыма с Россией.



Рис. 1. События, оказавшие наибольшее влияние на историческое развитие России, сентябрь 2020 года, %

3. Одна из тревожных тенденций нашего времени — общее снижение уровня исторической компетентности по мере смены поколений. Данный процесс имеет место практически во всех странах, особенно в молодежной среде. В России его проявления отчетливо коррелируют с переходом

к постсоветской школе, основанной на принципе предоставления «образовательных услуг». В целом россияне воспринимают свою историческую компетентность умеренно критически (Рис. 2): вполне компетентным себя видит примерно каждый десятый, а это в два раза меньше доли опрошенных, которые интересуются событиями и явлениями прошлого. Немногим более половины полагают, что имеют об отечественной истории общее представление, примерно треть считает себя малосведущими в исторических вопросах.

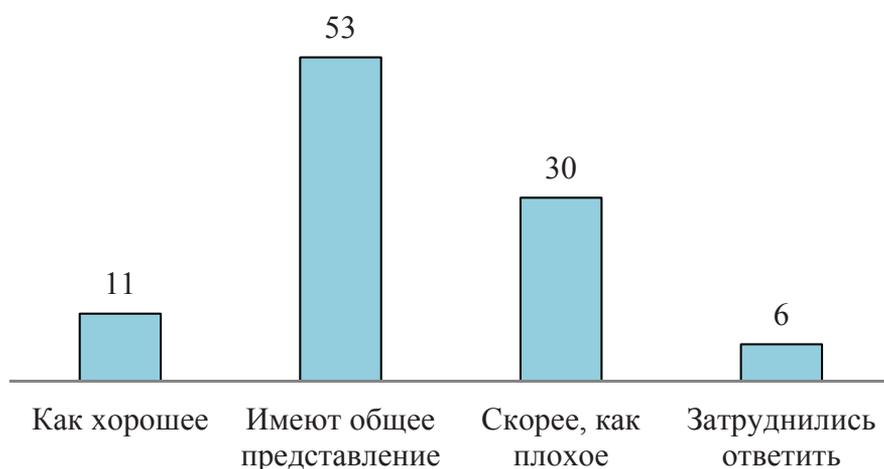


Рис. 2. Как россияне оценивают свое знание истории России, сентябрь 2020 года, %

4. *Всеобъемлющая цифровизация и информационная открытость создают благоприятные условия для поиска заинтересованными гражданами достоверных исторических фактов и их источников, прежде всего о прошлом своей семьи.* Восстановление разрушенной историческими перипетиями семейной истории и фамильной памяти оборачивается порой неожиданными находками, в том числе свидетельствующими об исторической несправедливости в отношении членов семьи: знание семейной истории, информированность об участии родных в знаковых исторических событиях питают чувство гордости за историю страны, а отсутствие семейной памяти делает ее восприятие более драматичным. В семейном опыте значительного числа россиян пересекаются противоречивые оценки одних и тех же исторических периодов, что, однако, не приводит к неоправданно критическим оценкам прошлого, а, напротив, мотивирует к его познанию и принятию, не фокусируясь на травмирующих событиях национальной истории. Подавляющее большинство россиян (86 %) интересуется историей своей семьи, причем каждый третий — деятельно, стараясь узнать новые факты биографии родных.

5. В российском обществе растет и укрепляется убежденность, что от трактовки прошлого зависит будущее, поэтому «борьба за прошлое» имеет огромное политическое значение, в том числе международное. Россияне в большинстве своем настаивают на противодействии искажению исторической правды, особенно если речь идет о Великой Отечественной войне: около 40 % объявляют себя сторонниками решительной полемики с теми, кто допускает фальсификацию исторических фактов, еще треть предпочитает популяризировать понимание истории в фильмах и литературных произведениях, в СМИ и социальных сетях — в сумме это свыше 70 % опрошенных. Порядка 8 % россиян предлагают не обращать внимания на недоброжелателей, и только один из двадцати пяти готов безоговорочно принять критику в адрес страны.

Значительная доля россиян (чуть менее 40 %) полагает, что историческое знание специфично и не относится к категории «вечных истин», поэтому оценки исторических личностей и событий могут меняться. Вместе с тем каждый второй испытывает потребность в устойчивых ориентирах и «общем историческом нарративе», считая необходимым наличие универсальных оценок по крайней мере в отношении основных исторических вех и эпизодов. Тем самым социологическая диагностика фиксирует общественный запрос на целостную интерпретацию ключевых исторических фактов и символов отечественной истории.

Не менее важно и то, что попытки убедить российское общество в необходимости пересмотра и переоценки истории страны на основе ее западных версий не встречают поддержки у подавляющей части россиян и зачастую, в условиях резкого обострения отношений между Россией и Западом, объясняются злонамеренными мотивами — от стремления преуменьшить российский вклад в мировую историю до намерения спровоцировать на постсоветском пространстве конфликты. Лишь пятая часть опрошенных (19 %) допускает, что исторический ревизионизм в отношении России обусловлен желанием донести до общественности достоверную информацию.

В контексте проблемы исторической правды встает вопрос об интеллектуальной и гражданской честности. Отстаиваем ли мы принятую в России версию истории потому, что она «наша»? Или важнее ее соответствие действительности? Как следует из данных в Таблице 2, доля сторонников отказа ворошить трагические страницы отечественной истории, поскольку это раскалывает общество и мешает его консолидации, составляет около 30 %. Тех же, кто отдает приоритет исторической правде как полной и честной картине хода событий, как бы горька она ни была, почти в два раза больше, что говорит о выраженном запросе россиян на историческую достоверность и справедливость в условиях «непроясненности» в обществе отдельных сюжетов истории страны.

Таблица 2

Суждения о соотношении истории и политики, сентябрь 2020 года, %

Суждения	
Нельзя постоянно «ворошить» трагические страницы нашей истории, это только раскалывает общество и мешает его консолидации	29
Нынешнему поколению россиян нужно полнее и честнее рассказывать и о героическом прошлом страны, и о трагических страницах истории России и СССР	61
Затруднились ответить	10

6. В российском социуме нарастает тренд на деидеологизацию истории, который проявляется в двух направлениях: в снижении в общественном мнении остроты противостояния советских и «антисоветских» версий интерпретации отдельных исторических периодов; в изменении доминирующих позитивных или негативных оценок роли ключевых политических деятелей в истории страны. Этот процесс не означает завершения идеологического противостояния в «персонально-историческом» контексте, поскольку продолжающиеся острые идеологические дискуссии фокусируются сегодня и на актуальной повестке, и на том, что происходило в прошлом. Это говорит о необходимости регулярного социологического мониторинга восприятия обществом отечественной истории. Накопилось немало аргументов в пользу того, что такой мониторинг — эффективный инструмент социальной диагностики состояния государственно-гражданской идентичности и ее влияния на массовое оценочно-ценностное отношение к событиям и процессам как прошлой, так и сегодняшней действительности.

Историческое сознание, включающее историческую память и восприятие национально-государственной символики, не только выступает в качестве основания гражданской идентичности, но и органично связано с ценностно-мировоззренческим осмыслением современности через призму как общественных, так и индивидуальных интересов. Следующие постулаты обосновывают роль оценочно-ценностных и идейно-мировоззренческих составляющих в консолидации российского социума.

7. После того, как с начала 2000-х годов пошло на спад увлечение части общества идеями либерализма и построения демократии по западным образцам, в массовом сознании стало укрепляться новое видение России и ее будущего. Путь, которым следует сегодня страна, оценивается большинством ее граждан как верный, а в перспективе — ведущий к положительным результатам (74 %). Около 40 % настроены на перемены в обществе, значит, нынешний курс соответствует запросу как тех, кто ожидает перемен, так и тех, кто ориентирован на стабильность. При этом наблюдается новое прочтение, своего рода переосмысление обще-

ством самой идеи перемен и пути развития страны, их взаимосвязи: еще три года назад «перемены» означали для многих поиск иного курса, а сегодня выбранный путь и «перемены» более не противоречат друг другу. Нынешний «путь» России — это в значительной степени ожидаемые «перемены».

Из образа этого «пути» уходят смыслы, связанные с движением страны в направлении прозападной модели развития. 8. *В настоящее время путь России понимается в массовом сознании как самобытная модель мироустройства и цивилизационного суверенитета* (78 %; только 22 % полагают, что Россия должна жить по тем же правилам, что и западные страны). Подобное понимание характерно для всех возрастных групп, кроме части молодежи до 25 лет (Рис. 3). Не отрицая ценности идеи демократии (при этом 65 % согласны, что индивидуализм, либерализм и западная демократия представляют собой ценности, россиянам не подходящие), российское общество переосмысливает ее основные принципы, относясь к ним куда более адекватно, чем это предполагает демократия западного образца. Соглашаясь с тем, что демократия невозможна без оппозиции, россияне, тем не менее, хотят видеть в последней не политическую альтернативу действующей власти, а конструктивного партнера властей. Отношение к закону носит для большинства опциональный характер: практически все годы постсоветских реформ приоритетом является справедливость. По мнению многих россиян, свобода слова для СМИ и блогеров может быть ограничена, если они нарушают интересы государства. Разумеется, в обществе есть и те, кто последовательно придерживается демократических ценностей в их западном варианте, однако они составляют меньшинство (не более четверти опрошенных).

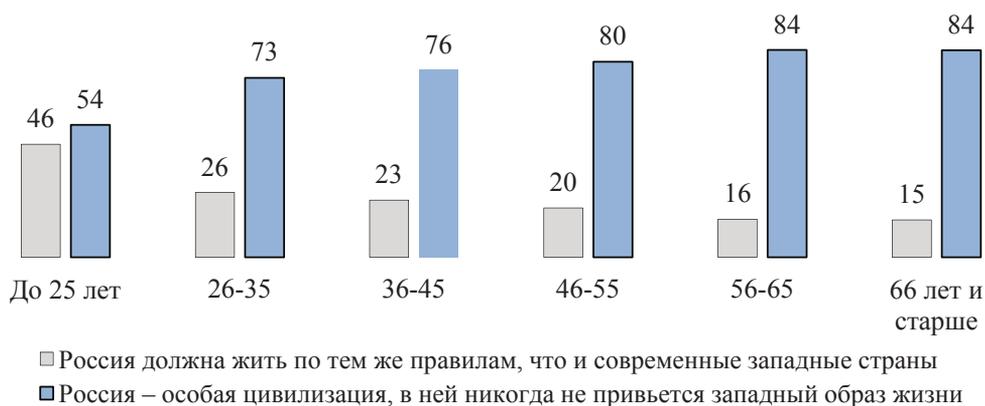


Рис. 3. Установки на прозападную или особую российскую цивилизационную модель, март 2022 года, %

9. Как в результате воссоединения Крыма с Россией, так и в настоящее время, в ходе проведения СВО на Украине, имеет место консолидация российского общества по ключевым вопросам настоящего и будущего страны. Динамика показателей ценностно-мировоззренческого сознания россиян после событий двух рубежных годов — 2014 и 2022 — отражает сходные представления о консолидации на фоне решительных действий международного значения, предпринимаемых Россией: укрепляется уверенность, что страна идет в правильном направлении, усиливается поддержка власти; вне рамок общественного согласия по важнейшим вопросам дальнейшего развития и устройства страны остаются россияне, не поддержавшие проведение СВО на Украине, — группа сравнительно небольшая, и до событий 2022 года выделявшаяся неприятием политического курса страны. Есть и еще одно важное обстоятельство — из сложившегося в 2022 году мировоззренческого консенсуса «выпадает» часть российской молодежи в возрасте до 25 лет, чем нынешняя обстановка отличается от ситуации 2014 года: тогда многие молодые россияне хотя и были в чем-то более критичны и либеральны, но в целом придерживались тех же базовых оценок, что и общество в целом, а сегодня они находятся в особой позиции (Рис. 4), полагая, пусть и не в большинстве своем, но чаще, чем представители остальных возрастных групп, что нынешний путь ведет страну в тупик, и ей следует жить по тем же правилам, что и современные зарубежные страны.

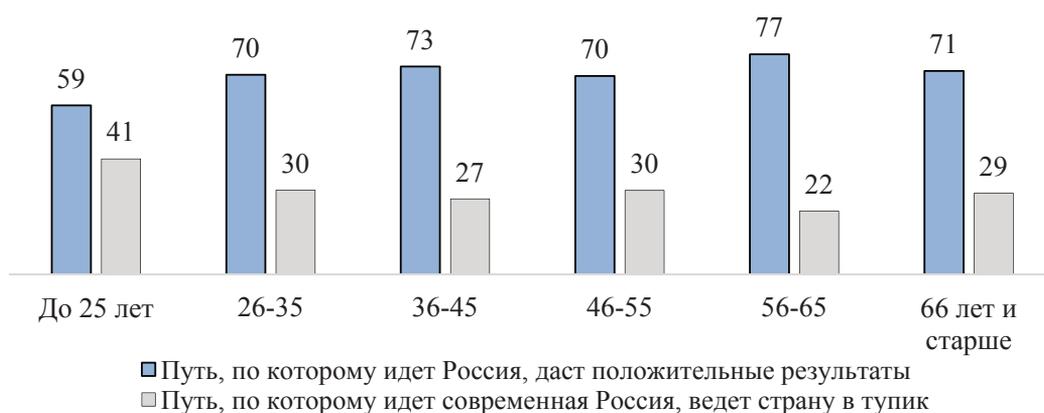


Рис. 4. Динамика оценок основного вектора развития страны, март 2022 года, %

10. Смысложизненные установки россиян, касающиеся жизни человека и принципов, которыми он руководствуется, демонстрируют более высокую устойчивость по сравнению с представлениями о векторе развития страны, ее цивилизационной модели и государственном устройстве. «Смыслы для себя» менее подвержены изменчивости и составляют тот мировоззрен-

ческий базис, на который люди опираются в условиях высокой социальной турбулентности. Тем не менее, и в «смыслах для себя» наблюдаются некоторые изменения: они не ярко выражены количественно, но их согласованность свидетельствует об общем тренде, в котором проявляется защитная реакция общества на текущую ситуацию. С одной стороны, снижается восприятие себя как самодостаточных «кузнецов своего счастья». С другой стороны, усиливается внешний локус контроля — осознание себя как зависимых от государственной поддержки и внешних обстоятельств. Анализ структурных изменений, образующих тренд на снижение субъектности, демонстрирует, что наиболее уязвимы и подвержены им малообеспеченные россияне, жители глубинки, прежде всего поселков городского типа, а также когорта 46–55 лет. В атмосфере сужения пространства субъектности укрепляется значимость свободы — повышенная чувствительность к ней фиксируется в группах, испытывающих дефицит свободы в разных смыслах этого слова. Во-первых, это «лояльные западники» (декларирующие поддержку власти и пути, по которому идет страна, но желающие при этом видеть Россию устроенной по модели западной демократии) и те, кто полагает, что основные угрозы для России находятся внутри страны. Во-вторых, это те, кто испытывает «несвободу действий», прежде всего 26–35-летние россияне, заменившие под давлением внешних обстоятельств установку на самоактивность и самореализацию на приспособление к сложившейся ситуации.

Выявленный тренд на снижение субъектности выводит на постулат *II: последние девять лет (с весны 2014 года), которые сопровождалась кризисами разной природы и санкционной войной против России, болезненно сказались на материальном положении подавляющего большинства россиян*. В наименьшей степени пострадали полярные доходные децили — самые бедные (благодаря государственным мерам помощи бедным и малообеспеченным) и наиболее высокодоходные (благодаря высокой ресурсообеспеченности, позволяющей успешно адаптироваться к новым условиям). Результат — доходное неравенство населения в массовых слоях остается глубоким: разрыв медианных доходов верхнего и нижнего децилей шестикратный (Рис. 5). В наибольшей степени — и объективно, и субъективно — от турбулентности последних лет пострадало материальное положение низко- и среднедоходных слоев.

Длительное ухудшение материального положения значительной части россиян (включая период пандемии) весьма опасно, поскольку его негативная динамика сказывается на восприятии текущего положения дел — как в катастрофической оценке ситуации в стране в целом (8%), так и в отношении к санкциям Запада. Это означает, что, во-первых, негативные умонастроения и оценки базовых жизненных аспектов носят главным образом не идеологический, а прагматически-утилитарный характер; во-вторых, расширение группы с нисходящей динамикой материального положения может способствовать более масштабному распространению негативных установок.

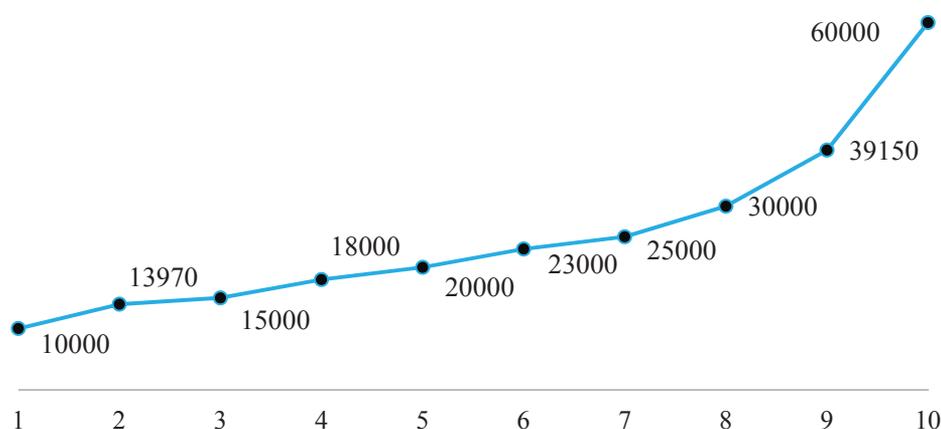


Рис. 5. Медианные среднедушевые доходы в децилях массовых слоев (2022, руб.)

Если укрупнить разные стороны жизнедеятельности в несколько блоков, отражающих повседневную жизнь людей, различные аспекты их занятости, место в социальной иерархии, отношения с ближайшим кругом и то, чего человек ожидает от повседневной жизни, то вырисовывается неудовлетворенность россиян взаимодействием с обществом в целом, с действующими в нем институтами макроуровня и результатами их функционирования. Это недовольство не только ситуацией у себя на работе, но и возможностями выражать свои взгляды, получать качественную медицинскую помощь, иметь социальные гарантии в случае утраты рабочего места и пр. Что же касается оценки своего положения в социальной иерархии, то в массе своей россияне им удовлетворены. 7% ощущают себя социальными аутсайдерами, для них характерно более мрачное видение своего будущего и в целом тяжелое социально-психологическое состояние с доминированием чувств беспокойства, страха, отчаяния или паники. Ощущающие себя социальными аутсайдерами резко критичны по отношению к реализуемой сегодня стратегии развития России. В этом отношении они, как бы парадоксально это ни выглядело, солидаризируются с некоторыми «звездами» российского шоу-бизнеса, оказываясь с ними, хотя и по разным причинам, в едином маргинальном «вне-мейн-стриме» в отношении к СВО.

12. В российском обществе сравнительно давно сложился консенсус относительно ключевых социальных групп, способствующих или препятствующих развитию страны. Помимо крестьян и рабочих, к способствующим большинство относит предпринимателей, средний класс, молодежь, военных и руководителей предприятий. Как следует из данных Таблицы 3, положительная роль интеллигенции признается сегодня заметно реже, что может говорить о невыполнении ею в глазах общественного мнения тех социальных функций, которые на нее возлагаются. Не улучшает ситуацию и реакция части отечественной интеллигенции на проведение СВО.

Таблица 3

Мнение россиян о влиянии на развитие страны разных социальных групп, март 2022 года, % (3)

Социальные группы	Способствуют развитию	Препятствуют развитию
Рабочие	94	5
Крестьяне	93	6
Средний класс	92	7
Предприниматели	90	10
Молодежь	88	11
Военные	83	16
Руководители предприятий и фирм	80	19
Интеллигенция	78	21
Сотрудники правоохранительных органов	65	34
Государственные чиновники	42	57

Неожиданно, что при довольно высокой степени консенсуса относительно доверия ключевым институтам и роли в развитии страны основных социальных групп, россияне сравнительно невысоко оценивают уровень взаимовыручки в обществе — в среднем на 5 из 10 баллов, что не согласуется с уровнем доверия ближайшему окружению и объективными показателями готовности наших сограждан прийти на помощь друг другу, которые, напротив, очень высоки. Практически все россияне рассчитывают на получение хотя бы хозяйственно-бытовой помощи и готовы оказывать ее сами, что объективно свидетельствует о высоком потенциале взаимовыручки (повсеместное расширение волонтерского движения, различных благотворительных и гуманитарных акций). Уровень межличностного доверия среди россиян также высок (Табл. 4): наибольшим доверием пользуются представители ближайшего круга — семья, родственники и друзья. За период 2022–2023 годов уровень межличностного доверия («доверяют полностью»), особенно самым близким, несколько снизился, что, видимо, отчасти объясняется неоднородностью отношения к событиям на Украине.

Таблица 4

«Насколько Вы доверяете своему ближайшему окружению?», 2021–2022, %

Окружение	Доверяют		Доверяют отчасти		Не доверяют		В окружении таких нет	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Члены семьи	91	88	8	11	0	1	1	0
Родственники	69	62	29	34	2	4	0	0
Друзья	56	49	40	44	3	6	1	1
Коллеги	18	18	49	50	13	16	20	16
Соседи	18	14	55	55	25	29	2	2

13. Обращаясь к задачам, которые обществу предстоит решить на пути созидания России будущего, большинство, как и ранее, выдвигает на первый план борьбу с коррупцией (42 %), в разряд несомненных приоритетов («тройку лидеров») входит создание эффективной наукоемкой экономики (36 %) и преодоление избыточных социальных неравенств (35 %). В последние годы заметно увеличилась доля россиян, указывающих в числе основных приоритетов укрепление суверенитета России и ее позиций на мировой арене (с четверти до трети — в 2021 и 2022 году соответственно). Уменьшение санкционного давления на страну, похоже, не является для большинства предметом особой озабоченности. В целом сложившиеся в массовом сознании представления об актуальных задачах, стоящих перед страной, на протяжении двух десятилетий практически не менялись: помимо названных к ним относятся обеспечение равенства всех перед законом (31 %) и увеличение бюджетного финансирования социальной сферы (медицины, образования, культуры) (30 %). Вопросы либеральной повестки (демократическое обновление, расширение прав и свобод, возможностей для предпринимательства и т.п.) остаются на периферии внимания и не воспринимаются как значимые в плане коллективного целеполагания.

Традиционные социально-демографические характеристики — род занятий, уровень доходов, место проживания и т.п. — в большинстве своем оказывают на социальные установки и политические умонастроения незначительное влияние: сторонники разных представлений о желаемом будущем России распределены по перечисленным категориям в примерно одинаковых долях. Самым сильным и значимым сегментирующим признаком выступает личный выбор между двумя принципиально разными стратегиями развития страны: одна группа составляет явное меньшинство (15 %) (условные «новые западники») и желает, чтобы Россия следовала по западному пути; другая группа охватывает подавляющее большинство (условные «государственники»), предпочитающее собственный, самобытный путь развития страны.

Две указанные группы отличаются восприятием нынешнего миропорядка и видением того, какие действия в будущем следует предпринять. «Новые западники» выделяются оторванностью от исторического прошлого страны, демонстрируют недоверие ко всем уровням власти, чувствительны к вопросу защиты прав и свобод человека и не способны мириться с ущемлением прав меньшинств ради защиты интересов и прав большинства, чаще других не поддерживают государственные решения последнего времени и убеждены, что Россия в принципе идет не тем путем. «Государственники», наоборот, глубоко чтят историю, причем не только страны, но и своей семьи. Историческая память выступает, по их мнению, одной из важнейших основ социальной солидарности. Будучи лояльными властям и доверяя их решениям, «государственники» чаще поддерживают внешнеполитические решения последнего времени и не опасаются западных санкций, полагая, что они при-

несут российской экономике пользу. «Государственники» — основные сторонники большей централизации власти в стране, они исходят из того, что только государство, опирающееся на внутренне сплоченный социум, способно отстаивать право России быть сильной и процветающей.

Примечания

- (1) Массовые опросы населения были проведены осенью 2020 года, весной 2021–2022 годов и летом 2023 года по репрезентативной общероссийской районированной квотной выборке. Объем выборочной совокупности — 2000 респондентов, репрезентирующих взрослое население (18+) по параметрам пола, социально-профессионального статуса, образования и типа населенного пункта проживания.
- (2) Анализ результатов исследований и сделанные на их основе выводы см. в [8].
- (3) В таблице не указаны затруднившиеся с ответом, поэтому сумма ответов по строке может быть меньше 100 %.

Информация о финансировании

Статья подготовлена при поддержке РФФ. Проект № 20-18-00505 «Влияние нематериальных факторов на консолидацию российского общества в условиях новых социокультурных вызовов и угроз».

Библиографический список

1. *Андреев А.Л.* Историческое самосознание. Теория. История. Практика. Красноярск, 2002.
2. *Андреев А.Л.* Историческое самосознание современного российского общества // Вестник РАН. 2021. Т. 91. № 4.
3. *Воробьева И.В.* Историческая память и историческое сознание россиян: современное состояние и тенденции // Труды СПбГИК. 2015. Т. 208.
4. *Горшков М.К., Шереги Ф.Э.* Историческое сознание молодежи // Вестник РАН. 2010. Т. 80. № 3.
5. *Дробижева Л.М.* Российская идентичность: поиски определения и динамика распространения // Социологические исследования. 2020. № 8.
6. *Дробижева Л.М., Рыжова С.В.* Общероссийская идентичность в социологическом измерении // Вестник российской нации. 2021. № 1–2.
7. Историческая память и российская идентичность / Под ред. В.А. Тишкова, Е.А. Пивневой. М., 2018.
8. Историческое сознание россиян: оценки прошлого, память, символы (опыт социологического измерения) / Под ред. М.К. Горшкова. М., 2022.
9. *Левада Ю.А.* Историческое сознание и научный метод // Памяти Юрия Александровича Левады / Сост. Т.В. Левада. М., 2011.
10. *Леона А.В.* Историческое сознание в условиях социокультурного кризиса. Красноярск, 2011.
11. *Мерзлякова И.Л.* Историческое сознание российского общества в условиях социально-политической модернизации в конце XX — начале XXI вв. М., 2021.
12. *Мерзлякова И.Л.* Функции исторического сознания в условиях модернизации современного российского общества // Вестник ДонГТУ. 2012. Т. 12. № 4.
13. *Перевезенцев С.В.* Историческое сознание: опыт типологизации // Словесно-исторические научные чтения им. Т.Н. Щипковой. Гуманитарные науки и отечественное образование. История, преемственность и ценности / Под ред. А.В. Щипкова. М., 2020.
14. *Пичугин В.Г.* Историческое сознание общества: основные подходы к определению методологического статуса // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. 2022. Т. 11. № 3А.

15. Приходько Е.А., Лебедева С.О. Историческая память и историческое сознание // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2010. № 1.
16. Путилова Е.Г. Историческое сознание и историческая память: соотношение понятий на современном этапе // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2012. № 10. Ч. II.
17. Репина Л.П. Историческая память и современная историография // Новая и новейшая история. 2004. № 5.
18. Репина Л.П. События и образы прошлого в исторической и культурной памяти // Новое прошлое. 2016. № 1.
19. Репинецкая Ю.С. К вопросу о содержании понятий «историческое сознание» и «историческая память» // Самарский научный вестник. 2017. Т. 6. № 1.
20. Ростовцев Е.А., Сосницкий Д.А. Направления исследований исторической памяти в России // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2: История. 2014. № 2.
21. Содержательные основы российской идентичности. Региональный и этнокультурный контексты / Отв. ред. Е.М. Арутюнова, С.В. Рыжова. М., 2021.
22. Сыров В.Н. В каком историческом сознании мы нуждаемся: к методологии подхода и практике использования // Вестник ТГУ. История. 2013. № 1.
23. Тощенко Ж.Т. Историческое сознание и историческая память. Анализ современного состояния // Новая и новейшая история. 2000. № 4.
24. Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. М., 2007.

DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-4-720-739

EDN: FQZJXO

Consolidation of the Russian society under contemporary challenges: Social-historical and value contexts*

M.K. Gorshkov^{1,2}, I.O. Tyurina²

¹Federal Center of Theoretical and Applied Sociology RAS,
Krzhizhanovskogo St., 24/35-5, Moscow, 117218, Russia

²Institute of Sociology of FCTAS RAS,
Bolshaya Andronievskaya St., 5–1, Moscow, 109544, Russia

(e-mail: m_gorshkov@isras.ru; irina1-tiourina@yandex.ru)

Abstract. Civil identity is one of the key resources for uniting Russian society. It is based on the historical self-awareness, common historical memory, joint commemoration of significant historical events and achievements of the state and society. Civil identity of the Russian nation is concentrated around the Soviet legacy: Russian reality is filled with Soviet reminiscences and markers of historical memory, many of which act as ‘links’ for the differentiated social space. However, the Soviet period is becoming increasingly distant, full of myths and simplified interpretations. Therefore, the increased attention to the interpretation of ambiguous events of the Soviet history may cause a critical revision of the Soviet value paradigm in relation to the

*© M.K. Gorshkov, I.O. Tyurina, 2023

The article was submitted on 10.05.2023. The article was accepted on 14.09.2023.

historical heritage and the policy of memory and become a catalyst for centrifugal sentiments, creating threats to the state security and integrity. The efficiency of state institutions and prospects of civil society structures depend on the dominant identity markers in the mass consciousness and on the most important reference groups for self-identification. Thus, the study of the historical consciousness and memory of Russians as the basic principles of national consensus and the analysis of the features of the post-crisis historical worldview of different groups in the Russian society are of particular relevance. Based on the monitoring research data from the IS FCTAS RAS surveys (conducted in 2020–2023 on the representative all-Russian regionalized quota sample; N = 2000) and an integrated approach, the authors assess the historical and value consciousness of Russians under contemporary challenges: interest in history and historical facts, perception of historical periods and leading historical figures; attitude to national history, formation of the all-Russian identity and the role of family memory in this process; a ‘new vision’ of Russia and its future, a trend to rethink the idea of change and the path of national development, understood in the mass consciousness through the original model of the world order and civilizational sovereignty; ideas about key social groups that contribute to or hinder national development, and about the tasks to be solved on the path to creating future Russia. The main conclusions of the research are presented in the article in the form of postulates.

Key words: post-Soviet Russia; consolidation of society; threats and challenges; civil identity; historical consciousness; historical memory; national history; sociological postulation; Russian world order; vision of Russia and its future

Funding

The research was supported by the Russian Science Foundation. Project No. 20-18-00505 «Mass attitudes, values and beliefs as factors offsetting social-cultural challenges and threats to social cohesion in the contemporary Russian society».

References

1. Andreev A.L. *Istoricheskoe samosoznanie. Teoriya. Istoriya. Praktika* [Historical Consciousness. Theory. History. Practice]. Krasnoyarsk; 2002. (In Russ.).
2. Andreev A.L. Istoricheskoe samosoznanie sovremennogo rossijskogo obshchestva [Historical consciousness of the contemporary Russian society]. *Herald of the RAS*. 2021; 91 (4). (In Russ.).
3. Vorobieva I.V. Istoricheskaya pamyat i istoricheskoe soznanie rossiyan: sovremennoe sostoyanie i tendentsii [Historical memory and historical consciousness of Russians: The present state and trends]. *Proceedings of the SPbSIC*. 2015; 208. (In Russ.).
4. Gorshkov M.K., Sheregi F.E. Istoricheskoe soznanie molodezhi [Historical consciousness of the youth]. *Herald of the RAS*. 2010; 80 (3). (In Russ.).
5. Drobizheva L.M. Rossijskaya identichnost: poiski opredeleniya i dinamika rasprostraneniya [Russian identity: In search for definition and distribution dynamics]. *Sociological Studies*. 2020; 8. (In Russ.).
6. Drobizheva L.M., Ryzhova S.V. Obshherossijskaya identichnost v sotsiologicheskom izmerenii [All-Russian identity in the sociological dimension]. *Bulletin of the Russian Nation*. 2021; 1–2. (In Russ.).
7. *Istoricheskaya pamyat i rossijskaya identichnost* [Historical Memory and Russian Identity]. Moscow; 2018. (In Russ.).
8. *Istoricheskoe soznanie rossiyan: otsenki proshlogo, pamyat, simvoly (opyt sotsiologicheskogo izmereniya)* [Historical Consciousness of Russians: Assessment of the Past, Memory, Symbols (Sociological Measurement)]. Moscow; 2022 (In Russ.).
9. Levada Yu.A. Istoricheskoe soznanie i nauchny metod [Historical consciousness and scientific method]. *In Memory of Yuri Aleksandrovich Levada*. Moscow; 2011. (In Russ.).
10. Leopa A.V. *Istoricheskoe soznanie v usloviyah sotsiokulturnogo krizisa* [Historical Consciousness under the Social-Cultural Crisis]. Krasnoyarsk; 2011. (In Russ.).

11. Merzlyakova I.L. *Istoricheskoe soznanie rossijskogo obshchestva v usloviyah sotsialno-politicheskoy modernizatsii v kontse XX — nachale XXI vv.* [Historical Consciousness of the Russian Society under the Sociak-Political Modernization in the Late 20th — Early 21st Century]. Moscow; 2021. (In Russ.).
12. Merzlyakova I.L. Funktsii istoricheskogo soznaniya v usloviyah modernizatsii sovremennogo rossijskogo obshchestva [Historical consciousness functions under modernization of the contemporary Russian society]. *Bulletin of the DSTU*. 2012; 12 (4). (In Russ.).
13. Perevezentsev S.V. Istoricheskoe soznanie: opyt tipologizatsii [Historical consciousness: A typology]. *Slovesno-istoricheskie nauchnye chteniya im. T.N. Shhipkovej. Gumanitarnye nauki i otechestvennoe obrazovanie. Istoriya, preemstvennost i tsennosti*. Moscow; 2020. (In Russ.).
14. Pichugin V.G. Istoricheskoe soznanie obshchestva: osnovnye podkhody k opredeleniyu metodologicheskogo statusa [Historical consciousness of the society: Main approaches to identifying its methodological status]. *Context and Reflection: Philosophy of the World and Human Being*. 2022; 11 (3A). (In Russ.).
15. Prikhodko E.A., Lebedeva S.O. Istoricheskaya pamyat i istoricheskoe soznanie [Historical memory and historical consciousness]. *Historical, Philosophical, Political and Legal Sciences, Cultural and Art Studies. Issues of Theory and Practice*. 2010; 1 (5). (In Russ.).
16. Putilova E.G. Istoricheskoe soznanie i istoricheskaya pamyat: Sootnoshenie ponyatij na sovremennom etape [Historical consciousness and historical memory: The present correlation of notions]. *Historical, Philosophical, Political and Legal Sciences, Cultural and Art Studies. Issues of Theory and Practice*. 2012; 10 (24). Part II. (In Russ.).
17. Repina L.P. Istoricheskaya pamyat i sovremennaya istoriografiya [Historical memory and contemporary historiography]. *New and Contemporary History*. 2004; 5. (In Russ.).
18. Repina L.P. Sobytiya i obrazy proshlogo v istoricheskoy i kulturnoj pamyati [Events and images of the past in historical and cultural memory]. *The New Past*. 2016; 1. (In Russ.).
19. Repinetskaya Yu.S. K voprosu o soderzhanii ponyatij “istoricheskoe soznanie” i “istoricheskaya pamyat” [On the content of the concepts “historical consciousness” and “historical memory”]. *Samara Scientific Bulletin*. 2017; 6 (1). (In Russ.).
20. Rostovtsev E.A., Sosnytsky D.A. Napravleniya issledovaniy istoricheskoy pamyati v Rossii [Main areas of the Russian memorial studies]. *Bulletin of the Saint Petersburg University. Series 2: History*. 2014; 2. (In Russ.).
21. *Soderzhatelnye osnovy rossijskoy identichnosti. Regionalny i etnokulturny konteksty* [Basics of the Russian Identity. Regional and Ethnic-Cultural Contexts]. Moscow; 2021 (In Russ.).
22. Syrov V.N. V kakom istoricheskom soznanii my nuzhdaemsya: K metodologii podkhoda i praktike ispolzovaniya [What kind of historical consciousness we need: On the methodology of approach and its practical use]. *Bulletin of the TSU. History*. 2013; 1 (21). (In Russ.).
23. Toshchenko Zh.T. Istoricheskoe soznanie i istoricheskaya pamyat. Analiz sovremennogo sostoyaniya [Historical consciousness and historical memory. Analysis of the current state]. *New and Contemporary History*. 2000; 4. (In Russ.).
24. Halbwachs M. *Sotsialnye ramki pamyati* [The Social Frameworks of Memory]. Moscow; 2007. (In Russ.).



DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-4-740-753

EDN: FLYVAD

Человек-толерантный в ценностной системе координат «эссенциализм — экзистенциализм»*

А.А. Белов¹, А.Н. Данилов², Д.Г. Ротман³

¹Научно-технологический парк ООО «ИнКата»,
Пекинский просп., 18, Белорусский индустриальный парк «Великий камень», Минская область, 222210, Республика Беларусь

²Белорусский государственный университет,
ул. Кальварийская, 9, Минск, 220004, Республика Беларусь

³Центр социологических и политических исследований Белорусского государственного университета,
ул. Академическая, 25, Минск, 220072, Республика Беларусь

(e-mail: belov404.net@gmail.com; a.danilov@tut.by; dgrotman@rambler.ru)

Аннотация. В статье на основе данных межстранового социологического исследования последней волны EVS и WVS (2017–2022) проведен анализ ценностей через оппозицию «эссенциализм — экзистенциализм». Использован методологический подход к определению системы ценностных координат, предложенный Р. Инглхартом и К. Вельцелем. Посредством изучения уровня толерантности в 82 странах оценивалось их место на шкале «эссенциализм — экзистенциализм»: в большинстве случаев чувство нетерпимости к иному/другому слабо дифференцировано. Нетерпимость распространяется на все объекты, которые отличаются от принятого стандарта. Выделены две группы индикаторов толерантности — к происхождению (расовому или этническому) и к моделям поведения — с помощью корреляционного и факторного анализа. Для определения числа факторов использовалась процедура, основанная на значениях корреляционной матрицы, затем применялось ортогональное вращение методом варимакс. Полученная модель обладает высокими характеристиками качества и показывает сильную связь между уровнем толерантности к иным моделям поведения и уровнем экономического благополучия страны. Существенное влияние на уровень толерантности оказывает уровень доверия людей друг к другу: чем выше уровень социального доверия, тем выше толерантность к иным моделям поведения, и, наоборот — чем выше уровень недоверия (разобщенности), тем выше уровень нетерпимости к различиям, т.е. разобщенность, атомизация и недоверие порождают нетерпимость к иному. Люди, придерживающиеся экзистенциалистского принципа, оказываются более терпимыми к различиям в мировоззрении, образе жизни, поведении и обычаях других. Доминирование эссенциализма или экзистенциализма в обществе приводит к конкретным правовым последствиям, например, в миграционной, брачно-семейной и религиозной политике государств. Посредством изучения уровня толерантности можно оценить, на каком полюсе шкалы «эссенциализм — экзистенциализм» находится та или иная страна.

*© Белов А.А., Данилов А.Н., Ротман Д.Г., 2023

Статья поступила 18.07.2023 г. Статья принята к публикации 16.10.2023 г.

Ключевые слова: человек-толерантный; ценностная система координат; эссенциализм–экзистенциализм; корреляционный анализ; факторный анализ; ценности

В предыдущих публикациях [1; 2] мы использовали подход к анализу ценностей, предложенный Р. Инглхартом и К. Вельцелем и основанный на выделении двух основных координат: ценности традиционные и секулярно-рациональные; ценности выживания и самовыражения [15; 16; 17]. Однако, помимо указанных координат, можно предположить наличие еще одного базового принципа ценностного мира, который во многом определяет позицию человека по широкому кругу этических вопросов и раскрывается через другую оппозицию — «эссенциализм — экзистенциализм», т.е. интерпретацию понятия «человек» и, соответственно, формирование принципа должностования. Так, согласно эссенциализму существует некий априорный и объективный образ человека, его родовая или природная сущность, которой каждый индивид должен соответствовать. При этом на практике (особенно на обыденном уровне) данный образ раскрывается посредством ряда фиксированных, неизменных и врожденных характеристик, которые должны быть присущи тем или иным группам (например, мужчинам, женщинам или людям в целом).

В наиболее крайних версиях такой трактовки эссенциализма отклонение индивида от его предзаданной сущности рассматривается как порицаемое, недопустимое и ненормальное поведение — как отклонение от «естественного» или «священного» образа. Яркие примеры эксплицированных и проработанных систем эссенциализма представлены в крупных религиях, где конкретные эмпирические параметры образа человека обосновываются божественным порядком. Однако наличие хорошо проработанного религиозного мировоззрения необязательно для эссенциалистского подхода в этической сфере. Напротив, как показывают многочисленные исследования, установки большинства людей носят имплицитный и нерелексивный характер. Во всех случаях, когда человек выносит оценочное суждение исходя из некоего «естественного» порядка вещей, уверенно навязывает окружающим свое представление о человеке вообще — это проявление эссенциалистской позиции. В отдельных суждениях она проявляется через такие оценки, как «это неправильно, потому что противоестественно», «каждый мужчина должен...», «настоящая (полноценная) семья — это...» и т.д.

Экзистенциалистская позиция отрицает наличие какой-либо родовой сущности человека, которая бы предписывала нам конкретный образ (норму) и поведение. В сжатой форме данная позиция может быть выражена формулой «существование предшествует сущности», предложенной Ж.-П. Сартром и подчеркивающей, что люди сначала приходят в этот мир, а потом, через свои действия и выборы, определяют свою сущность. Таким образом, отвергается наличие предзаданной человеческой «сущно-

сти», которая бы определяла, кто мы или как мы должны действовать [8]. В таком подходе отсутствие общей объективной нормы, с одной стороны, дает каждому право распоряжаться своей жизнью по собственному усмотрению (человек как проект самого себя), а, с другой стороны, не дает окружающим права порицать поведение и выбор другого (поскольку никто не знает, как должно быть «на самом деле»). В такой модели допустимый диапазон индивидуального выбора моделей поведения ограничивается лишь принципом, сформулированным еще французским Просвещением (с его явной антирелигиозной направленностью) и зафиксированным в 1789 году в Статье 4 Декларации прав человека и гражданина — «свобода состоит в возможности делать все, что не наносит вреда другому» [13]. Соответственно, люди, придерживающиеся экзистенциалистского принципа, более терпимы к различиям в мировоззрении, образе жизни, поведении и обычаях других.

Для обозначения терпимости к различиям сегодня используется термин «толерантность» (от латинского *tolerantia* — терпимость). Посредством оценки уровня толерантности можно понять, на каком полюсе по шкале «эссенциализм — экзистенциализм» находится общество. Для проведения такой оценки были использованы данные последней волны EVS и WVS (2017–2022) [17. С. 7–10]: респондентам из более чем 80 стран мира задавался, помимо прочего, ряд вопросов, характеризующих терпимость к разным социальным группам и моделям поведения. В частности, один блок вопросов предполагал указание респондентом тех социальных групп, которых он не хотел бы видеть в качестве своих соседей. Авторы опроса в странах Европы (EVS) включили в список людей другой расы, алкоголиков, иностранных рабочих, наркоманов, гомосексуалистов, христиан, мусульман, евреев и цыган. Из этого перечня мы рассмотрели только две группы — представители другой расы и иностранные рабочие. Группы «алкоголики» и «наркоманы» были исключены, поскольку у многих алкоголизм и наркомания справедливо ассоциируются с непосредственным вредом для окружающих, что может являться объективным основанием для нетерпимости к ним со стороны окружающих (например, соседей). Группы «христиане» и «мусульмане» были исключены по причине сложности межстрановых сравнений: в ряде стран христианство или ислам является доминирующей религией, в ряде стран обе религии представлены крупными сообществами, поэтому необходимо тщательно исследовать эффекты распространенности данных конфессий в конкретных странах и их влияние на религиозную самоидентификацию. Группы «евреи» и «цыгане» были исключены, поскольку в значительном количестве стран не были включены в опросный лист, а группа «гомосексуалисты» — поскольку аналогичный вопрос задавался в другом тематическом блоке опроса (о нетрадиционных формах сексуальности).

Второй блок вопросов об уровне толерантности предполагал оценку респондентом возможности оправдать определенные формы поведения других по шкале от 1 до 10, где 1 — никогда нельзя оправдать, 10 — всегда можно оправдать. В странах Европы респонденты оценивали 15 форм поведения, но для анализа уровня толерантности были отобраны 6, а исключены те формы поведения, которые во всех или в большинстве включенных в опрос стран считаются уголовными или административными правонарушениями (уклонение от налогов, получение взяток, необоснованное получение льгот от государства, использование насилия в политической борьбе, употребление наркотиков, уклонение от оплаты проезда на общественном транспорте). По указанным позициям обоснованны аргументы относительно возможного прямого вреда другим людям, что не соответствует целям нашего исследования. Позиция «смертная казнь» не принималась в расчет, поскольку характеризует не поведение других (физических лиц), а позицию государства в сфере уголовного права. Позиция «аборт» была исключена, поскольку считается, что решение об аборте — ответственность не только женщины, но и второго родителя, который может быть против, но почти никогда не имеет возможности повлиять на ситуацию. Кроме того, многие люди воспринимают абортируемый плод не как часть организма женщины, а как живое существо, наделенное признаками человека, но в наши задачи не входило участие в полемике по таким сложным этическим вопросам. Позиция «искусственное оплодотворение или экстракорпоральное оплодотворение» была исключена как относительно новый и сложный феномен для значительной части респондентов. Наши исследования методами глубинных интервью и фокус-групп показали, что большинство населения имеет весьма расплывчатое представление об этих явлениях, т.е., возможно, пока здесь справедлив тезис П. Бурдье, что «общественного мнения не существует».

Таким образом, из перечня было отобрано лишь 6 видов поведения, которые наилучшим образом соответствуют следующим параметрам: касаются преимущественно частной (а не публичной) сферы жизни и напрямую не затрагивают поведение в экономической, политической и иных публичных сферах; имеют отношение к свободному принятию решений взрослыми людьми относительно их собственной жизни; не имеют своей целью или средством нанесение прямого физического или имущественного ущерба иным лицам, не вовлеченным в соответствующие акты поведения. К таким формам нетрадиционного поведения отнесены гомосексуализм (два взрослых человека принимают решение о вступлении в сексуальную связь с представителями своего пола); проституция (два взрослых человека добровольно заключают сделку о предоставлении услуг сексуального характера); развод (два взрослых человека принимают решение о расторжении брачного союза); случайные сексуальные связи

(промискуитет — стратегия сексуального поведения, основанная на множественных сексуальных контактах взрослых людей по их взаимному согласию); суицид и эвтаназия (уход человека из жизни по собственному желанию). В последнем случае остро проявляется противопоставление эссенциализма и экзистенциализма, поскольку с точки зрения последнего осуждение или препятствование решению человека уйти из жизни неприемлемо, так как жизнь является собственностью ее носителя и, соответственно, решение о ценности жизни — его прерогатива. В результате для изучения толерантности было отобрано 8 индикаторов (для всех 82 стран), представленных в Таблице 1.

Таблица 1

**Индикаторы толерантности к иным социальным группам
и нетрадиционным моделям поведения**

Индикатор	Способ оценки
Терпимость к представителям другой расы	доля респондентов, которые допускают представителей групп в качестве своих соседей
Терпимость к иммигрантам / иностранным рабочим	
Терпимость к гомосексуализму	средний балл по шкале от 1 до 10, где 1 — никогда нельзя оправдать (гомосексуализм, проституцию, суицид и т.д.), а 10 — всегда можно оправдать
Терпимость к проституции	
Терпимость к разводам	
Терпимость к промискуитету как модели сексуального поведения	
Терпимость к суициду как к способу уйти из жизни	
Терпимость к эвтаназии как способу уйти из жизни	

Был проведен корреляционный анализ, который показал наличие сильных взаимосвязей между индикаторами (Табл. 2): в большинстве случаев чувство нетерпимости к иному/другому оказывается слабо дифференцированным и распространяется на все объекты, которые характеризуются тем или иным отличием от принятого стандарта. Так, например, если демонстрируется нетерпимость к представителям другой расы, то скорее всего будет наблюдаться и негативное отношение к гомосексуализму или к эвтаназии. Вместе с тем две группы индикаторов наиболее тесно коррелируют друг с другом: индикаторы толерантности к происхождению (расовому или этническому) — терпимость к другой расе и к иностранным рабочим; индикаторы толерантности к моделям поведения — терпимость к гомосексуализму, проституции, разводам, промискуитету, эвтаназии и суициду. На основе указанных корреляций был проведен факторный анализ, который позволил превратить 8 индикаторов в 2 обобщенных показателя уровня толерантности.

Таблица 2

Коэффициенты парной линейной корреляции между индикаторами уровня

Индикаторы	Другие расы	Иностранцы рабочие	Гомо- сексуализм	Проституция	Разводы	Эвтаназия	Суицид
Терпимость к другой расе							
Терпимость к иностранным рабочим	0,82**						
Терпимость к гомосексуализму	0,539**	0,484**					
Терпимость к проституции	0,466**	0,399**	0,807**				
Терпимость к разводам	0,423**	0,33**	0,875**	0,721**			
Терпимость к эвтаназии	0,412**	0,277*	0,856**	0,732**	0,856**		
Терпимость к суициду	0,417**	0,302**	0,865**	0,84**	0,755**	0,848**	
Терпимость к промискуитету	0,459**	0,37**	0,872**	0,853**	0,859**	0,784**	0,796**

** корреляции статистически значимы на уровне $p < 0,05$

Факторный анализ был проведен методом главных компонент. Для определения числа факторов использовалась процедура, основанная на собственных значениях корреляционной матрицы, для оптимизации результатов — ортогональное вращение методом варимакс. Приемлемость факторного анализа проверялась по критерию адекватности выборки Кайзера—Мейера—Олкина и критерию сферичности Бартлетта. Полученная модель обладает высокими характеристиками качества: выделенные компоненты сохранили около 90 % дисперсии исходных признаков (Табл. 3); критерий адекватности выборки Кайзера—Мейера—Олкина — 0,844; критерий сферичности Бартлетта — 743; значимость на уровне $p < 0,001$.

Таблица 3

Объясненная дисперсия в результате извлечения главных компонент

Компонента	Собственные значения	Процент объясненной дисперсии	Накопленный процент
1	4,911	61,384	61,384
2	2,05	25,624	87,008

Как показывает Таблица 4, первая главная компонента тесно связана с шестью исходными признаками, отражающими терпимость к нетрадиционным моделям поведения (их коэффициенты корреляции с первой компонентой превышают 0,85, что свидетельствует об очень сильной связи). В свою очередь, оба индикатора, характеризующие уровень толерантности к людям иного происхождения, тесно коррелируют со второй главной компонентой (коэффициенты корреляции выше 0,9).

Таблица 4

Матрица компонентов — коэффициенты корреляции между исходными переменными и извлеченными компонентами (обобщенными показателями)

Исходные индикаторы	Новые обобщенные показатели	
	толерантность к моделям поведения	толерантность к происхождению
Терпимость к другой расе	значения <0,5 скрыты	0,906
Терпимость к иностранным рабочим		0,948
Терпимость к гомосексуализму	0,896	значения <0,5 скрыты
Терпимость к проституции	0,851	
Терпимость к разводам	0,897	
Терпимость к эвтаназии	0,913	
Терпимость к суициду	0,91	
Терпимость к промискуитету	0,901	

После извлечения главных компонент для каждой из 82 стран на основании стандартизированного по Z-оценке уравнения регрессии были рассчитаны значения новых переменных. Для удобства восприятия результатов значения новых переменных были перемасштабированы из Z-оценки в систему балльной оценки от 0 до 100, где 0 — страна с наименьшим уровнем толерантности, а 100 — страна с наибольшим уровнем толерантности. Стандартизация осуществлялась по формуле:

$$\frac{X_i - X_{\min}}{X_{\max} - X_{\min}},$$

где X_i — значение новой переменной для i -той страны; X_{\min} — минимальное значение новой переменной среди 82 стран; X_{\max} — максимальное значение новой переменной среди всех 82 стран.

Оказалось, что наиболее толерантная к нетрадиционным моделям поведения страна — Нидерланды (100 баллов из 100 возможных), самая нетолерантная в мире — Ливия (0 баллов), а в Европе — Албания (7,35 баллов) (Табл. 5).

Таблица 5

Значения индикаторов терпимости к нетрадиционным моделям поведения в самой толерантной и в самых нетолерантных странах

Индикаторы толерантности	Ливия (самая нетолерантная в мире)	Албания (самая нетолерантная в Европе)	Нидерланды (самая толерантная в Европе и мире)
к гомосексуализму	1,12	2,13	8,85
к проституции	1,13	1,65	5,61
к разводам	3,68	4,2	7,99
к эвтаназии	1,21	2,66	7,51
к суициду	1,15	1,19	5,27
к промискуитету	1,06	1,60	6,06

Примечательно, что в Европе наиболее толерантна к людям другого происхождения Албания (93 балла), а наименее толерантна Болгария (4). Вероятно, отношение к представителям других рас и иностранным рабочим в значительной мере определяется миграционной обстановкой в конкретной стране и ее позицией в миграционных потоках. Например, для Албании характерна масштабная эмиграция в другие страны Европы, а приезжающие сюда мигранты рассматривают страну скорее как транзитный пункт, поэтому для албанцев вполне закономерно чувство эмпатии к приезжим — как оказавшимся в схожей жизненной ситуации (Табл. 6).

Таблица 6

Значения индикаторов терпимости к людям иного происхождения в самой толерантной и самых нетолерантных странах

Индикаторы толерантности к иным моделям поведения	Макао* (самая нетолерантная в мире)	Болгария (самая нетолерантная в Европе)	Албания (самая толерантная в Европе)	Бразилия (самая толерантная в мире)
к другой расе	55,12	62,71	92,37	98,64
к иностранным рабочим	53,90	43,88	92,65	97,45

* Макао не является отдельным государством, но в составе Китая обладает особым административным статусом и рассматривается в рамках WVS как отдельный объект

Научный интерес представляет взаимосвязь показателей толерантности с координатами ценностного мира, предложенными Р. Инглхартом и К. Вельцелем. По их мнению, показатели индивидуализма и развития составляют латентную основу ценностных ориентаций и между собой не кор-

релируют (две самостоятельных оси в системе координат). Однако, согласно результатам корреляционного анализа, оба показателя (индивидуализм и самовыражение) практически в равной мере связаны с уровнем толерантности к моделям поведения (коэффициенты корреляции выше 0,7) (Табл. 7).

Таблица 7

Корреляции между координатами ценностного мира Р. Инглхарта и К. Вельцеля и показателями толерантности

Показатели		Координаты ценностного мира	
		Индивидуализм	Самовыражение
Показатели толерантности, предложенные в рамках исследования	Толерантность к моделям поведения	0,756**	0,721**
	Толерантность к происхождению	-0,113	0,451**

Это позволяет предположить, что координата «эссенциализм — экзистенциализм» может оказаться более общей и определяющей характеристикой ценностного сознания, чем «индивидуализм — самовыражение». Действительно, как только мы уходим от эссенциализма и признаем, что единой предзаданной сущности «человека вообще» не существует, значимость коллектива и традиции будет снижаться, уступая роль индивидуализму. Как заметил Э. Дюркгейм при изучении элементарных форм религиозной жизни, любой конкретный образ родовой сущности человека продуцируется коллективом и отражает его коллективный этос, а приобщение индивида к «родовой сущности» обеспечивает нравственное единство группы [5]. Таким образом, отказ от идеи «родовой сущности» проблематизирует для человека его принадлежность к коллективу, обеспечивая большую автономию. Согласно манифесту экзистенциализма Ж.-П. Сартра принятие положения, что существование предшествует сущности, ориентирует человека на проецирование себя в будущее (в отличие от ориентации на традицию, т.е. на прошлое) и подразумевает персональную ответственность за то, что он есть, поскольку человек сам выбирает «собственное бытие» (спрятаться за авторитет традиции и принять «родовую сущность» — тоже вариант выбора). Подобные установки не могут не способствовать распространению ценностных ориентаций «самовыражения».

Весьма распространенным объяснением возрастания автономии личности и влияния идей экзистенциализма и толерантности является рост экономического благосостояния, который влечет изменения ценностного сознания. Действительно, прослеживается сильная связь между уровнем толерантности к иным моделям поведения и уровнем экономического

благополучия страны. Для оценки последнего использовался показатель «ВВП на душу населения по паритету покупательной способности в тысячах долларов США» [14]. Коэффициент линейной корреляции между двумя показателями составил 0,78, а регрессионное уравнение показало, что рост ВВП на душу населения на 1 тысячу долларов США в среднем сопровождается ростом уровня толерантности к иным моделям поведения на 0,9 балла (Рис. 1). Однако высокая корреляционная связь не свидетельствует о наличии причинно-следственной связи — нельзя однозначно определить, что здесь является причиной, а что следствием. С одной стороны, вполне справедлива гипотеза, что рост благосостояния и индивидуального потребления приводит к изменению ценностных ориентаций в пользу индивидуализма, самовыражения и терпимости. С другой стороны, можно предположить, что рост терпимости к различиям и иному опыту может способствовать экономическому развитию. Примечательно, что понятие «инновация» было введено антропологами для описания способности сообществ заимствовать культурные новшества у других сообществ [20]. Вполне возможно, что восприимчивость к культурным инновациям обуславливает и ориентацию на инновации в экономике, что в конечном счете способствует экономическому росту.

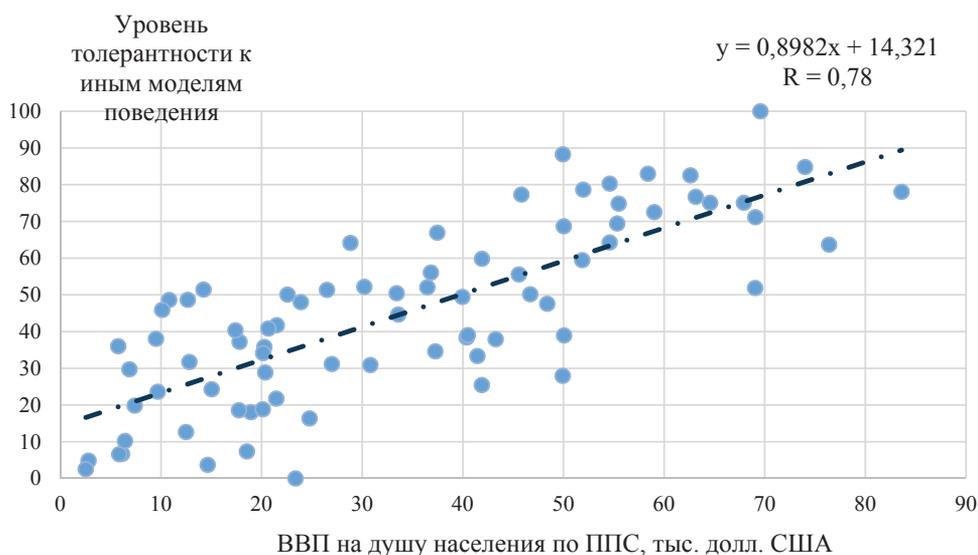


Рис. 1. Взаимосвязь между экономическим развитием и уровнем толерантности

Наиболее обоснованной интерпретацией связи между уровнем толерантности и уровнем экономического благополучия представляется «каузальная адекватность» в терминологии М. Вебера или «взаимность перспектив» в терминологии Ф. Броделя, который заимствовал концепт у Ж. Гурвича [3; 4].

Каузальная адекватность или взаимность перспектив обозначает, что некоторые тенденции могут развиваться параллельно, взаимно усиливая друг друга.

Помимо экономического фактора существенное влияние на уровень толерантности оказывает уровень доверия людей друг к другу в конкретном обществе. Для его оценки использовались данные EVS/WVS — респонденту предлагалось выбрать один вариант из двух: «большинству людей можно доверять» или «большинству людей нельзя доверять» (оценивалась доля ответивших, что большинству людей можно доверять). Была выявлена прямая зависимость — чем выше уровень социального доверия, тем выше толерантность к иным моделям поведения, и наоборот. Коэффициент линейной корреляции составил 0,74, регрессионное уравнение показало, что рост уровня доверия на 1% в среднем сопутствует росту уровня толерантности к иным моделям поведения на 0,96 балла (Рис. 2).

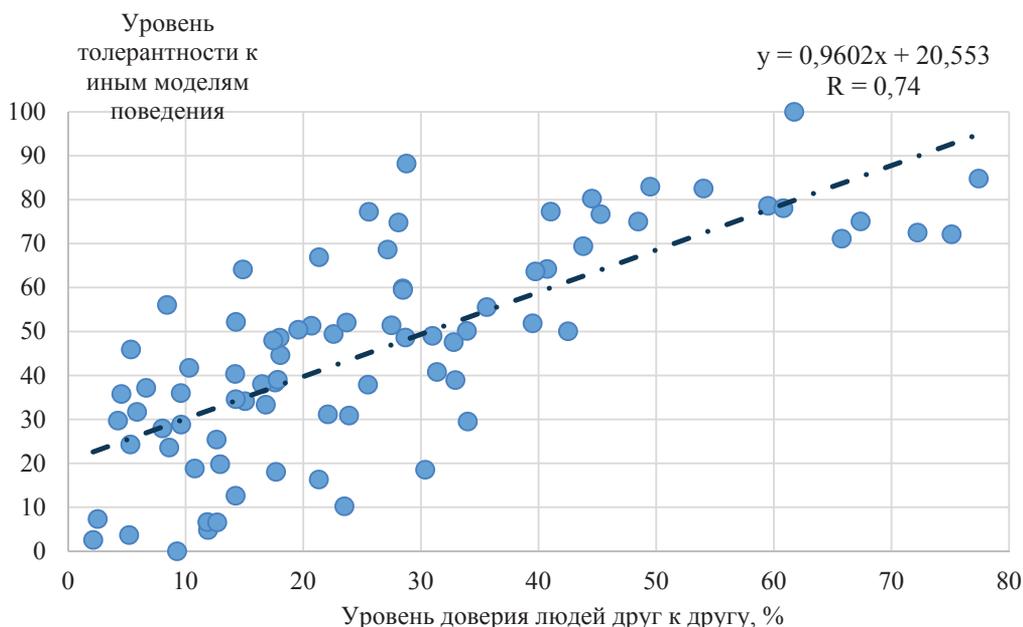


Рис. 2. Взаимосвязь между уровнем социального доверия и уровнем толерантности

Таким образом, наше предположение о наличии еще одного базового принципа ценностного мира, который во многом определяет позицию человека по широкому кругу этических вопросов современности и раскрывается через оппозицию «эссенциализм — экзистенциализм», подтверждается. Доминирование эссенциализма или экзистенциализма в обществе приводит к конкретным социальным и правовым последствиям. Используя термин «толерантность», можно эмпирически замерять уровень терпимости, оцени-

вая, на каком полюсе шкалы «эссенциализм — экзистенциализм» находится та или иная страна. Эмпирической базой здесь могут выступать межстрановые социологические исследования, а методологическим основанием анализа — подход к определению системы ценностных координат Инглхарта–Вельцеля.

Библиографический список

1. Белов А.А., Данилов А.Н., Ротман Д.Г. Белорусское общество: от ценностей выживания к ценностям развития и самовыражения // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2022. Т. 22. № 3.
2. Белов А.А., Данилов А.Н., Ротман Д.Г. Ценностный фактор неравномерности странового развития // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2023. Т. 23. № 2.
3. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. Т. 1. М., 2007.
4. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Избранные произведения. М., 1990.
5. Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни. Тотемическая система в Австралии. М., 2018.
6. Нарбут Н.П., Троцук И.В. Социальное самочувствие молодежи постсоциалистических стран (на примере России, Казахстана и Чехии): сравнительный анализ ценностных ориентаций (Часть 1) // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2018. Т. 18. № 1.
7. Нарбут Н.П., Троцук И.В. Социальное самочувствие молодежи постсоциалистических стран (на примере России, Казахстана и Чехии): сравнительный анализ страхов, надежд и опасений (Часть 2) // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2018. Т. 18. № 2.
8. Сартр Ж.-П. Экзистенциализм — это гуманизм // Сумерки богов / Сост. А.А. Яковлев. М., 1989.
9. Ценностный мир современного человека: Беларусь в проекте «Исследование европейских ценностей» / Под ред. Д.М. Булышко, А.Н. Данилова, Д.Г. Ротмана. Минск, 2009.
10. Ценностный мир современного человека: Беларусь и ее соседи в международных проектах по изучению ценностей / Под ред. Д.М. Булышко, А.Н. Данилова, Д.Г. Ротмана. Минск, 2013.
11. Ценностный мир современного человека: проект «Исследование европейских ценностей», волна-2018 / Под ред. Д.М. Булышко, Д.Г. Ротмана. Минск, 2019.
12. Ценностный мир современного человека: страны Восточного партнерства, Европейский союз и Россия в международных проектах по изучению ценностей / Под ред. Д.М. Булышко, А.Н. Данилова, В.В. Правдивца, Д.Г. Ротмана. Минск, 2016.
13. Declaration of Human and Civic Rights of 26 August 1789 // URL: <https://www.conseil-constitutionnel.fr/en/declaration-of-human-and-civic-rights-of-26-august-1789>.
14. GDP per capita // URL: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD>.
15. Inglehart R., Welzel C. Modernization, Cultural Change, and Democracy. The Human Development Sequence. New York, 2005.
16. Inglehart–Welzel Cultural Map // URL: .
17. Integrated Values Surveys 1981–2021 // URL: <https://www.gesis.org/en/services/finding-and-accessing-data/european-values-study/integrated-values-surveys-ivs-1981-2021>.
18. Narbut N.P., Trotsuk I.V. Comparative analysis as a basic research orientation: Key methodological problems // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2015. № 4.
19. Suvakovic U.V., Narbut N.P., Trotsuk I.V. The youth of Russia and Serbia: Social trust and key generational problems // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2016. Т. 16. № 4.
20. Ufer U., Hausstein A. Anthropology of and for innovation // Handbook on Alternative Theories of Innovation // URL: <https://www.elgaronline.com/edcollchap-0a/book/9781789902303/book-part-9781789902303-32.xml>.

Homo tolerant in the value system “essentialism — existentialism”*

A.A. Belov¹, A.N. Danilov², D.G. Rotman³

¹Scientific-technological park “EnCata”,
*Pekinsky Prosp., 18, Chinese-Belarusian Industrial Park “Great Stone”, Minsk Region, 222210,
Republic of Belarus*

²Belarusian State University,
Kalvarijskaya St., 9, Minsk, 220004, Republic of Belarus

³Centre for Sociological and Political Research of Belarusian State University,
Akademicheskaya St., 25, Minsk, 220072, Republic of Belarus

(e-mail: belov404.net@gmail.com; a.danilov@tut.by; dgrotman@rambler.ru)

Abstract. The article is based on the data of the comparative sociological study of the latest wave of the EVS and WVS (2017–2022) and considers values through the opposition “essentialism — existentialism”. The authors use the methodological approach to identifying a system of values, which was developed by R. Inglehart and K. Welzel. According to the level of tolerance, 82 countries were placed on the “essentialism — existentialism” scale: in most cases, intolerance to the other is poorly differentiated. Intolerance extends to all objects that differ from the accepted standard. The authors identify two groups of indicators of tolerance — to origin (racial or ethnic) and to behavior patterns — based on correlation and factor analysis. To identify the number of factors, the authors used the procedure based on the values of the correlation matrix, then the orthogonal rotation method (varimax). The resulting model has high quality characteristics and shows a strong connection between the level of tolerance to other behavior patterns and the level of economic well-being of the country. The level of social trust also affects the level of tolerance: the higher the level of social trust, the higher the tolerance to other behavior patterns, and, on the contrary, the higher the level of distrust (disunity), the higher the level of intolerance to differences, i.e., disunity, atomization and mistrust determine intolerance to others. People supporting the existentialist principle are more tolerant to differences in the worldview, lifestyle, behavior and customs. The dominance of essentialism or existentialism in society leads to specific legal consequences, for example, in the state migration, marriage-family and religious policies. Thus, the study of tolerance allows to locate the country on the “essentialism — existentialism” scale.

Key words: tolerant person; value system; essentialism — existentialism; correlation analysis; factor analysis; values

References

1. Belov A.A., Danilov A.N., Rotman D.G. Belorusskoe obshchestvo: ot tsennostey vyzhivaniya k tsennostyam razvitiya i samovyrazheniya [Belarusian society: From the values of survival to the values of development and self-expression]. *RUDN Journal of Sociology*. 2022; 22 (3). (In Russ.).

*© A.A. Belov, A.N. Danilov, D.G. Rotman, 2023

The article was submitted on 21.02.2023. The article was accepted on 15.05.2023.

2. Belov A.A., Danilov A.N., Rotman D.G. Tsennostny faktor neravnomernosti stranovogo razvitiya [The value factor of countries development disparity]. *RUDN Journal of Sociology*. 2023; 23 (2). (In Russ.).
3. Braudel F. *Materialnaya tsivilizatsiya, ekonomika i kapitalizm, XV-XVIII vv.* T. 1 [Civilization and Capitalism, 15th — 18th Centuries. Vol. 1]. Moscow; 2007. (In Russ.).
4. Weber M. *Protestantskaya etika i duh kapitalizma* [The protestant ethic and the spirit of capitalism]. *Izbrannye proizvedeniya*. Moscow; 1990. (In Russ.).
5. Durkheim E. *Elementarnye formy religioznoy zhizni. Totemicheskaya sistema v Avstralii* [The Elementary Forms of Religious Life]. Moscow; 2018. (In Russ.).
6. Narbut N.P., Trotsuk I.V. Sotsialnoe samochuvstvie molodezhi postsotsialisticheskikh stran (na primere Rossii, Kazakhstana i Chekhii): sravnitelny analiz tsennostnykh orientatsiy (Chast 1) [The social well-being of the post-socialist countries' youth (on the example of Russia, Kazakhstan and Czech Republic): Comparative analysis of value orientations (Part 1)]. *RUDN Journal of Sociology*. 2018; 18 (1). (In Russ.).
7. Narbut N.P., Trotsuk I.V. Sotsialnoe samochuvstvie molodezhi postsotsialisticheskikh stran (na primere Rossii, Kazakhstana i Chekhii): sravnitelny analiz strakhov, nadezhd i opaseniy (Chast 2) [The social well-being of the post-socialist countries' youth (on the example of Russia, Kazakhstan and Czech Republic): Comparative analysis of fears and hopes (Part 2)]. *RUDN Journal of Sociology*. 2018; 18 (2). (In Russ.).
8. Sartre J.-P. *Ekzistentsializm — eto gumanizm* [Existentialism is a humanism]. *Sumerki bogov*. Moscow; 1989. (In Russ.)
9. *Tsennostny mir sovremennogo cheloveka: Belarus v proekte "Issledovanie evropejskikh tsennostej"* [Value World of the Contemporary Man: Belarus in the European Values Study]. Ed. by D.M. Bulynko, A.N. Danilov, D.G. Rotman. Minsk; 2009. (In Russ.).
10. *Tsennostny mir sovremennogo cheloveka: Belarus i ee sosedi v mezhdunarodnykh proektakh po izucheniyu tsennostej* [Value World of the Contemporary Man: Belarus and its Neighbors in the International Value Studies]. Ed. by D.M. Bulynko, A.N. Danilov, D.G. Rotman. Minsk; 2013. (In Russ.).
11. *Tsennostny mir sovremennogo cheloveka: strany Vostochnogo partnerstva, Evropejsky sojuz i Rossiya v mezhdunarodnykh proektakh po izucheniyu tsennostej* [Value World of the Contemporary Man: Eastern Partnership, European Union and Russia in the International Value Studies]. Ed. by D.M. Bulynko, A.N. Danilov, V.V. Pravdivets, D.G. Rotman. Minsk; 2016. (In Russ.).
12. *Tsennostny mir sovremennogo cheloveka: proekt "Issledovanie evropejskikh tsennostej", volna 2018* [Value World of the Contemporary Man: European Values Study, Wave 2018]. Ed. by D.M. Bulynko, D.G. Rotman. Minsk; 2019. (In Russ.).
13. Declaration of Human and Civic Rights of 26 August 1789. URL: <https://www.conseil-constitutionnel.fr/en/declaration-of-human-and-civic-rights-of-26-august-1789>.
14. GDP per capita. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD>.
15. Inglehart R., Welzel C. *Modernization, Cultural Change, and Democracy. The Human Development Sequence*. New York; 2005.
16. Inglehart–Welzel Cultural Map. URL: <https://www.worldvaluessurvey.org/WVSCcontents.jsp>.
17. Integrated Values Surveys 1981–2021. URL: <https://www.gesis.org/en/services/finding-and-accessing-data/european-values-study/integrated-values-surveys-ivs-1981-2021>.
18. Narbut N.P., Trotsuk I.V. Comparative analysis as a basic research orientation: Key methodological problems. *RUDN Journal of Sociology*. 2015; 4.
19. Suvakovic U.V., Narbut N.P., Trotsuk I.V. The youth of Russia and Serbia: Social trust and key generational problems. *RUDN Journal of Sociology*. 2016; 16 (4).
20. Ufer U., Hausstein A. Anthropology of and for innovation. URL: <https://www.elgaronline.com/edcollchap-oa/book/9781789902303/book-part-9781789902303-32.xml>.



DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-4-754-769

EDN: FKIWIZ

Цивилизационная идентичность населения в современной России: поиск исследовательских инструментов*

Л.А. Беляева

Институт философии РАН,
ул. Гончарная, 12, стр. 1, Москва, 109240, Россия

(e-mail: bela46@mail.ru)

Аннотация. Несостоявшееся догоняющее развитие России, предполагавшее вступление в ряды развитых модернизированных стран, вновь поставило вопрос о том, насколько цивилизационная принадлежность определяет развитие по западному образцу или следование собственной модели с опорой на ценности коллективизма и сильной власти. В условиях противостояния двух путей развития особую важность обретает проблема идентичности (поле политических устремлений элит и масс), актуальная для большинства постсоветских стран, где наблюдается сложное взаимодействие интересов и идентичностей групп в ситуации развертывания индивидуалистических, рыночных, преимущественно рациональных (в основном материально трактуемых) смыслов жизнедеятельности. Для России это взаимодействие обрело характер вызова: продолжать развитие по западному образцу или найти свой путь, означающий возврат к традиционным ценностям и коллективистской идеологии и отказ от либеральной идеологии. В статье рассмотрены особенности цивилизационной идентичности населения России, а также возможности их изучения на основе эмпирического материала. Отмечен цивилизационно гетерогенный характер российского общества, в котором население глубоко дифференцировано по большинству экономических, социальных и культурных характеристик, что разделяет общество на носителей специфических образов жизни и систем ценностей. Российская цивилизация — гетерогенное образование, до конца не сложившееся и находящееся в состоянии процессуальности, и многосубъектное образование, объединенное единым государством с сохранением культурного, национального, религиозного и языкового разнообразия. Эмпирическую базу статьи составили результаты проведенного в 2023 году репрезентативного общероссийского социологического опроса и региональных опросов во фронтальных регионах — в СЗФО, ЮФО и СКФО. Эти данные помогают определить цивилизационный вектор развития страны, демонстрируя комплементарность представлений элиты и остального общества, возрастных и поселенческих когорт, жителей центральных и фронтальных, мононациональных и полиэтнических регионов.

Ключевые слова: российское общество; гетерогенная цивилизация; ценности; идентичность; патриотизм; эмпирическое исследование

*© Беляева Л.А., 2023

Статья поступила 21.03.2023 г. Статья принята к публикации 15.06.2023 г.

Государственная позиция в оценке цивилизационной принадлежности страны была сформулирована в Концепции внешней политики Российской Федерации, утвержденной Указом Президента 31 марта 2023 года. В ней утверждается, что более чем тысячелетний опыт самостоятельной государственности, культурное наследие предшествовавшей эпохи, глубокие исторические связи с традиционной европейской культурой и другими культурами Евразии, выработанное за века умение обеспечивать на общей территории гармоничное сосуществование разных народов, этнических, религиозных и языковых групп определяют особое положение России как самобытного государства-цивилизации (1). Признание самобытной цивилизационной принадлежности, объединяющей культурное, национальное, религиозное, языковое разнообразие, позволяет говорить о цивилизационной гетерогенности страны.

Важный вопрос, заставляющий обратиться к проблеме идентичности, — влияние цивилизационных особенностей страны на ее модернизационное развитие: насколько органично включены в общество «носители человеческого капитала», которые могут стать «мотором» преобразований и преодолеть инерцию и рутину за счет внутренней мотивации, складывающейся на основе цивилизационной идентичности. В этой связи актуализируется изучение общественного сознания современной России с точки зрения его цивилизационной идентичности — интегральной характеристики сознания личности, групп и общества. Для развития страны важно, как человек оценивает значимые характеристики общества, в котором живет, и его экономику, как относится к власти и ее эффективности, насколько готов и умеет вписаться в существующий порядок и действовать по своим убеждениям в соответствии с общепринятыми правилами. При этом нужно учитывать, что российское население глубоко дифференцировано по большинству экономических, социальных и культурных характеристик, в чем также отражается цивилизационно гетерогенный характер общества. Все эти вопросы имеют отношение к тем формулировкам «российского кода», который основан на своеобразных ценностях: свобода понимается не как демократия, а как воля; справедливость не как власть закона, а как экзистенциально-моральное сочетание совести и правды [7]. Сюда же относят и такую характеристику населения России, как склонность к патернализму и коллективизму, неумение самостоятельно обустроить свою жизнь, надежда на государство и руководителей, обеспечивающих стабильность и порядок. Но насколько эти определения цивилизационного кода справедливы для современной России? Соответствуют ли им образцы поведения и установки большинства людей? В каких группах больше распространены традиционные и современные ценности?

Российские исследователи о цивилизационной специфике России

Наиболее острая тема в современном обществоведческом дискурсе — цивилизационные особенности России, ее принадлежность Западу или Востоку. Российские авторы лишь в последние десятилетия обратились к этой теме, ранее предпочитая преимущественно формационный подход. Цивилизационный подход меняет оптику изучения общества, рассматривая его изменения как непрерывный процесс, в отличие от прерывистого исторического процесса в оптике формационного подхода. Рассмотрим характеристики России с цивилизационной точки зрения (2).

Цивилизация — многосложное понятие без однозначного определения. Фундаментальной можно считать дефиницию В.С. Степина [16. С. 40–41], выделившего три смысла данного понятия: во-первых, выделение человека из животного мира и его восхождение по ступеням социального развития (цивилизационные достижения — технико-технологические инновации и способы регуляции социальных связей и отношений). Во-вторых, переход от первобытного состояния к первым сельским и городским цивилизациям древности. В основе этой трактовки лежит целостное системное видение общества с особенностями его культуры, базисных ценностей, социальных отношений и институтов, способа взаимодействия с природой и образа жизни, которые воспроизводятся в процессе существования цивилизации. В-третьих, технологические и технические изобретения, соответственно культура — фундаментальные ценности и состояния духовного мира, и тогда в центр исследований выдвигаются проблемы ценностей, идентификационные практики и культурно-исторические типы конкретного общества. Понимание цивилизации во втором и частично в третьем смыслах позволяет рассматривать ее как некоторый целостный социальный организм с определенным типом культуры, что открывает возможности для социологической интерпретации цивилизационной гетерогенности российского общества как совокупности культур и их носителей — социальных и этнических групп. Операционализация составляющих цивилизации возможна через анализ ценностных ориентаций, идентификаций, стереотипов массового сознания, социальных отношений и практик.

Многим исследователям близка позиция В.М. Межуева, согласно которой Россия еще не сложилась как особая цивилизация и находится в поиске своей цивилизационной идентичности и места в мировой истории. О незаконченности поиска свидетельствует длящийся уже несколько столетий спор о том, чем является Россия — частью Запада или чем-то отличным от него [16. С. 342]. С этой точки зрения можно говорить о гетерогенном цивилизационном характере, который Россия унаследовала от предшествующих эпох — когда объединялись в единое государство народы, находящиеся на разных ступенях исторического развития и принадлежащих к разным этническим и религиозным ареалам. Цивилизационная гетерогенность не была преодолена

в советский период, хотя были пройдены отдельные этапы модернизации и становления единой советской цивилизации, но на некоторых этапах цивилизационные различия даже усиливались, вплоть до возникновения архаики как оборотной стороны цивилизации. По отношению к России до сих пор не осмыслен несомненный факт многорелигиозности, многонациональности и многокультурности, что делает страну с цивилизационной точки зрения многосубъектной [11] и гетерогенной за счет сложного национального состава, религиозного многообразия, культурных и ценностных различий, разных уровней экономического развития, а также сложного взаимовлияния ценностей традиционного и современного обществ.

В российском обществоведении сложились разные методологические подходы к изучению цивилизационной специфики страны. Так, выделяют следующие типологии цивилизаций: традиционные — техногенные; восточные — западные; традиционные — либеральные и др. Особая точка была высказана В.Л. Цымбурским: существуют непреодолимые геополитические разломы, отделяющие Россию и от Европы, и от Востока, превращающие ее в цивилизационный остров [16. С. 468–496]. Далее рассмотрим концепции других российских авторов.

В.С. Степин отмечал, что традиционные общества характеризуются замедленными темпами социальных изменений. Конечно, в них также возникают инновации в сфере производства и регуляции социальных отношений, но прогресс идет очень медленно в сопоставлении со сроками жизни индивидов и даже поколений. Соответственно, в культуре этих обществ приоритет отдается традициям, образцам и нормам, аккумулирующим опыт предков, и канонизированным стилям мышления. Главная черта техногенных цивилизаций — возникновение новой системы ценностей, и основной ценностью провозглашается инновация, оригинальность. Техногенная цивилизация существует чуть более трехсот лет, но оказалась динамичной, подвижной и агрессивной: она подавляет, подчиняет себе, буквально поглощает традиционные общества и их культуры. Такое активное взаимодействие техногенной цивилизации и традиционных обществ, как правило, приводит к гибели последних, к уничтожению многих культурных традиций, по сути, самих культур как самобытных целостностей. В техногенной цивилизации научно-технологический прогресс и экономический рост привели к новому качеству жизни, обеспечили возрастающий уровень потребления и медицинского обслуживания, увеличили среднюю продолжительность жизни. Большинство людей связывало с прогрессом этой цивилизации надежды на лучшее будущее, но мало кто полагал, что техногенная цивилизация приведет человечество к глобальным кризисам — когда оно окажется буквально на пороге самоуничтожения [16. С. 52].

А.С. Панарин разводит восточные и западные цивилизации/культуры на основе их фундаментальных ориентаций: запада — на искусственный,

технологически воспроизводимый мир, востока — на естественный космически планетарный мир. Атлантизм и евразийство он считает двумя сценариями цивилизационного развития России, возникшими в конце XX века в ответ на встречное движение культур Востока и Запада и пересмотр их социокультурного и стратегического статуса. Панарин предугадал сегодняшние геополитические вызовы, рассматривая их в контексте процессов модернизации и глобализации и наметившегося смещения цивилизационного центра с Запада на Восток. Эти процессы он считал новым «историческим шансом» для цивилизационного развития России и одновременно возможной угрозой ее существованию, если не будет реализован консервативный поворот — сдвиг на Восток, переориентация с атлантической модели на тихоокеанскую, на активный диалог с дальневосточными соседями [3. С. 41]: «пространство Российской Федерации не является гомогенным ни в этническом, ни в цивилизационном отношении: оно скреплено тем же сплавом, что скреплял пространство всей империи» [16. С. 432].

А.С. Ахиезер выделил два типа суперцивилизаций — традиционную (простое воспроизводство и ценность неизменности человеческих отношений) и либеральную (ценности развития и прогресса), причем каждая может перейти в деструктивное состояние, за которым следует кризис и катастрофа. Движение России между двумя основными цивилизациями приобрело конфликтный характер, ярко выразившийся в социокультурном расколе между элитой и низами, обществом и государством, даже внутри сознания отдельного человека и т.д. Раскол — патологическое состояние общества, характеризующееся противоречием между культурой и социальными отношениями, между разными субкультурами. Раскол возникает, когда общество оказывается не в силах преодолеть противоречие между культурой и социальными отношениями и пытается к этому противоречию адаптироваться, зачастую безуспешно. «Россия в своем историческом развитии вышла за рамки традиционной цивилизации, встала на путь массового, хотя и примитивного утилитаризма. Но, тем не менее, не сумела перейти за границу либеральной цивилизации... Россия занимает промежуточное положение между двумя цивилизациями, что позволяет высказать идею о существовании особой промежуточной цивилизации, сочетающей элементы социальных отношений и культуры обеих цивилизаций» [15. С. 388]. Еще тридцать лет назад Ахиезер предположил три варианта цивилизационного развития российского общества: возврат к традиционной цивилизации; переход к либеральной суперцивилизации; пребывание в рамках промежуточной цивилизации, причем не исключена и последовательность этих вариантов, например, нахождение в промежуточном состоянии, а затем переход к той или иной суперцивилизации [16. С. 419].

В.М. Межуев считал, что существует всемирная цивилизация, объединяющая все локальные цивилизации, в том числе российскую, которую

«трудно представить и как совершенно особую, окончательно сложившуюся, во всем отличную от Запада цивилизацию, хотя подобные попытки и предпринимались... Столкновение двух основных русских тем — самобытности и отсталости — говорит о том, что вопрос о цивилизационной идентичности России остается открытым, не имеет однозначного решения. Вопреки мнению о том, что Россия уже сложилась как особая цивилизация, напрашивается другой вывод: она и сегодня находится в поиске своей цивилизационной идентичности, своего места в мировой истории. Существование России в качестве особой цивилизации можно поставить под сомнение, если понимать под цивилизацией не просто культуру, а определенное общественно-экономическое и политическое состояние... Только сознавая свою причастность к общечеловеческой судьбе, к судьбе цивилизации, способной стать универсальной, Россия может сохранить себя в качестве самостоятельного субъекта истории» [16. С. 350].

Существует мнение, что Россия, как и Латинская Америка, относится к пограничному типу цивилизаций, в котором многообразие преобладает над единством цивилизации классического западного типа. Имеется в виду отсутствие цельной, относительно монолитной духовной основы — религиозно-цивилизационный фундамент состоит из нескольких качественно различных частей, связь между которыми крайне слаба, а потому вся цивилизационная конструкция неустойчива [17. С. 154–180].

Большинство упомянутых выше философов считают спорным отнесение России к определенному типу цивилизации, подчеркивая незавершенность перехода от традиционности к современности или цивилизационно промежуточное состояние общества, не определившегося с дальнейшим путем развития. Современный поворот в цивилизационном развитии России говорит о предпочтении традиционного пути, но необходимо учитывать достигнутый уровень модернизации и цивилизационную неоднородность общества, что отражается в различиях ценностных ориентаций и поведенческих паттернов разных групп населения (прежде всего поколенческих и образовательных, элитных и массовых). Согласно Н.И. Лапину, следует говорить скорее о российском цивилизационном процессе, чем о состоявшейся цивилизации, и этот незавершенный процесс — северо-евразийский, изначально по-русски (затем всероссийски) всесубъектно собирающий, но в то же время пограничный, поэтому необходимо преодолевать разрыв между «западным цивилизационным сознанием целеполагающих “верхов” и исходными смыслами ядра культуры его исполнительских “низов”» [16. С. 529].

Сегодня приходится констатировать недостаточно убедительную попытку элитных слоев переключить общественное внимание с прозападных ценностей на ценности сугубо внутренние, самобытно-русские, в контексте нынешних отношений с Западом. Однако попытки оказать управленческое воздействие на идентичность наталкиваются на социальный опыт населе-

ния, особенно молодых и средних когорт, у которых в ходе социализации не сформировались устойчивые традиционные основания идентичностей — многие были включены как активные акторы в развитие рыночных механизмов и сформировали индивидуалистическую ориентацию взаимодействия с обществом.

Внутренне сложный и неоднократно прерывающийся процесс цивилизационного развития породил цивилизационную неоднородность российского общества, сочетающего современность и традиционализм, высокую культуру с потребительством и традиционализмом. Россия — «особый, исторически сложившийся конгломерат народов, относящихся ко всем существующим типам цивилизаций, объединенных мощным централизованным государством. Россия не имеет социокультурного единства, целостности. Дореволюционная страна на протяжении столетий сохраняла и приумножала социокультурный и духовный плюрализм. Сущность России пытались изменить в советское время, но безуспешно. Неоднородным в цивилизационном отношении обществом остается Россия и сейчас» [10. С. 38].

Цивилизационная гетерогенность в общественном сознании

В общественном сознании как многоуровневом явлении (теоретическое и обыденное, индивидуальное, групповое, массовое и общественное, религиозное, этическое, национальное и др.) пока не отрефлексирован такой вид, как цивилизационное сознание и соответствующая ему идентичность. Они относятся к гораздо более абстрактным и рационализированным понятиям, менее «эмоционально нагружены», чем, например, этническая идентичность, основанная на привязанности к «земле и почве» и обладающая огромной витальной, «биологической» силой (то, что Б. Андерсон по отношению к нациям называл «воображаемыми сообществами» [1]).

Длительное время цивилизационное сознание не рассматривалось как специфический вид сознания и как и соответствующая ему идентичность, отождествлялось с этнической, конфессиональной, национально-государственной идентичностью. Интерес к этому виду сознания стал возрастать в последнее время с акцентом на вопросы цивилизационной идентичности общества, локальных общностей и индивидов. Она представляет собой синтетическую категорию для множества видов идентичностей — социальных, культурных, национальных, религиозных и территориальных. В общественном и индивидуальном сознании цивилизационная идентичность присутствует имплицитно. Общественное сознание, представленное наукой и идеологией, отражающей интересы государства, элит и социальных групп, имеет и другой уровень — индивидуальный, который отражает субъективную реальность индивидов. Эти два уровня не изолированы, а взаимопроникаемы. В индивидуальное сознание проникает общественное сознание, сформированное элитными группами и интеллектуалами и распространяемое

средствами массовой информации. В общественном сознании, как правило, сконцентрирован исторический опыт народа, его обычаи и навыки общения, а также элементы регламентации, регулирования, отвечающие злободневным интересам «верхних» слоев или других групп. Общественное сознание формирует ценностно-смысловой каркас индивидуального сознания, которое, в свою очередь, как специфическое сознание социальных групп, наций, религиозных и общественных деятелей, отдельных личностей оказывает воздействие на ценностное сознание общества, его настроение и такие формы, как философия, наука, религия, политика, право, нравственность и культура. Эти сферы общественного сознания участвуют в формировании цивилизационного сознания как результирующего конструкта высокой степени абстракции, но содержательно наполненного. Важнейшая составляющая цивилизационного сознания — цивилизационная идентичность — до сих пор не рассматривается как совокупность атрибутивных качеств, раскрытых в операционализованных понятиях. Она имеет такой же многозначный статус, как цивилизационный код, в котором некоторые исследователи видят базисную структуру идентичности и культуры [4].

Для России с ее многообразием этносов, языков и религий стал необычайно актуальным поиск своей цивилизационной идентичности как средства гармонизации общественного и индивидуального сознания. Цивилизационная идентичность может способствовать консолидации общества — когда основная часть населения имеет близкие констелляции в системе ценностных ориентаций и поведенческих паттернов, в единой системе смыслов ядра культуры. Сейчас же в стране распространены разные нормативно-ценностные системы, что позволяет говорить о цивилизационной гетерогенности России.

Свою роль в многосубъектности и цивилизационном разнообразии страны играет разный уровень модернизационного развития регионов, определяющий разнообразие их социальной структуризации (по характеру и содержанию труда, обусловленным уровнем технико-технологического развития) и материальной дифференциации населения (качество жизни) в условиях исторически неравномерного развития регионов. Это материальная основа для цивилизационной гетерогенности: исторически центр был более восприимчив к западным новациям, а периферийные, фронтальные районы сохраняли специфические черты своеобразной и уникальной российской цивилизации.

Другая сторона цивилизационного многообразия — наличие национальных культур и конфессиональных общин, формирующих ценностные системы, привычки, образ жизни и смыслы жизнедеятельности, в итоге — цивилизационную идентичность населения, включенного в соответствующие ареалы. В России русский язык и русская культура выступают «скрепой» объединительных процессов цивилизационного развития, при неразрывной, органической связи этнорелигиозных и культурных общностей с единым ци-

визационным ядром страны, сочетающим западные и восточные компоненты. Цивилизационная связь, причастность к единой общности зиждется на чувстве сопричастности к единому историческому прошлому, воплощает то общее и те преимущества, которые будут раскрываться в настоящем и будущем. Вместе с тем цивилизационная идентичность подвергается деформации при внешнем влиянии и в результате внутренних процессов, что произошло в период распада Советского Союза и после открытия границ для массового посещения зарубежных стран российскими гражданами. Это был период сравнений и принятия некоторыми слоями общества западной цивилизационной идентичности. «Вследствие таких сравнений чувство идентичности может либо укрепляться, либо разрушаться в том случае, если какие-либо черты “своего” перестают отвечать устоявшимся представлениям, базирующимся на прошлом опыте... Может произойти переосмысление “своей” идентичности, ее видоизменение или поиск и замена на новую, “более сильную”» [6. С. 51].

Сейчас в России, как и в других странах, наблюдаются интенсивные миграционные процессы. Под воздействием миграции представителей фронта в крупные и средние города нарастает эффект цивилизационной гетерогенности даже в тех локациях, что ранее относились преимущественно к единой цивилизационной общности. Изменчивость, подвижность идентичностей особенно ярко проявляется в периоды социальных сдвигов и катастроф, при изменениях образа жизни больших групп под влиянием разных обстоятельств. Как писала Л.М. Дробижева, в ситуации неопределенности у людей, как правило, усиливается потребность в идентификации с чем-то близким, привычным — на фоне национальных движений и постконфликтных трудностей это этническая, региональная и локальная идентичности [5. С. 37–50]. Вместе с тем все еще слабо изучено влияние постсоветских экономических процессов и распространения консьюмеризма на социально-экономическую идентификацию населения и на изменение цивилизационной идентичности. Рост материального благополучия, частная собственность, формирование либеральных ценностных систем и «достижительных» ориентаций стали факторами распространения западной цивилизационной идентичности, особенно по мере разрушения прежних социальных институтов и формирования новых (например, форм собственности) [3].

В постсоветский период российское население отчетливо продемонстрировало следующие качества идентичности как процесса: непрерывность, текучесть, нелинейность, отложенность во времени и неустойчивость. Динамика общественного сознания тесно увязана с общественными переменами — как с угрозами и конфликтами, так и с позитивно оцениваемыми событиями в жизни страны и собственной жизни. Согласно Ю. Хабермасу «общество теряет свою идентичность, как только новое поколение перестает узнавать себя в некогда конститутивной культурной традиции» [14. С. 12].

Современные молодые поколения россиян ярко демонстрируют это «неузнавание» вследствие глобализации цифрового пространства и влияния западных культурных образцов. В период слома идентичности индивид вынужден самостоятельно выбирать ее модель, и важно правильно оценить свои возможности обрести новую идентичность в изменившихся общественных обстоятельствах, т.е. адаптируясь к новому миру и своему месту в нем. Сегодня оформился новый взгляд на идентичность — как на процесс, свойственный не только индивиду, но и группе, сообществу и обществу в целом. Российская идентичность во всех этих случаях может быть охарактеризована как неустойчивая, находящаяся в процессе непрерывного изменения. Об этом свидетельствует и сдвиг исследовательского интереса от структурных составляющих идентичности к ее процессуальным характеристикам: в центре внимания оказывается «текущая» идентичность «текущей» современности, лишенная структурной определенности и завершенности [2. С. 8]. Назрела необходимость в процессуальной теории идентичности, в которой нелинейный характер идентичности будет отображен на континууме, полюсами которого выступают состояние, близкое к разрушению имеющейся идентичности, и обретение новой идентичности. «Человек, сообщество, группа, страна находятся в своего рода процессе жизненного путешествия по континууму идентичности, на одном конце которого находятся стабильные идентичности, а на другом — меняющиеся, крайне неустойчивые. Выбор осуществляется не одномоментно, а в течение всей жизни человека, сообщества, группы, страны» [13. С. 78–79].

Применительно к цивилизационной идентичности уместно говорить о накопительном характере изменений, которые постепенно приводят к становлению новой идентичности, но в разном темпе для разных групп. Тридцатилетие постсоветского развития по либеральному сценарию не стало исключением — в обществе были накоплены элементы западной цивилизации, но новая идентичность не стабильна, а подвержена воздействию внешних и внутренних факторов, в том числе общественных катастроф.

Цивилизационное сознание как предмет эмпирического исследования

Широкая палитра мнений о цивилизационной принадлежности России наталкивает на мысль рассмотреть цивилизационную гетерогенность страны под другим углом зрения — применив социологические методы. Такой анализ пока не стал мейнстримом цивилизационного дискурса, хотя такая многоконфессиональная, многонациональная, многоэтническая и многорегиональная страна неизбежно порождает вопрос о том, что же объединяющее присутствует в сознании индивидов и общностей (не только в период внешних угроз, но и в обычное, неэкстремальное время). Этот вопрос пока не получил удовлетворительного ответа в отечественном обществоведении,

поскольку проблема атрибутивных признаков цивилизационного сознания и идентичности до сих пор должным образом не проработана в теории цивилизаций [15]. Для социологического изучения цивилизационной гетерогенности («полицивилизованности») первостепенное значение имеет операционализация основных понятий, их отображение в измеряемых признаках, и на этой основе изучение цивилизационной идентичности и сознания в разных регионах страны. Как один из вариантов определения цивилизационной идентичности может выступать группа взаимодействующих идентичностей (конфессиональная, этническая, национальная, региональная, гражданская, государственная), но и такой подход недостаточно разработан в социологических трудах, тем более на представительном эмпирическом материале.

С окончанием советского периода, завершившегося распадом государства, в России начались интенсивные процессы изменения идентификаций. В сознании населения опросными методами было зафиксировано динамичное разрушение идентичностей в профессиональной, социальной, этнической, религиозной, политической, гражданской, государственной и других сферах. Самым сильным ударом для большинства, по мере прояснения ситуации, была утрата многонационального государства, которое ассоциировалось с прогрессивным, сильным обществом, обеспечивающим стабильность и социальную защиту, объединяющим все населяющие страну этносы, имеющим авторитет на международной арене. Такое катастрофическое событие оказало решающее воздействие на гражданскую и государственную идентичность значительной части населения. Сегодня, наряду с позитивной идентификацией с государством и страной у большинства населения при внешних угрозах, у части населения наблюдается негативная повседневная идентификация с государством, что провоцирует социальное напряжение. Свою роль сыграло открытие границ для деловых поездок за рубеж и массовый туризм — многие смогли сравнить свой уровень жизни с зарубежными странами, что создало условия для распространения психологии консьюмеризма и стало толчком для критического отношения к своей стране. Два эти фактора — внутренний и внешний — серьезно повлияли на идентификационные настроения, а затем и на идентификационные практики россиян, спровоцировав выход за устоявшиеся цивилизационные рамки и попытки вступить в иной цивилизационный контекст (западный и восточный).

В качестве «фреймов» новой цивилизационной идентичности сегодня рассматриваются модернизация, современность и глобализация, с чем нельзя не согласиться, но необходимо отметить и смену политического курса — попытку перевести страну на рельсы либеральной экономики, что изменило идентичность миллионов людей, в том числе цивилизационную. В современный период, как и в другие переломные эпохи русской истории, резкие изменения индивидуальной и групповой идентичности связаны с социетальными кризисами, рушащими жизненные миры людей и сложившуюся идентич-

ность. В этих условиях может меняться и направленность идентичности — с позитивной на негативную, с функциональной на дисфункциональную, и наоборот.

Все более актуальным становится поиск общего основания для интеграции цивилизационных элементов общества. Задача — не их унификация, что невозможно при наличии национальных, этнических, культурных и территориальных особенностей, а укрепление в общественном сознании идеи единства поверх различий. Эта идея может получить распространение при сглаживании остро несправедливых дифференциаций, например, чрезмерного экономического неравенства, региональных диспропорций в уровне и качестве жизни и т.д. — иначе создание объединяющей цивилизационной идеи, способной консолидировать общество, невозможно. Стимулом для объединения может стать внешняя угроза, что не раз происходило в истории России, но сегодня длительность и эффективность воздействия этого стимула подвергается сомнению.

Актуальной темой дискуссий о цивилизационной идентичности стали вопросы патриотизма, который в идеале предполагает чувство уважения к истории, культуре, символам страны, обеспечивает их преемственность и формирование идентичности молодого поколения. Иногда различают критический и некритический патриотизм, отмечая между ними довольно напряженные отношения и ратуя за рациональное восприятие общественной реальности и приобщение подрастающего поколения к критическому мышлению, толерантности, ответственности и умению различать мнимое и подлинное [12. С. 65–76]. Такой подход важен и в контексте проводимой страной политики сотрудничества/соперничества цивилизаций. Так, если ранее — в 2014 году — оценки молодежи практически не отличались от общества в целом, то в 2022 году молодежь уже заметно выделялась на фоне остальных групп своей критичностью [9. С. 146].

Возможности эмпирического изучения цивилизационной идентичности прослеживаются в двух направлениях: во-первых, оценки разных сторон жизни общества, которые могут характеризовать цивилизационные особенности страны; во-вторых, характеристика собственных предпочтений и поведенческих паттернов, свидетельствующих о традиционных или современных ориентациях в обыденной жизни. Такое разделение было заложено в методике всероссийского мониторинга, реализованного в мае–июне 2023 года Центром изучения социокультурных изменений Института философии РАН (3). Первое направление представлено оценками цивилизационной специфики страны в сопоставлении с другими странами. Они позволяют оценить предпочтения респондентов относительно развития России — по особому самобытному пути, по западному пути, следуя пути развитых мусульманских стран, учитывая опыт китайского общества или сочетая все лучшее, что есть в других странах. Также респондентов просили рассказать, в каком обще-

стве они хотели бы жить. Оказалось, что и для страны, и лично для себя большинство выбирают российский самобытный путь (по 61 %), на втором месте — модель развития, которая вбирает в себя лучший опыт других стран (31 % и 34 % соответственно), прочие пути набрали не более 4 %. Характерно, что, высказавшись за самобытный российский путь, большинство (около 70 %) — сторонники демократии и имеют большие претензии к государству в выполнении им социальных обязательств, соблюдении прав и свобод и обеспечении доверия к властным институтам. Можно предположить, что выбор самобытного пути понимается как отстаивание суверенитета страны в мире, но отнюдь не как традиционного общества. Для большинства россиян характерно эмоциональное, а не рациональное отношение к стране и к малой родине. Эмоциональная привязанность к России по десятибалльной шкале получила в среднем 8,37 балла; родная земля для 50 % — их малая родина, место, где они родились и выросли, 21 % считают родной землей всю Россию.

Цивилизационные предпочтения и поведенческие стереотипы рассматривались по нескольким направлениям: этническая идентификация, религиозность, отношение к национальной культуре, владение и использование русского языка, динамичная модель профессиональной идентичности, самостоятельность или патернализм в решении жизненных проблем и т.д. Показательно, что эти характеристики демонстрируют большое разнообразие, одни позволяют говорить о преимущественно традиционном, другие — о современном, рациональном типе сознания, но наиболее распространено сочетание этих характеристик. Так, связь со своей национальностью (очень сильную и в некоторой степени) ощущают более 75 %; религиозность российского населения на довольно низком уровне — только 14 % посещают службы раз в месяц или чаще, 29 % никогда не ходят в храмы и не молятся, хотя подавляющее большинство называют себя православными (5 % исповедуют ислам, 13 % не признают никакой религии; пропорции обусловлены тем, что в опросе приняли участие 87 % русских, 6 % татар, 1 % башкир и незначительные доли других этносов).

Русские — цивилизационно образующий народ, русский язык — средство межэтнического общения и государственный язык во всех субъектах Российской Федерации, в некоторых наряду с национальным языком. Владение русским является не единственным, но решающим фактором общегражданской и цивилизационной идентичности — 98 % говорят дома на русском языке. Наряду с утилитарным использованием русского языка — для общения, получения хорошего образования, трудоустройства, 68 % отметили роль русского языка в формировании чувства принадлежности к российскому обществу. Если национальный язык — главный элемент этнической, культурной и религиозной идентификации, то русский язык — важнейший элемент государственной идентификации. Вместе с русским языком историческая память, пройденный со страной путь, сильное объединяющее государство

и патриотизм могут стать главными факторами сближения цивилизационных идентичностей страны, создать основу для гармонического взаимодействия поверх национальных, этнических, религиозных и цивилизационных различий. Движение в этом направлении будет стимулировать модернизация периферийных, в том числе фронтальных территорий. Гетерогенный цивилизационный характер российского пространства заставляет разрабатывать векторы развития территорий, сближающие их население с центральными зонами по уровню урбанизированности, структуре занятости, уровню образованию, объему и качеству социальных услуг и т.д. Преодоление различий создаст материальную основу для расширения зоны цивилизационного консенсуса представителей разных территорий, культур и религий.

Примечания

- (1) См.: URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/70811>.
- (2) В Институте философии РАН в последние годы разрабатывается мегатема «Российский проект цивилизационного развития» (руководитель — В.А. Смирнов), в рамках которой была опубликована монография «Цивилизация: многозвучие смыслов. Мемория» (Отв. ред., сост. А.В. Смирнов, Н.А. Касавина, С.А. Никольский. М.–СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2023. — 540 с.) [16]. В книге представлены работы известных российских философов, изучавших вопросы цивилизационного развития в советский и постсоветский периоды. Монография показывает, что вопросы цивилизационной принадлежности России были предметом дискуссий, и, хотя точки зрения философов не всегда совпадают, их объединяет анализ соотношения единства и своеобразия, уникального и универсального в становлении цивилизаций.
- (3) Онлайн-опрос был проведен фирмой «Анкетолог» на собственной онлайн панели. Было сформировано три массива данных: всероссийская выборка репрезентирует население России по полу, возрасту, образованию, типу поселения — город/село (представлены все федеральные округа, N=1000); вторая выборка репрезентирует СЗФО; третья — СЗФО и ЮФО (две последние выборки репрезентативны по полу и возрасту). В статье частично представлены данные, полученные на первой — всероссийской — выборке.

Библиографический список

1. *Андерсон Б.* Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2016.
2. *Белинская Е.П.* Современные исследования идентичности: от структурной определенности к процессуальности и незавершенности // Вестник СПбГУ. Психология и педагогика. 2018. Т. 8. Вып.1.
3. *Беляева Л.А.* Цивилизационная гетерогенность России. Собственность в поле цивилизационного развития // Вестник Института социологии. 2021. Т. 12. № 3.
4. *Гуцалов А.А.* Русский цивилизационный код — идентичность, ценности, культура // Теоретическая культурология. 2016. № 4.
5. *Дробижеева Л.М.* Российская идентичность. Поиски определения и динамика распространения // Социологические исследования. 2020. № 8.
6. *Мчедлова М.М.* Российская цивилизация: вызовы XXI века. М., 2008.
7. *Никонов В.А.* Современный мир и его истоки. М., 2015.
8. *Панарин А.С.* Россия в циклах мировой истории. М., 1999.
9. Российское общество и вызовы времени. Кн. 6 / Под ред. М.К. Горшкова, Н.Е. Тихоновой. М., 2022.
10. *Семенникова Л.И.* Россия в мировом сообществе цивилизаций. Брянск, 2000. .

11. *Смирнов А.В.* Всечеловеческое vs общечеловеческое. М., 2019.
12. *Согомонов А.* Гражданское образование и патриотизм // *Общая тетрадь*. 2014. № 1.
13. *Федотова Н.Н.* На пути к процессуальной теории идентичности // *Философские науки*. 2014. № 11.
14. *Хабермас Ю.* Проблема легитимации позднего капитализма. М., 2010.
15. *Хачатурян В.М.* Человек в пространстве цивилизаций: проблема цивилизационной идентичности // *Вопросы социальной теории*. 2010. Т. IV.
16. *Цивилизация: многозвучие смыслов. Memoria / Отв. ред., сост. А.В. Смирнов, Н.А. Касавина, С.А. Никольский. М.–СПб., 2023.*
17. *Шемякин Я.Г.* Россия и Латинская Америка как цивилизации: попытка сравнения. Размышления над книгами В.Б. Земскова // *Мир России*. 2016. № 1.

DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-4-754-769

EDN: FKIWIZ

Civilizational identity of contemporary Russia: In search for research tools*

L.A. Belyaeva

Institute of Philosophy of RAS,
Goncharnaya St., 12–1, Moscow, 109240, Russia

(e-mail: bel46@mail.ru)

Abstract. The failed catch-up development of Russia, which implied joining the ranks of developed, modernized countries, again raised the question of how much civilizational type determines either Western or one's own path of development, and for Russia the latter means the values of collectivism and strong power. Under the confrontation between these two paths, the issues of identity (as a field of political aspirations of the elites and masses) become especially important and relevant for most post-Soviet countries which show a complex interaction of group interests and identities due to the spread of individualistic, market, predominantly rational (mostly materially interpreted) meanings of life. For Russia, this interaction has become a challenge — to continue development according to the Western model or to find one's own path, which means a return to traditional values and collectivist ideology and a rejection of liberal ideology. The article considers the features of the Russian civilizational identity and the possibilities of studying them based on the empirical data. The author emphasizes the civilizational heterogeneity of the Russian society as deeply differentiated by most economic, social and cultural criteria, which divides society into groups with specific lifestyles and value systems. Russian civilization is a heterogeneous, not fully formed and still developing multi-subject entity united by the state preserving cultural, national, religious and linguistic diversity. The article is based on the results of the representative all-Russian sociological survey conducted in 2023 and regional surveys in frontier regions — in the Northwestern, Southern and North Caucasus Federal Districts. This data helps to identify the civilizational vector of the country's development, proving the complementarity of the ideas of the elites and the rest of society, age and settlement cohorts, residents of central and frontier, mononational and multiethnic regions.

* © Belyaeva L.A., 2023

The article was submitted on 21.03.2023. The article was accepted on 15.06.2023.

Key words: Russian society; heterogeneous civilization; values; identity; patriotism; empirical study

References

1. Anderson B. *Voobrazhaemye soobshestva. Razmyshleniya ob istokah i rasprostraneni natsionalizma* [Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism]. Per. s angl. V. Nikolaeva; vstup. st. S.P. Bankovskoj. Moscow; 2016. (In Russ.).
2. Belinskaya E.P. Sovremenne issledovaniya identichnosti: ot strukturnoj opredelennosti k protsessualnosti i nezavershennosti [Contemporary studies of identity: From structural certainty to processuality and incompleteness]. *Vestnik SPbGU. Psikhologiya i Pedagogika*. 2018; 8 (1). (In Russ.).
3. Belyaeva L.A. Tsvivilizatsionnaya geterogenost Rossii. Sobstvennost v pole tsvivilizatsionnogo razvitiya [Civilizational heterogeneity of Russia. Property in the field of civilizational development]. *Vestnik Instituta Sotsiologii*. 2021; 12 (3). (In Russ.).
4. Gutsalov A.A. Russky tsvivilizatsionny kod — identichnost, tsennosti, kultura [Russian civilizational code — identity, values, culture]. *Teoreticheskaya Kulturologiya*. 2016; 4. (In Russ.).
5. Drobizheva L.M. Rossijskaya identichnost. Poiski opredeleniya i dinamika rasprostraneniya [Russian identity. Search for definition and dynamics of distribution]. *Sotsiologicheskie Issledovaniya*. 2020; 8. (In Russ.).
6. Mchedlova M.M. *Rossijskaya tsvivilizatsiya: vyzovy XXI veka* [Russian Civilization: Challenges of the 21st Century]. Moscow; 2008. (In Russ.).
7. Nikonov V.A. *Sovremennyy mir i ego istoki* [Contemporary World and Its Origins]. Moscow; 2015. (In Russ.).
8. Panarin A.S. *Rossiya v tsiklah mirovoj istorii* [Russia in the Cycles of World History]. Moscow; 1999. (In Russ.).
9. *Rossijskoe obshchestvo i vyzovy vremeni. Kn. 6* [Russian Society and Challenges of the Time. Book 6]. Pod red. M.K. Gorshkova, N.E. Tikhonovoj. Moscow; 2022. (In Russ.).
10. Semennikova L.I. *Rossiya v mirovom soobshchestve tsvivilizatsij* [Russia in the World Community of Civilizations]. Bryansk; 2000. (In Russ.).
11. Smirnov A.V. *Vsechelovechskoe vs obshchelovecheskoe* [All-Human vs Universal]. Moscow; 2019. (In Russ.).
12. Sogomonov A. Grazhdanskoe obrazovanie i patriotizm [Civil education and patriotism]. *Obshchaya Tetrada*. 2014; 1. (In Russ.).
13. Fedotova N.N. Na puti k protsessualnoj teorii identichnosti [On the way to the processual theory of identity]. *Filosofskie Nauki*. 2014; 11. (In Russ.).
14. Habermas J. *Problema legitimatsii pozdnego kapitalizma* [Legitimation Problems in Late Capitalism]. Moscow; 2010. (In Russ.).
15. Hachaturyan V.M. Chelovek v prostranstve tsvivilizatsij: problema tsvivilizatsionnoj identichnosti [Man in the space of civilization: Issues of civilizational identity]. *Voprosy Sotsialnoj Teorii*. 2010; IV. (In Russ.).
16. *Tsvivilizatsiya: mnogozvuchie smyslov. Memoria* [Civilization: Polyphonic Meanings. Memoria]. Otv. red., sost. A.V. Smirnov, N.A. Kasavina, S.A. Nikolsky. Moscow–Saint Petersburg; 2023. (In Russ.).
17. Shemyakin Ya.G. Rossiya i Latinskaya Amerika kak tsvivilizatsii: popytka sravneniya. Razmyshleniya nad knigami V.B. Zemskova [Russia and Latin America as civilizations: An attempt of comparison. Reflections on the books by V.B. Zemskov]. *Universe of Russia. Sociology. Ethnology*. 2016; 1. (In Russ.).



DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-4-770-786

EDN: HGHPUSU

Стабилизационное сознание в изменяющемся российском обществе*

С.Д. Савин

Институт социологии ФНИСЦ РАН,
ул. Кржижановского 24/35, корп.5, Москва, 117218, Россия

(e-mail: ssd_sav@mail.ru)

Аннотация. Ускорение динамики общественных процессов в последние десятилетия требует нового теоретико-методологического подхода к анализу реакции массового сознания на эти изменения. В каких случаях изменениям предшествуют ожидания или запросы на перемены, а в каких изменения порождают реакцию на стабилизацию системы? Как общественное мнение пытается сохранить или восстановить стабильность в меняющемся мире? Сложная структура общества как системы во многом определяет динамику социальных настроений, задавая логику изменений и выделяя доминирующие функции то одной, то другой сферы общественной жизни в разные исторические периоды. Российское общество вошло в политическую фазу своего развития — когда изменения, обусловленные политическим целеполаганием, переходят во все другие сферы. Усиливается причастность к политике, политизация разных сторон жизнедеятельности общества и, конечно, общественного мнения. Изменения вторгаются в жизнь простого человека (обывателя), вынуждая его делать выбор тех или иных стратегий будущего. Однако при этом массовое сознание, консервативное по своей природе, неизбежно питает надежду на скорую стабилизацию. В статье на основе данных опросов общественного мнения, полученных Центром комплексных социальных исследований Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук в 2016–2023 годы, проводится анализ динамики общественного сознания с точки зрения запросов и ожиданий перемен и стабильности. Сделаны выводы о противоречивом характере изменений в российском обществе, поскольку общественное сознание оказалось не готово к направленности, глубине и темпам происходящих перемен. Наблюдается социальная сегментация — на тех, кто уже влился в поток перемен, и на тех, кто пытается от них отстраниться. Двойственную роль играет стабилизационное сознание — апеллируя одновременно и к прошлому, и к будущему.

Ключевые слова: стабилизационное сознание; социальные изменения; социальная стабильность; общественное сознание; социальная напряженность; российское общество

*© Савин Д.С., 2023

Статья поступила 04.05.2023 г. Статья принята к публикации 16.10.2023 г.

Когда меняется общество, его структура и качественные характеристики, можно говорить о такой социальной динамике, которая характеризуется как «перемены», т.е. изменения, подразумевающие корректировку курса общественного развития — от умеренной до радикальной. Происходят ли такие перемены в российском обществе сегодня? Прежде чем отвечать на этот вопрос, следует сделать уточнение — изменения могут происходить по разным траекториям.

Траектории общественного развития в духе времени

В общественном сознании западных стран закрепилось устойчивое представление о реформах как либерально-демократических изменениях в общей парадигме политической модернизации. Изменения в других направлениях воспринимаются как откаты от магистрального пути и зачастую не рассматриваются как самостоятельные процессы. Однако на фоне противоречий современного этапа глобализации все чаще встает вопрос об альтернативах нынешнего пути развития в трактовке Ф. Фукуямы [25] — как о попытках заявить о некоем ином направлении общественных изменений. Наиболее развернутой в этом плане стала концепция устойчивого развития на основе социально-экологической парадигмы, по преимуществу левой и партиципаторной в политико-идеологическом содержании [28; 30], а также консервативные идеи цивилизационного (многополярного) развития с «центрами притяжения» — историко-культурного, технологического и социально-экономического. Остановимся на третьем пути подробнее, поскольку он связан с вопросами современного политического развития российского общества.

Государства-цивилизации — это не только своеобразные ядра стратегических международных отношений, но и зоны влияния мягкой силы, притягивающей «атомы» историко-культурно близких обществ. Можно было бы назвать это притяжение регионализацией, но его отличие в том, что каждая региональная конгломерация претендует на самостоятельное идейно-ценностное значение и уникальность развития через «культурный код» [4; 13; 26]. В художественной литературе и кинематографической фантастике такая модель представлена в космических сагах, где в межгалактических отношениях инопланетные цивилизации образуют союзы и пытаются создать некие общие правила игры в масштабах вселенной, что нередко порождает «звездные войны». Подобного взгляда, но пока в масштабах нашей планеты, придерживаются носители консервативной идеологии (традиционалисты), для кого глобализация — просто совокупность правил игры для фигур разных типов и весовых категорий, которые различаются по цивилизационным основаниям. И хотя идея цивилизационного подхода в общественно-политической мысли не нова, к ее практической реализации через формирование соответствующей идеологии на государственном уровне в России только приступают.

Иными словами, российское общество меняется, и перемены носят серьезный характер, оказывая влияние как на качество социальных структур, так и на сущностные стороны общественного развития. Перемены наблюдаются во всех сферах жизни: в духовной сфере это реформы образования и выход из Болонской системы, усиление роли религии и идеологическая установка на укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей; в социально-экономической сфере — государственная поддержка традиционных отраслей промышленности (прежде всего военно-промышленного комплекса) и сельского хозяйства; в политике — усиление централизации управления, мобилизованное гражданское и политическое участие и выстраивание конфликтных линий разграничения с Западом. Активная фаза этих изменений началась сравнительно недавно, и отправной точкой можно считать принятие поправок в Конституцию в 2021 году. Чтобы изменения вошли в «ткань» общественной жизни, требуется продолжительный период — в институциональном плане развернутый на десятилетия, поэтому сегодня мы наблюдаем ряд противоречий в реформах и государственных мерах, которые порождают конфликты в российской политике.

Естественным образом социальные изменения должны отражаться в массовом сознании — если они действительно значимы. Воздействие внешних и внутренних изменений на состояние общества определяется, в первую очередь, давлением на общественное сознание и, прежде всего, на массовые настроения и поведение [1. С. 5]. Общеизвестно, что общественное сознание имеет консервативный характер, ориентировано на сохранение сложившихся образцов общественной жизни. Тем не менее, бывают периоды, когда интенция перемен в общественном сознании нарастает и может привести к его радикализации. Кроме того, перемены могут соответствовать или не соответствовать общественным ожиданиям: перемены ожидаемые менее травматичны, укладываются в некую модель будущего и осознаются в процессе поэтапной стабилизации; на нежелательные, стрессовые, малопонятные по последствиям изменения общественное сознание реагирует непредсказуемо. С одной стороны, возникает страх ухудшения ситуации, катастрофы в случае перехода от социальной напряженности к массовым конфликтам, и надежда, что негативные изменения сами по себе сойдут на нет и произойдет возврат к прежней, более-менее устоявшейся жизни. С другой стороны, формируется массовое недовольство — распространяясь от ущемленных социальных групп к широким слоям населения, и тогда стабилизация уходит на второй план на фоне необходимости восстановления социальной справедливости. В свою очередь, стабилизационное сознание, с одной стороны, позволяет «амортизировать» перемены, делать их менее болезненными, по крайней мере на первом этапе; с другой стороны, помогает выстроить позитивный образ будущего как основу общественной консолидации. Стабилизационное сознание ориентирует людей на устойчивость жизненных

отношений и связей, дает уверенность в завтрашнем дне, «имеет сложные социально-психические детерминанты, в частности глубокую мотивацию, выражающуюся в бессознательном стремлении к безопасности, предсказуемости и снятию тревожности» [14. С. 147].

На эту психологическую основу «подгружаются» идеологизированные представления о стабильности, конструируемые ведущими политическими силами, т.е. общественное сознание отражает своего рода дискурс стабильности. В частности, в России с начала 2000-х годов стабильность становится ведущей идеологемой: в дискурсе власти это ориентация на политический и правовой порядок, социальные гарантии населению, умеренно-консервативные ценности и надежность финансово-экономической системы. Причем подчеркивается, что основные черты такой системы уже сложились и надо всеми способами их сохранять [19. С. 6–7]. Контраргументы противников «официальной стабильности» характеризуют ее как застой, негативную, мнимую или даже депрессивную стабильность с ограниченными возможностями развития системы [15. С. 20, 43; 27. С. 37]. Обе аргументации имеют ограничения, поскольку с научной точки зрения у стабильности как динамического свойства системы имеются и характеристики постоянного обновления и сохранения (устойчивости). В общественном сознании стабилизация рассматривается, прежде всего, в ракурсе устойчивости, как восстановление системы после возмущений, т.е. перемены/изменения воспринимаются как противоположность стабильности — отсюда так называемые «интенции (устремления, общественные ожидания, запросы) стабильности/перемен».

Цикличность общественных запросов на стабильность и перемены

Как показывают историко-социологические исследования, чередование стабилизационных и ориентированных на перемены устремлений носит в общественном сознании циклический характер. Императив стабильности, как правило, распространяется в период социальных трансформаций (искомая стабильность после кризисных периодов), интенция перемен — напротив, в ситуации застоя и закрытости социальных структур [14. С. 7]. Вспомним, например, по В. Парето, чередование в духовной жизни периодов патристической веры и скептицизма и соответствующие ориентиры на элиты львов и лис в политике — лидеров с качествами постоянства агрегатов или инстинкта комбинаций.

Неорганизованность, стихийность массового сознания, его подверженность самым разным влияниям порождают парадоксы и амбивалентность. Массовое сознание определяется текущими настроениями (ситуациями), но в то же время демонстрирует устойчивость основных ценностей, установок, стереотипов и исторической памяти. Кроме того, оно реагирует на общие

тенденции в разные исторические периоды, например, на приоритеты общественной динамики в той или иной социальной сфере.

Интенция перемен нарастает, когда в духовной жизни возникают новые формы. В начале XX века расцвет российской дореволюционной культуры (серебряный век литературы, новые формы искусства, философия космизма, новые общественные движения и т.д.) породил стремление к изменениям — все дышало духом революции и обновления. В сам период изменений, как было в революционные годы, политика как сфера жизни выходит на первый план, имеет доминирующее влияние на общество — мобилизационная экономика, революционная печать, социальные последствия революционной борьбы, ускорение социальной мобильности. В результате общественное сознание радикализуется, происходит массовизация политических процессов. После бурных политических периодов возникает потребность в восстановлении экономики, и первоочередными ставятся задачи экономического роста (индустриализация). Возрастает интенция стабильности — люди ждут социальных гарантий и роста благосостояния, качества жизни. Однако после «брежневского застоя» людям начинает чего-то не хватать — формируются завышенные ожидания, «перемен требуют сердца».

Переход от интенции перемен к императиву стабильности описан в воспоминаниях известного революционера Л.Д. Троцкого, который сетовал, что к середине 1920-х годов революционный дух в массах угас и расшевелить их идеей транзита революции (перманентной революции) не представлялось возможным. Идеи первого периода революции не поддерживались властвующим партийным слоем, и в стране происходили процессы, которые можно было назвать реакцией, — они захватили в той или иной степени весь рабочий класс, включая его партийную часть [24. С. 570]. Похожий поворот произошел в середине 1970-х годов в западной социальной мысли — от леворадикального сознания к консервативному и неолиберальному. Период масштабного социального кризиса с бурными молодежными волнениями и протестами 1968 года начал сменяться стабилизационной тенденцией. Место леворадикальных интеллектуалов, критикующих капитализм и общество потребления, заняли умеренные представители теорий общественного развития (постиндустриального общества, устойчивого развития и др.).

Циклы могут различаться по длительности, выраженности тенденций, последовательности и комбинации. Политика необязательно переходит в радикализированную фазу, экономика необязательно быстро растет и т.д. Так, трагически ворвавшаяся в жизнь советского общества Великая Отечественная война надолго отодвинула стабилизационную фазу. Но в целом цикличность интенций перемен и стабилизации в массовом сознании присутствует, хотя и зависит от исторической ситуации.

Динамика социально-политических изменений в оценках россиян (2016–2022)

Сегодня российское общество находится в политической фазе развития — перемены запущены (санкции, мобилизация, эмиграция, реформы систем образования и воспитания, изменения в молодежной политике и др.), что определяет противоречивое состояние общественного сознания. Летом 2023 года был опубликован опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), согласно которому 44 % россиян ожидают, что в течение ближайших трех — пяти лет ситуация нормализуется, а каждый третий (31 %) полагает, что это произойдет в текущем году (1). Это один из главных парадоксов стабилизационного сознания, аналогичный тому, как в начале 1990-х годов люди верили, что рыночные реформы пройдут быстро, экономика восстановится в течение нескольких лет и начнутся новые интеграционные процессы. Однако запущенный процесс изменений вряд ли быстро завершится — структурные изменения рассчитаны на период в несколько лет, а далее последуют непредсказуемые по продолжительности адаптация и оппозиция к новой реальности. При этом возможны как откаты, так и начало принципиально новой динамики изменений, смена вектора развития. Ставки предельно высоки, и даже в случае достижения внешнеполитических целей стране предстоит решить огромное количество внутренних проблем [9. С. 8]

Чтобы понять динамику общественного сознания в России, обратимся к мониторинговым опросам общественного мнения, проведенным Центром комплексных социальных исследований Института социологии ФНИСЦ РАН. На протяжении 2000-х годов ориентация на статус-кво постоянно доминировала как позиция большинства россиян (65 %–70 %) [16. С. 121]. Однако в 2017–2019 годы в российском обществе произошел всплеск настроений, связанных с ожиданием перемен, и некоторый рост гражданской активности. Так, если в 2016 году доля согласных с тем, что «страна нуждается в существенных переменах, нужны новые реформы в экономической и политической жизни страны», составляла 30 %, то к 2018 году — уже 56 %. Особенно эта тенденция была характерна для молодежи с ее запросом на де бюрократизацию и демократизацию [16. С. 121; 17. С.129-131] на фоне наметившегося доминирования Интернета как источника информации в условиях смены поколений. Так, всероссийский опрос СПбГУ в 2019 году показал, что 65 % опрошенных положительно относились к высказыванию о необходимости кардинальных перемен для обеспечения социальной справедливости, и было примерно поровну тех, кто считал, что страна движется в правильном и неправильном направлении [20. С. 213]. В ожиданиях перемен доминировало представление о корректировке политики сверху — политической элитой — при сохранении стратегического курса страны. В тот период 70 % гордились быть гражданами России,

и в целом к 2019 году пиковых значений достигла общероссийская гражданская идентичность [3. С. 42], что позволяло надеяться на повышение гражданской солидарности россиян.

В конце 2010-х годов перемены в сознании россиян рассматривались в русле эволюции государства в сторону социал-демократической политики по выстраиванию баланса с гражданским обществом, укреплению принципов социальной справедливости, обеспечению равенства возможностей, увеличению социальных гарантий, борьбе с коррупцией, защите прав человека и сокращению социального неравенства. Эти общественные ожидания соответствовали президентской программе развития общества, которая была отражена в серии публикаций во время избирательной кампании и в «майских указах» 2012 года (2), а затем в национальных проектах (3). Усилившиеся в 2016–2020 годы протестные настроения были во многом связаны с запросом общества на ускорение темпов социального развития и корректировку курса развития страны. Причем социальной базой запроса на перемены стала постепенно увеличивающаяся доля «самодостаточных россиян», ориентирующихся на самостоятельное решение проблем — без помощи государства [2. С. 15]. Политический режим имел большой запас прочности и мог опираться на методы маневрирующей стабилизации, гибко реагируя на общественные запросы и снижая социальную напряженность.

Накануне вступления российского общества в ковидный период 2020–2021 годов оформился дискурс перемен в отношении ряда направлений государственной политики. Пандемийный стресс-тест государственной системы управления породил двойкие оценки ее эффективности. С одной стороны, повысилось доверие региональной власти на фоне значительного обновления губернаторского корпуса, на чьи плечи легла основная работа по борьбе с пандемией на местах. С другой стороны, антиковидные ограничения и слабая социальная защита в период пандемии породили недовольство федеральными властями — вплоть до распространяемых в социальных сетях теорий заговора, политизации и роста социальной базы движения «антипрививочников» [21]. Общественное сознание стало более противоречивым и эмоционально окрашенным, опросы фиксировали рост неуверенности россиян в будущем [8. С. 41] и консервативных тенденций — в попытке защитить личное пространство и семью от вмешательства государства. В то же время возрастали требования к государству в сфере социальной защиты населения, помощи малому и среднему бизнесу, поддержки здравоохранения. В целом, когда привычная жизнь людей нарушена и изменения носят нежелательный характер, возникает стремление к восстановлению стабильности. В ситуации подавленности и растерянности, некоторой апатии общественного сознания власть начала политические изменения, и первым шагом стала

конституционная реформа 2021 года. Затем антизападная и антилиберальная политика все больше наполняется самостоятельным консервативным содержанием. А после начала специальной военной операции (СВО) изменения переходят в мобилизационную фазу и затрагивают все сферы общественной жизни. Вопрос в том, насколько общество было готово к такому переходу и как адаптируется к изменениям?

Стабилизационное сознание в условиях нестабильности

В характеристике восприятия и принятия массовым сознанием происходящих изменений следует использовать не только прямые оценки ситуации, но и косвенные показатели социальных установок. Весной 2023 года 62 % россиян отметили, что на изменения в их жизни повлияло проведение СВО, и жизнь каждого пятого (19 %) изменилась значительно — чаще в негативную сторону (38 % — только отрицательное влияние, 5 % — однозначно положительное), каждый третий (30 %) отметил как позитивные, так и негативные изменения, а 27 % практически не ощутил влияния СВО на свою жизнь (несколько чаще представители молодежи до 30 лет и те, чье материальное положение за последний год не изменилось или немного улучшилось). Несколько иначе респонденты оценили изменения своего материального положения: только 2 % сообщили, что в связи с СВО у них выросла зарплата, за последний год материальное положение в той или иной степени улучшилось у 15 %, тогда как ухудшилось у 33 %, поскольку увеличились текущие расходы (39 %), а некоторые (7 %) потеряли часть сбережений и/или доходов. Следует отметить и продолжающееся санкционное давление на российское общество: исчезли некоторые привычные импортные товары (25 %), усложнилась оплата товаров из-за рубежа и перевод денежных средств (9 %), сократились возможности зарубежных поездок (15 %).

Ухудшилось и социально-психологическое состояние общества: по мнению опрошенных, у окружающих людей преобладают тревожность (49 %), раздраженность (13 %), безразличие/апатия (7 %). Показатель тревожности вырос по сравнению с 2021 годом — с 31 % до 49 % (Рис. 1), а показатель спокойствия — напротив, снизился с 33 % до 24 % [18. С. 56]. Негативным синдромом, всегда сопровождающим большие перемены, является идейный раскол, индикатором которого можно считать то, что у 16 % в их семье или среди родственников и друзей ухудшились отношения вследствие разных оценок СВО, прежде всего по причине разногласий между сторонниками и противниками политики России в отношении Украины (35 %). Соответственно, и в целом обстановка в стране оценивается как напряженная, кризисная — 81 % (даже катастрофическая — 8 %), россияне отмечают рост социальной напряженности в обществе (58 %) (но не в своих регионах и местах проживания — Табл. 1).

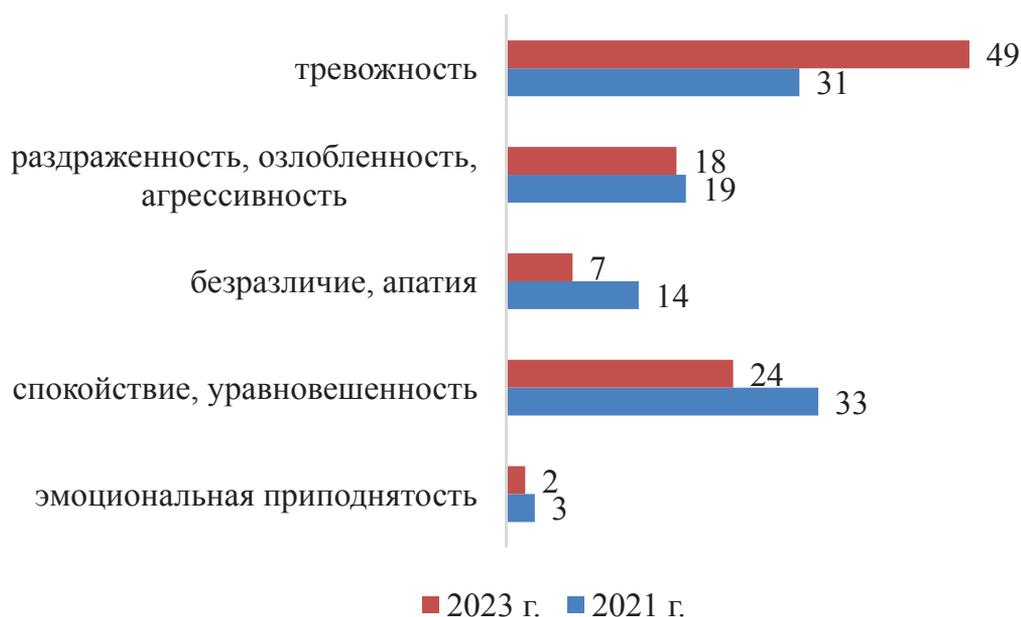


Рис. 1. Оценки социально-психологического состояния окружающих людей, в %

Таблица 1

Оценки ситуации в стране, регионе и населенном пункте проживания (%)*

Оценка ситуации	В России		В регионе		В городе, поселке, селе	
	2021	2023	2021	2023	2021	2023
Ситуация нормальная, спокойная	26	19	48	51	58	61
Ситуация напряженная, кризисная	54	73	44	46	35	36
Ситуация катастрофическая	10	8	8	3	7	3

*Здесь и далее приводятся данные проекта «Влияние нематериальных факторов на консолидацию российского общества в условиях новых социокультурных вызовов и угроз» (грант РНФ № 20-18-00505)

В основном перемены воспринимаются массовым сознанием как нечто неизбежное, объективно обусловленное, мало зависящее от усилий общенности, причем более трети опрошенных затрудняются с ответом на вопрос, можно ли было избежать военных действий в виде СВО (37%). В целом бремя ответственности делегируется на государственный уровень. 67% не участвуют ни в каких формах поддержки СВО (волонтерская деятельность, сбор средств и др.), треть активно поддерживают СВО, столько же (32%) отмечают, что российское общество выдержало экзамен на консолидацию и взаимоподдержку в экстремальных условиях, у 32% родственники или друзья участвуют в СВО. Необходимо отметить, что при достаточно низкой оценке консолидации российского общества люди высоко оценива-

ют свой ближний круг: так, среди преобладающих эмоций за последний год 45 % назвали уверенность в поддержке близких и коллег, веру в то, что они придут на помощь, если понадобится. И многие эту помощь действительно получали (51 % — в решении хозяйственно-бытовых проблем). В ситуации экзистенциального выбора россияне будут руководствоваться прежде всего интересами своей семьи (61 %), а не государства (9 %), причем в столичных городах и административных центрах регионов второй показатель еще ниже (Табл. 2); каждый второй (54 %) не готов пойти на значимые жертвы ради интересов страны.

Таблица 2

Приоритеты россиян в ситуации экзистенциального выбора (%)

Чьими интересами будут прежде всего руководствоваться в серьезных вопросах, решая, как поступить	Тип поселения			
	Мегаполисы	Областные, краевые, республиканские центры	Районные центры, города не являющиеся районными	Село
Государства	3	8	9	11
Коллектива, интересы которого их решение непосредственно затрагивает (работа, учеба, друзья и т.п.)	4	4	4	4
Своей семьи	59	58	64	60
Своими собственными	33	29	22	24

В условиях перемен в обществе возрастают миграционные процессы: кризисные явления порождают неуверенность в завтрашнем дне и стремление к безопасности. Миграционные настроения в российском обществе нарастают со второй половины 2010-х годов: так, по данным СПбГУ, в 2019 году у 28 % опрошенных россиян были родственники и близкие знакомые, уехавшие из страны за последние десять лет; переезд в другую страну планировали 11 %, 18 % не планировали, но и возможности такой не исключали, т.е. почти треть россиян в той или иной степени была подвержена миграционным настроениям, а среди молодежи этот показатель был еще выше [20. С. 149]. По последним данным Института социологии, у 13 % опрошенных родственники и/или друзья уехали из России после начала СВО, и пока эмиграционные установки несколько снизились (только 0,6 % готовятся уехать за рубеж, 3,3 % имеют такие планы на будущее — против 15 % ориентированных на переезд в Москву и Санкт-Петербург).

В условиях неопределенности планирование будущего становится затруднительным и наблюдается и парадокс — между ожидаемым успехом общественного развития и усиливающейся неуверенностью в завтрашнем дне.

Так, 57 % не планируют свою жизнь, считая это просто невозможным, и живут текущим днем, по ситуации. 23 % часто испытывают страх перед неопределенностью будущего. Только 9 % имеют горизонт планирования свыше трех лет, а 12 % — сбережения, позволяющие их семье прожить не менее года в случае потери дохода, хотя 20 % считают, что они хорошо материально обеспечены. Россияне переживают за будущее страны не в меньшей степени, чем за свое собственное (Табл. 3). С одной стороны, большинство верит в победу России в СВО (более 65 %; 7 % затруднились с ответом). С другой стороны, еще больше россиян (78 %) убеждены в негативных последствиях СВО для страны. Каждый второй (55 %) полагает, что страну ждут трудные времена, хотя за год с начала СВО этот показатель снизился на 22 %, что может говорить о частичной нормализации восприятия ситуации и ожидании постепенной деэскалации международного конфликта.

Таблица 3

Восприятие будущего (в %)

«Когда Вы думаете о своем будущем и о будущем нашей страны, какие чувства Вы чаще всего испытываете?»	Свое будущее	Будущее страны
Уверенности в хорошем будущем	14,2	16,7
Спокойствия	16,4	9,2
Надежды	28,9	31,3
Беспокойства	31,8	31,0
Страх	6,8	7,8
Отчаяния	1,4	3,3
Затруднились ответить	0,6	0,7

При всей противоречивости оценок текущей ситуации большинство россиян с оптимизмом смотрят будущее: по данным Института социологии, весной 2023 года 74 % опрошенных полагали, что путь, по которому идет Россия, даст положительные результаты: это самостоятельное национальное развитие России как евразийской цивилизации (78 %) с политическим вектором на Восток (66 %) и в союзе с ближайшими соседями (82 %). Внутренняя политика должна иметь выраженный социальный характер — поддерживать здравоохранение (61 %), обеспечивать доступное образование (48 %), гарантировать рабочие места (47 %) и решение жилищного вопроса (46 %). Очевидна общая нацеленность на социальную справедливость (45 %) — высокий уровень жизни и ликвидацию бедности (46 %), однако создание общества равных возможностей видится противоречиво. 40 % считают, что «Россия должна жить своим умом и идти своим путем, а не копировать опыт других стран», но собственный путь характеризуется по-разному: развитие прав и свобод че-

ловека, демократизация (35 %), укрепление роли государства, сильная власть, гарантирующая порядок (37 %), декларируемый сегодня государством консервативный путь с приоритетом национальных традиций, моральных и религиозных ценностей (38 %).

В целом россияне ориентированы на либерально-консервативное развитие, сочетающее сильную власть, социальную стабильность, мягкие либеральные реформы и правовое государство, минимально вторгающееся в личную жизнь человека, но поддерживающее социальные устои и традиции. С одной стороны, 55 % выступают за ограничение вмешательства государства в свою жизнь, за индивидуальную свободу и свободу слова (86 %), право человека бороться за свои интересы (63 %), но, с другой стороны, признают право государства вводить некоторые ограничения по отношению к оппозиционным СМИ (66 %) и конкретным инакомыслящим (68 %). Почти половина опрошенных (49 %) признается, что без поддержки государства им просто не выжить, т.е. очевидны и патерналистские установки, и страх политической нестабильности, беспорядков (42 %) [18. С. 32].

В обществе сохраняется представление о России как великой державе, которая не повторяет путь Советского Союза, а стремится стать экономически развитой и политически влиятельной страной (53 %) посредством развития промышленности, науки и образования и умения твердо отстаивать свои национальные интересы. Сильная держава ассоциируется у россиян с государством социальной справедливости, гарантирующим им стабильность и процветание, т.е. подразумевается социальная ответственность государства перед гражданами. По данным опроса, общественное признание (13 %), возможность быть полезным обществу, людям (12 %) и самореализация через участие в общественных и политических организациях (1 %) — менее значимые показатели жизненного успеха человека по сравнению с хорошей работой (51 %), финансовым благополучием (50 %) и семьей с детьми (46 %), а все это может гарантировать государство без посредника в лице гражданского общества.

Отсюда ожидание социально-экономических реформ сверху и лояльное отношение к власти в целом и ее региональным ветвям. Положительную роль сыграла и программа обновления региональных элит, запущенная администрацией президента в середине 2010-х годов («Программа кадрового резерва», конкурс «Лидеры России» и др.) — технократические установки на совершенствование механизма государственной власти в части чувствительности к нуждам населения получили некоторое практическое выражение, укрепив своего рода политический абсентеизм, отстранение от политики и замкнутость большинства на частной сфере и индивидуальных интересах, низкую ценность общественной солидарности и ориентацию не на гражданское общество, а на государство. Сохранится ли такой авторитарный баланс между властью и обществом в условиях усиливающейся политизации и возрастаю-

шего нормативного контроля за частной жизнью — вопрос сложный, учитывая, что существовавший долгое время стабилизирующий «патерналистский консенсус» — лояльность населения в обмен на невмешательство власти в частную жизнь граждан при условии реализации государством некоторых базовых социальных гарантий — сегодня оказался под угрозой [16. С. 123].

Парадокс перемен состоит в том, что в обществе одновременно и хотят, и боятся изменений — «и вдруг нам становится страшно что-то менять». Даже сам термин «перемены» довольно расплывчат, обозначая стремление к чему-то неопределенно новому [7. С. 77], а в массовом сознании расплывчатость и неопределенность усиливаются. Поэтому в общественном восприятии ожидания перемен тесно связаны с категорией надежды: люди готовы терпеть трудные времена в надежде на социальную справедливость и сохраняют умеренный оптимизм в оценках будущего, но интенция стабильности в общественном сознании становится все более очевидной и нарастающей.

Отмечая парадокс восприятия перемен общественным сознанием, следует вспомнить, что в исторической памяти россиян самые популярные фигуры с положительными оценками — это правители-реформаторы Петр I (62 %), Екатерина II (46 %), князь Владимир-креститель (49 %) [5. С. 28], т.е. сильные лидеры, сумевшие провести реформы и усилившие при этом государственность и интеграционные процессы. Но при этом историческая эпоха, в которой людям хотелось бы жить, — брежневская (стабилизационная), а не те эпохи, что оцениваются как переломные. Поэтому в условиях перемен возрастает роль политического лидерства как предлагающего модель развития на основе идеи социальной справедливости и выполняющего терапевтическую функцию в условиях нестабильности. В этом смысле крайне важно позитивное идейное наполнение реформ с точки зрения образа будущего: «Вы должны верить... что в конце концов вы создадите счастливую и здоровую нацию, общество, в котором люди найдут счастье» [22. С. 202].

Таким образом, стабилизационное сознание не равно стабильности, а, напротив, проявляет себя в условиях ее дефицита, когда общественная система сталкивается с серьезными вызовами. Так, в одной из популярных теорий международных отношений стабилизация понимается как совокупность идей и действий, связанных с восстановлением безопасности и развитием в так называемых «хрупких государствах» [29. С. 2]. Интенция стабильности в общественном сознании означает ориентацию на модель развития без потрясений, преемственность, интеграцию и баланс общественных интересов. Ю.Н. Давыдов противопоставляет стабилизационному сознанию кризисное восприятие реальности: первое проникнуто стремлением преодолеть кризис, опираясь на убеждение в существовании тех принципов социального порядка, следование которым ведет к самосохранению общества и его развитию [6. С. 18–19]. Формирующиеся черты такого стабилизационного сознания можно наблюдать в российском обществе сегодня.

Примечания

- (1) URL: <https://fom.ru/Nastroeniya/14871>
- (2) URL: <http://government.ru/orders/selection/406/>
- (3) URL: <https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--plai/projects>

Библиографический список

1. Галкин А.А. Политическая стабильность в годы перемен и потрясений // Власть. 2016. Т. 24. № 7.
2. Горшков М.К. О социальных результатах постсоветских трансформаций // Социологические исследования. 2019. № 11.
3. Дробижева Л.М., Рыжова С.В. Общероссийская идентичность в социологическом измерении // Вестник российской нации. 2021. № 1–2
4. Зотова Е.С. Россия как цивилизация и цивилизация как Россия: суть и ход перемен (обзор дискуссии) // Философия хозяйства. 2021. № 1.
5. Историческое сознание россиян: оценки прошлого, память, символы (опыт социологического измерения) / Под ред. М.К. Горшкова. М., 2022.
6. История теоретической социологии: в 4-х тт. Т. 2 / Отв. ред. и сост. Ю.Н. Давыдов. М., 2002.
7. Латов Ю. В., Латова Н. В. «Запрос на перемены» в социологии и в СМИ (памяти В. В. Петухова — «изобретателя» понятия/мема) // Вестник Института социологии. 2022. Т. 13. № 2S.
8. Латова Н.В. Ситуация в стране и перспективы ее развития через призму общественно-го мнения в период пандемии // Социологические исследования. 2021. № 4.
9. Лукьянов Ф.А. Неожиданный индикатор перемен // Россия в глобальной политике. 2022. Т. 20. № 4.
10. Нарбут Н.П., Троцук И.В. Мировосприятие российской молодежи: патриотические и геополитические компоненты // Социологическая наука и социальная практика. 2014. № 4.
11. Нарбут Н.П., Троцук И.В. Социальное самочувствие молодежи постсоциалистических стран (на примере России, Казахстана и Чехии): сравнительный анализ ценностных ориентаций (Часть 1) // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2018. Т. 18. № 1.
12. Нарбут Н.П., Троцук И.В. Социальное самочувствие молодежи постсоциалистических стран (на примере России, Казахстана и Чехии): сравнительный анализ страхов, надежд и опасений (Часть 2) // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2018. Т. 18. № 2.
13. Олейников А.А. Ценности России как Русской Евразии, как православно-евразийской цивилизации, как «исторической России» // Философия хозяйства. 2022. № 3.
14. Паутова Л.А. Стабилизационное сознание: интегративная модель. Омск, 2006.
15. Петухов В.В. Динамика социальных настроений россиян и формирование запроса на перемены // Социологические исследования. 2018. № 11.
16. Петухов В.В., Петухов Р.В. Запрос на перемены: причины актуализации, ключевые слагаемые и потенциальные носители // Политические исследования. 2019. № 5.
17. Петухов В.В. Российская молодежь и ее роль в трансформации общества // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 3.
18. Российское общество и вызовы времени. Кн. 6 / Под ред. М.К. Горшкова, Н.Е. Тихоновой. М., 2022.
19. Русская политическая культура. Взгляд из утопии. Лекция Владислава Суркова. Материалы обсуждения в «Независимой газете». М., 2007.
20. Савин С.Д., Касабуцкая М.С. Национальное самосознание как фактор общественной стабильности и развития // Качество жизни в фокусе междисциплинарных исследований / Отв. ред. Р.Е. Маркин, А.В. Проноза. СПб., 2019.

21. *Савин С.Д.* Противники вакцинации в публичном пространстве российского общества (на основе изучения сетевой публикационной активности) // *Медицина и право в XXI веке*. СПб., 2021.
22. Сингапурское чудо: Ли Куан Ю.М., 2016.
23. *Тихонова Н.Е.* «Негативная стабилизация» и факторы динамики благосостояния населения в посткризисной России // *Социологический журнал*. 2019. Т. 25. № 1.
24. *Троцкий Л.Д.* *Моя жизнь*. М., 2021.
25. *Фукуяма Ф.* *Конец истории и последний человек*. М., 2007.
26. *Шевченко В.Н.* Онтологические константы России как государства-цивилизации в контексте всемирной истории // *Философские науки*. 2019. Т. 62. № 1.
27. *Яницкий О.Н.* О соотношении стабильности и мобильности глобальных систем // *Социологическая наука и социальная практика*. 2017. Т. 5. № 2.
28. *Bookchin M.* *Toward an Ecological Society*. Montreal, 1980.
29. *Zyck S.A., Muggah R.* Preparing stabilization for 21st century security challenges // *Stability: International Journal of Security & Development*. 2015. Vol. 4. No. 1.
30. *Rodman J.* Paradigm change in political science: An ecological // *Perspective American Behavioral Scientist*. 1980. Vol. 24. No. 1.

DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-4-770-786

EDN: HGHPSTU

Stabilization consciousness in the changing Russian society*

S.D. Savin

Institute of Sociology of FCTAS RAS,
Krzhizhanovskogo St., 24/35–5, Moscow, 117218, Russia

(e-mail: ssd_sav@mail.ru)

Abstract. In recent decades, the growing dynamics of social processes requires a new theoretical-methodological approach to the analysis of the mass consciousness reaction to these changes. In what cases are such changes determined by expectations or requests for change, and in what cases do changes determine a reaction to stabilize the social system? How does public opinion strive to maintain or restore stability in the changing world? The complex structure of society as a system predetermines the dynamics of social sentiments, setting the logic of change and highlighting the dominant functions of different spheres of social life in different historical periods. Russian society has entered the political phase of its development — when changes caused by political goal setting affect all other spheres: political involvement, politicization of various aspects of society and of public opinion are increasing. Changes affect the life of the common man, forcing him to choose strategies for the future. However, at the same time, the mass consciousness, conservative by nature, inevitably hopes for quick stabilization. The article is based on the data of the opinion polls conducted by the Center for Comprehensive Social Studies of the Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Research of the Russian Academy of Sciences in 2016–2023 and analyzes the dynamics of public consciousness through its expectations and requests for change and stability. The author emphasizes the contradictory nature of changes

*© S.D. Savin, 2023

The article was submitted on 04.05.2023. The article was accepted on 16.10.2023.

in the Russian society, since the public consciousness was not ready for such a type, depth and pace of changes. There is a clear social segmentation — those who have already accepted changes and those who still try to distance themselves from changes. Stabilization consciousness plays a dual role by appealing to both the past and the future.

Key words: stabilization consciousness; social change; social stability; public consciousness; social tension; Russian society

References

1. Galkin A.A. Politicheskaya stabilnost v gody peremen i potryasenij [Political stability in the years of changes and shocks]. *Vlast*. 2016; 24 (7). (In Russ.).
2. Gorshkov M.K. O sotsialnyh rezultatah postsovetskikh transformatsij [Social outcomes of the post-soviet transformations]. *Sotsiologicheskie Issledovaniya*. 2019; 11. (In Russ.).
3. Drobizheva L.M., Ryzhova S.V. Obshcherossiyskaya identichnost v sotsiologicheskom izmerenii [All-Russian identity in the sociological dimension]. *Vestnik Rossijskoj Natsii*. 2021; 1–2. (In Russ.).
4. Zotova E.S. Rossiya kak tsivilizatsiya i tsivilizatsiya kak Rossiya: sut i khod peremen (obzor diskussii) [Russia as a civilization and a civilization as Russia: The essence and course of changes]. *Filosofiya Khozyajstva*. 2021; 1. (In Russ.).
5. *Istoricheskoe soznanie rossiyan: otsenki proshlogo, pamyat, simvoly (opyt sotsiologicheskogo izmereniya)* [Russians' Historical Consciousness: Assessments of the Past, Memory, Symbols (Sociological Measurement)]. Pod red. M.K. Gorshkova. Moscow; 2022. (In Russ.).
6. *Istoriya teoreticheskoy sotsiologii* [History of Theoretical Sociology]; in 4 vols. Vol. 2. Otv. red. i sost. Yu.N. Davydov. Moscow; 2002. (In Russ.).
7. Latov Yu.V., Latova N.V. “Zapros na peremeny” v sotsiologii i v SMI (pamyati V. V. Petukhova — “izobretatelya” ponyatiya/mema) [“Request for change” in sociology and in the media (In memory of V.V. Petukhov — “inventor” of the concept/meme)]. *Vestnik Instituta Sotsiologii*. 2022; 13 (2S). (In Russ.).
8. Latova N.V. Situatsiya v strane i perspektivy ee razvitiya cherez prizmu obshchestvennogo mneniya v period pandemii [Situation in the country and prospects for its development in the public opinion during the pandemic]. *Sotsiologicheskie Issledovaniya*. 2021; 4. (In Russ.).
9. Lukiyarov F.A. Neozhidanny indikator peremen [An unexpected indicator of change]. *Rossiya v Globalnoj Politike*. 2022; 20 (4). (In Russ.).
10. Narbut N.P., Trotsuk I.V. Mirovospriyatie rossiyskoy molodezhi: patrioticheskie i geopoliticheskie komponenty [Worldview of the Russian youth: Patriotic and geopolitical components]. *Sotsiologicheskaya Nauka i Sotsialnaya Praktika*. 2014; 4. (In Russ.).
11. Narbut N.P., Trotsuk I.V. Sotsialnoe samochuvstvie molodezhi postsotsialisticheskikh stran (na primere Rossii, Kazakhstana i Chekhii): sravnitelny analiz tsennostnykh oriyentatsiy (Chast 1) [The social well-being of the post-socialist countries' youth (on the example of Russia, Kazakhstan and Czech Republic): Comparative analysis of value orientations (Part 1)]. *RUDN Journal of Sociology*. 2018; 18 (1). (In Russ.).
12. Narbut N.P., Trotsuk I.V. Sotsialnoe samochuvstvie molodezhi postsotsialisticheskikh stran (na primere Rossii, Kazakhstana i Chekhii): sravnitelny analiz strakhov, nadezhd i opaseniya (Chast 2) [The social well-being of the post-socialist countries' youth (on the example of Russia, Kazakhstan and Czech Republic): Comparative analysis of fears and hopes (Part 2)]. *RUDN Journal of Sociology*. 2018; 18 (2). (In Russ.).
13. Olejnikov A.A. Tsennosti Rossii kak Russkoj Evrazii, kak pravoslavno-evrazijskoj tsivilizatsii, kak “istoricheskoy Rossii” [Values of Russia as Russian Eurasia, an Orthodox-Eurasian civilization and “historical Russia”]. *Filosofiya Khozyajstva*. 2022; 3. (In Russ.).
14. Pautova L.A. *Stabilizatsionnoe soznanie: integrativnaya model* [Stabilization Consciousness: An Integrative Model]. Omsk; 2006. (In Russ.).

15. Petukhov V.V. Dinamika sotsialnyh nastroyenij rossiyan i formirovanie zaprosa na peremeny [Dynamics of the Russians' social sentiments and a public request for change]. *Sotsiologicheskie Issledovaniya*. 2018; 11. (In Russ.).
16. Petukhov V.V., Petukhov R.V. Zapros na peremeny: prichiny aktualizatsii, klyucheveye slagaemye i potentsialnye nositeli [Request for change: Causes for actualization, key components and potential actors]. *Politicheskie Issledovaniya*. 2019; 5. (In Russ.).
17. Petukhov V.V. Rossijskaya molodezh i ee rol v transformatsii obshchestva [Russian youth and its role in social transformation]. *Monitoring Obshchestvennogo Mneniya: Ekonomicheskie i Sotsialnye Peremeny*. 2020; 3. (In Russ.).
18. *Rossijskoe obshchestvo i vyzovy vremeni. Kn. 6* [Russian Society and Challenges of the Time. Book 6]. Pod red. M.K. Gorshkova, N.E. Tikhonovoj. Moscow; 2022. (In Russ.).
19. *Russkaya politicheskaya kultura. Vzglyad iz utopii. Lektsiya Vladislava Surkova. Materialy obsuzhdeniya v "Nezavisimoy gazete"* [Russian Political Culture. A Look from Utopia. Lecture by Vladislav Surkov. Materials of the Discussion in *Nezavisimaya Gazeta*]. Moscow; 2007. (In Russ.).
20. Savin S.D., Kasabutskaya M.S. Natsionalnoe samosoznanie kak faktor obshchestvennoj stabilnosti i razvitiya [National consciousness as a factor of social stability and development]. *Kachestvo zhizni v fokuse mezhdistsiplinarnyh issledovanij*. Otv. red. R.E. Markin, A.V. Pronoza. Saint Petersburg; 2019. (In Russ.).
21. Savin S.D. Protivniki vaktsinatsii v publicnom prostranstve rossijskogo obshchestva (na osnove izucheniya setевой publikatsionnoj aktivnosti) [Anti-vaxxers in the public sphere of the Russian society (based on the study of network activity)]. *Medsina i pravo v XXI veke*. Saint Petersburg; 2021. (In Russ.).
22. *Singapurskoe chudo: Lee Kuan Yew* [Singapore Miracle: Lee Kuan Yew]. Moscow; 2016. (In Russ.).
23. Tikhonova N.E. "Negativnaya stabilizatsiya" i faktory dinamiki blagosostoyaniya naseleniya v postkrisisnoj Rossii ["Negative stabilization" and factors of social well-being dynamics in post-crisis Russia]. *Sotsiologichesky Zhurnal*. 2019; 25 (1). (In Russ.).
24. Trotsky L.D. *Moya zhizn* [My Life]. Moscow; 2021. (In Russ.).
25. Fukuyama F. *Konets istorii i posledny chelovek* [The End of History and the Last Man]. Moscow; 2007. (In Russ.).
26. Shevchenko V.N. Ontologicheskie konstanty Rossii kak gosudarstva-tsivilizatsii v kontekste vsemirnoj istorii [Ontological constants of Russia as a civilization-state in the world history]. *Filosofskie Nauki*. 2019; 62 (1). (In Russ.).
27. Yanitsky O.N. O sootnoshenii stabilnosti i mobilnosti globalnyh sistem [On the relationship between stability and mobility of global systems]. *Sotsiologicheskaya Nauka i Sotsialnaya Praktika*. 2017; 5 (2). (In Russ.).
28. Bookchin M. *Toward an Ecological Society*. Montreal; 1980.
29. Zyck S.A., Muggah R. Preparing stabilization for 21st century security challenges. *Stability: International Journal of Security & Development*. 2015; 4 (1).
30. Rodman J. Paradigm change in political science: An ecological // *Perspective American Behavioral Scientist*. 1980; 24 (1).



DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-4-787-799

EDN: HKSNAГ

Риск-рефлексивные детерминанты адаптации в условиях угроз: опыт эмпирического исследования*

Д.А. Абгаджав, А.В. Алейников, А.Г. Пинкевич

Санкт-Петербургский государственный университет,
Университетская наб., 7–9, Санкт-Петербург, Россия, 199034

(e-mail: d.abgadzava@spbu.ru; a.alejnikov@spbu.ru; a.pinkevich@spbu.ru)

Аннотация. В статье рассмотрены специфика и роль риск-рефлексий в процессе адаптации к новым современным угрозам и опасностям. По мнению авторов, традиционные стратегии анализа риска частично отражают качественные изменения влияния восприятия угроз риск-потребителями, риск-производителями, риск-бенефициарами и риск-аутсайдерами на их поведение. Авторы подчеркивают важность «господствующего нарратива» рисков в репрезентации их социальной приемлемости/неприемлемости для разных групп интересов. Исходными методологическими положениями выступают предложенное М. Вебером различие «позитивной и негативной привилегированности», теоретические и практические экспликации современных концепций выбора рефлексивных стратегий адаптации к угрозам как критерия жизненного успеха или неудачи, а также перспективные стратегии формирования позитивной или негативной «рисковой» идентичности. В эмпирическом разделе статьи представлены результаты прикладного исследования, проведенного коллективом авторов с использованием оборудования ресурсного центра Научного парка Санкт-Петербургского государственного университета «Социологические и интернет исследования» (всероссийский телефонный опрос и фокус-группы). Качественный подход позволил выявить факторы формирования отношения к основным угрозам и их влияние на возможности контроля и превенции рисков, процессы адаптации и самосохранения. В статье обосновано значение исследовательской программы доверия П. Штомпки как средства снижения неопределенности и нейтрализации риска (базовые основания типизации рефлексивных стратегий избегания неопределенности, влияние на их выбор социально-демографических характеристик риск-потребителей). Анализ эмпирических данных показал, что тиражирование той или иной модели поведения в обществе риска является мобилизационным ресурсом для укрепления политических позиций. «Проваль» в управлении рисками порождает особый тип социальной стратификации – отношения риск-бенефициаров и риск-аутсайдеров, обладающих в ситуации угрозы специфическими интересами, возможностями и границами реализации своих стратегий адаптации.

Ключевые слова: риски; угрозы; риск-рефлексия; адаптация к риску; риск-потребители; стратегии адаптации

*© Абгаджав Д.А., Алейников А.В., Пинкевич А.Г., 2023

Статья поступила 13.02.2023 г. Статья принята к публикации 26.09.2023 г.

Несмотря на актуальность проблематики риск-рефлексий и имеющиеся исследования, в области восприятия рисков [4; 20; 22] наблюдается недостаток работ, посвященных рефлексивным взаимодействиям групп с разными интересами в «поле риска», поиску способов обращения конфликтов во благо [5. С. 331], диагностике стратегий адаптации к угрозам, используемых риск-бенефициарами и риск-аутсайдерами [2]. На теоретическом и эмпирическом уровнях недостаточно изучена тематика отчетливо прослеживаемой политической и идеологической индоктринированности восприятия рисков, определяющей переключение «режимов вовлеченности» [14] в риск. Очевидно, все это артикулирует как проблему тиражирования профанных представлений о существующих рисках, так и проблему оформления «критического случая» – такого состояния «общества риска», когда «производство бедствий и разрушений является доминирующим способом общественного производства, имеющим свои цели, ценности, институты и закономерности» [19. С. 85]. Подобная деформация стратегий адаптации к риску не ведет к усилению контроля угроз и опасностей или оформлению позитивного политического поведения акторов, имеющих собственные представления о виновных в опасностях и их ответственности и потому становящихся политическими агентами влияния в «обществе козлов отпущения» (У. Бек). В таком обществе господствует логика, согласно которой «не опасности виноваты, а те, кто их вскрывает и сеет в обществе беспокойство» [3. С. 37].

Исходный пункт риск-рефлексивного анализа — проблематизация восприятия справедливости «логики распределения риска» [3]. Тем самым открывается продуктивная аналитическая перспектива интеграции в логику риск-рефлексивного анализа концептуального вопроса: «насколько мы уверены, что в повседневной жизни люди столь часто размышляют и обсуждают проблемы справедливости, что прекрасно понимают, о чем идет речь в вопросах, могут отследить уровень справедливости во временной перспективе и применительно к разным социальным аспектам, единообразно понимают критерии справедливости и дают им “объективные” (компетентные) оценки?» [15. С. 220]. Особенно важно, что «рискологическое» измерение — необходимый элемент социальной жизни, а индивидуальные и коллективные риск-рефлексии вплетены в политические импликации проектирования системы рациональных управленческих действий, обеспечивающих усиление функциональности превенции и распределения угроз. В пользу подобной аналитической оптики говорит и то, что в сфере принятия политических решений в ситуации риска «нет готовых предписаний; необходимость в мышлении возникает в иррациональной среде, так как в ней отсутствуют готовые языки, значения и модели» [16. С. 61]. Соответственно, риск-рефлексии формируют контуры предпочтений, оценок и представлений о приемлемом уровне угроз и возможных сценариях адаптивного поведения [9], в том числе под воздействием других акторов.

Как правило, исследователи справедливо указывают, что «отдельные лица или социальные/культурные группы реагируют в соответствии со своим восприятием риска, а не в соответствии с объективным уровнем риска или научной оценкой риска» [24. С. 694]. Каждый риск-потребитель определенным образом адаптируется к рискам, и на формирование механизмов/способов адаптации влияют как характеристики риск-потребителей, так и факторы внешней среды и модели, существующие в обществе. Согласно современной рискологии, субъект на основании оценки не только вероятности риска, но и уязвимости от риска, относит его к одной из трех категорий – приемлем, приемлем при конкретных условиях или неприемлем — и определяет конкретный способ взаимодействия с риском, адаптируясь к нему. На оценку уязвимости от риска влияет множество факторов, в том числе «объект» уязвимости — ты сам, твоя семья, общность, окружающая среда и т.д. [11; 17]. Важно, чтобы выделение факторов риск-рефлексий и анализ адаптации к рискам были основаны не только на теоретических выкладках или опыте зарубежных исследователей, но и на эмпирических данных, собранных в России с использованием разнообразных методик. Несмотря на имеющиеся разработки, ряд вопросов, значимых для осмысления влияния восприятия рисков с фокусом на роли риск-рефлексий в выборе адаптивных стратегий поведения в условиях угроз, требуют коррекции теоретико-методологических оснований и выхода за рамки традиционных исследовательских стратегий, в чем и состоит цель данной статьи.

Теоретико-методологические возможности изучения риск-рефлексий расширяет предложенное Вебером различие «позитивной и негативной привилегированности», которое активно используется российскими социологами для операционализации шансов и рисков индивидов в различных областях жизни [12]. Данная концептуальная оптика позволяет исследовать выбор рефлексивных стратегий адаптации к угрозам как критерий жизненного успеха или неудачи, поскольку социальная адаптация подразумевает изменение социальных стереотипов, практик, ценностей и способов (ре) конструирования реальности [7. С. 39].

Адаптация к риску — это «решение, суть которого состоит в принятии того способа взаимодействия с риском, который соответствует определенной цели субъекта» [10. С. 33]. Однако способность адаптации к рискам и угрозам связана не только с субъектом — она может быть неким свойством общества, системы, которая с неизбежностью продуцирует, как писал Н. Луман [8], совокупность практик и «стратегий самосохранения», в которых проявляется нормативное позиционирование в ситуациях опасности и позитивная или негативная «рисковая» идентичность, конфликт акторов разных интерпретаций угроз, а также практик и технологий доминирования той или иной модели поведения в обществе риска, тиражирование которых является мобилизационным ресурсом для укрепления политических позиций.

Рассмотренная совокупность трактовок роли риск-рефлексий в адаптации к угрозам стала концептуальным и методологическим основанием проведенного в 2019 и 2021 годах эмпирического исследования. Его первый этап был проведен в ноябре 2019 года посредством всероссийского телефонного опроса — для выявления рисков, актуальных для жителей России [1]. Опрос был проведен до начала специальной военной операции, поэтому как фактор риска она не рассматривалась. Репрезентативная многоступенчатая выборка составила 1620 человек в возрасте старше 18 лет, проживающих во всех регионах России; контроль квот проводился по полу, возрасту и месту жительства. По итогам анализа опросных данных был составлен перечень основных угроз, существующих в жизни опрошенных, и этот перечень лег в основу сценария фокус-групп. Выбор метода фокус-групп объясняется необходимостью получения глубокой информации, в частности о восприятии угроз и рисков и адаптации к ним. Второй этап исследования был проведен в мае 2021 года в Санкт-Петербурге — 10 фокус-групп (62 участника, средняя продолжительность дискуссии — 1,5 часа, общая продолжительность всех фокус-групп — около 12 часов).

Поскольку всероссийский опрос показал, что на восприятие рисков оказывают влияние такие характеристики респондентов, как возраст, образование и занятость, они учитывались при рекрутинге участников фокус-групп. Соответственно, были проведены следующие фокус-группы: половозрастная (мужчины, женщины и смешанные; молодежь, средний возраст, старший возраст) — 4 группы; группа с наличием или отсутствием занятости у участников — 3 группы; группа с разным уровнем образования (среднее, среднее профессиональное, высшее) — 3 группы. При рекрутинге обязательными условиями были постоянное проживание в Санкт-Петербурге и отсутствие профессионального отношения к проведению прикладных исследований.

По итогам всероссийского опроса были определены угрозы, волнующие жителей России, и наиболее актуальные из них (Рис.1). В сценарий фокус-групп также попала пандемия — как одна из основных угроз на тот период. Обсудить за время фокус-группы все обозначенные проблемы не представлялось возможным, поэтому перечень основных проблем и рисков выглядел следующим образом: пандемия и потеря работы; рост социальной напряженности, неравенства между людьми; произвол властей, беззаконие; обострение конфликтов между Россией и другими странами, опасность начала военных действий; экологическая проблема. Традиционно обсуждение проблем в сценарии было выстроено по одному шаблону и подразумевало разные аспекты, среди которых приоритетны: актуальность для конкретного участника и членов его семьи; острота восприятия; возможность контроля рисков и минимизация их последствий; равенство людей перед рисками и угрозами.

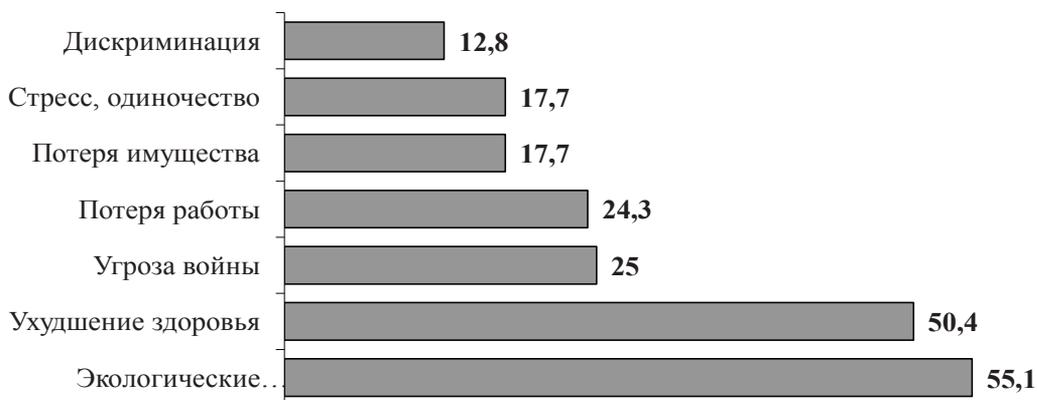


Рис. 1. Оценка реальных угроз (в %)

Анализ материалов фокус-групп показал, что уровень информированности людей о рисках, которые связаны с конкретной угрозой, и способах их преодоления влияет на их актуальность. Так, многие ощущали пандемию более остро в первую волну: *«Сейчас уже меньше беспокоит, а когда все это только случилось, то, я думаю, что это было всем непривычно»*. В данном случае к моменту исследования (май 2021 года) появилось больше информации о рисках, связанных с угрозой пандемии. Дополнительным фактором была профессиональная принадлежность: так, врачи зачастую обладали большими объемами информации, и их наличие в семье несколько меняло ситуацию с информированностью: *«У меня мама врач, и я знакома с этим. Я отношусь к этому как к варианту гриппа, только в более тяжелой форме. Люди справятся»*.

Острота угрозы ниже, когда риски, непосредственно связанные с ней, не коснулись человека лично или членов его семьи. Например, в случае с угрозой коронавируса участников фокус-групп в большей степени беспокоили социально-экономические последствия пандемии и карантинных мероприятий: *«Понятное дело, что не может не волновать, но в личном плане, здоровья меня и моей семьи не коснулось. Адекватность мер, которые принимаются для борьбы с коронавирусом, больше волнует»*. Чем меньше влияние коронавируса на разные аспекты жизни человека и его ближайшего окружения, тем меньшая обеспокоенность наблюдается в связи с данной проблемой: *«Если честно, в повседневности меня это не беспокоит, потому что онлайн учеба мне дала возможность дополнительно свободное время распределять»*. То же самое касается проблемы социального неравенства и напряженности: люди могут осознавать ее, но, не сталкиваясь лично с рисками, не актуализируют их, а лишь оценивают вероятность.

Острота восприятия проблемы подвержена влиянию социально-демографических характеристик, прежде всего возраста и дохода. Так, в условиях пандемии молодежь преимущественно боялась за жизнь старших членов семьи и знакомых, а не за свою — *«У меня в семье умерла пара человек. Сильно это волнует»*; также молодежь беспокоили карантинные ограничения: *«Планировали в 2020 году съездить в Казахстан к моей семье, но из-за пандемии поездка отменилась»*. Старшее поколение ощущало угрозу достаточно остро: с одной стороны, находилось в зоне повышенного риска — *«социально ты ограничен — и свобода, и угроза здоровью»*, с другой стороны, опасалось неквалифицированной работы ответственных структур.

Достаточно сильно влияет на восприятие рисков и материальное положение. Наличие в распоряжении человека ресурсов, в том числе финансовых, гарантирующих привычный уровень и качество жизни, позволяет воспринимать экономические сложности и опасность потери работы спокойнее. Сложнее приходится людям, у которых нет «подушки безопасности»: *«Люди, у которых не было, например, финансовой подушки безопасности, вообще хоть каких-то накоплений, остались практически ни с чем, а это очень страшно»*. Многие участники говорили, что эта ситуация формирует у людей представление, что теперь они сами за себя ответственны, и никто другой им не поможет — ни работодатель, ни государство: *«Выросло такое понимание, что ты сам можешь как-то выбраться и никто тебе не поможет, в итоге все оказались в ситуации, когда только ты сам можешь выплыть или утонуть»*. Эта ситуация воспринимается как неправильная, несправедливая — государство обязано оказывать помощь и поддерживать своих граждан. Особую остроту риски обретают, когда человек несет ответственность за других людей, в частности обеспечивая свою семью, пожилых родственников.

Значимость рисков связана и с долгосрочностью их последствий: риски, нежелательные последствия которых могут проявиться в ближайшей перспективе, оцениваются как более актуальные, чем те, чьи последствия наступят не скоро: *«Экологическая проблема не самая важная на данный момент. Эта проблема возникает, когда общество уже живет в достойных условиях. Понимаете, мне 32, я не женат, у меня детей нет — меня экология не очень волнует сейчас»*. На важность рисков такого рода обращают внимание участники, для которых характерны: активная гражданская позиция; высокий уровень экологического воспитания и понимание влияния нарушений экологии на жизнь планеты; наличие детей и осознание, что им придется жить в ухудшающейся экологической ситуации; личный опыт столкновения с серьезными экологическими катастрофами или попытками экологических нарушений.

Влияние рисков на риск-потребителей может иметь разный характер, поэтому не все риск-потребители оказываются в равном положении. Так,

участники фокус-групп уточнили, что люди были в равном положении перед рисками коронавируса, но не в отношении возможностей справиться с ним: *«Одно дело — когда ты в квартире сидишь в изоляции и никуда не выйти, это же умереть можно, а совсем другое — если у тебя особняк и гуляй не хочу. Да и палату отдельную с ИВЛ и лекарства можешь себе позволить. Страшно представить, что происходит в каких-нибудь деревнях на Дальнем Востоке»; «На мне карантин в принципе как сказался: у меня младший брат, который учится в пятом классе, и младшая сестра, которая в садике. Папа работает преподавателем, мама работает в типографии, и мы все сидели дома. У нас два компьютера, и их просто не хватало, потому что брат учится дистанционно, папа преподает дистанционно, я учусь дистанционно. Все дистанционно, сестре нужны мультики, маме нужна база типографии... Мы все ругались, нам было тяжело в одном помещении».*

Здесь можно выделить ряд факторов, определяющих возможности адаптации к риску: сфера занятости; психологический склад; уровень материального благополучия (в том числе качество жилья); менталитет; размер населенного пункта; возраст. Что касается сферы занятости, то можно привести пример, связанный с первой волной пандемии — когда работникам государственного сектора была обеспечена стабильная зарплата: *«Например, у меня есть знакомые, которые работают в госсекторе и в администрации... Им платили полные зарплаты и надбавки за коронавирус... Получается их финансовая составляющая никак не пострадала. А если говорить, например, о частных компаниях и людях, которые занимаются фрилансом или работают в некоммерческом секторе, то конечно их это коснулось больше, чем госслужащих»; «Я работаю на предприятии, связанном с госзаказом, и, прямо скажем, с зарплатой все было в порядке, совершенно не коснулись сложности».* Определенную степень стабильности позволила сохранить дистанционная форма занятости: *«Вы понимаете, а мне даже лучше стало — я бизнес свой открыл, дистанционно начал работать, и у меня знакомые есть в такой же ситуации».* В отдельных случаях дистанционная форма занятости даже позволила увеличить заработки, тогда как работа в сфере здравоохранения увеличивала риск заражения.

С точки зрения психологического склада, как подчеркнули участники, интроверты и экстраверты по-разному воспринимают вынужденную изоляцию и сокращение социальных контактов, которые были свойственны периоду наиболее активной борьбы с пандемией: *«У меня муж был счастлив, сидел себе дома, работал, а я через месяц уже на стенку лезть начала, не могу в закрытом пространстве и без реального общения столько сидеть».*

Наличие достаточных средств позволяло приобретать лекарства, обращаться к платным специалистам, оплачивать при необходимости лечение. Качество жилья стало одним из важнейших факторов в карантинных мерах: *«Понятное дело, что все одинаково во время самоизоляции должны си-*

деть дома, но люди, у которых у каждого своя комната, а в России далеко не у каждого есть своя комната, оказались в гораздо более выигрышной позиции».

Менталитет оказывает влияние на то, насколько четко исполняются распоряжения властей. По мнению участников фокус-групп, российскому населению не свойственна подобная исполнительность: *«Люди думают только о себе... у нас не выработана гражданская дисциплина».*

Размер населенного пункта влиял на ситуацию противоречиво: с одной стороны, в мелких населенных пунктах была ниже вероятность заразиться, с другой стороны, качество и возможности оказания медицинской помощи могли быть на низком уровне: *«В деревнях меньше болеют. Вот есть деревни, где вообще люди не выезжают. Возможно, их не коснулось, возможно, у них иммунитет крепче, чем наш».*

Восприятие угрозы подвержено влиянию субъективных и объективных аспектов. Так, участники фокус-группы считают, что риски и угрозы, связанные с коронавирусом, содержат объективный компонент — развитие вируса — и субъективный — поведение человека, общества и государства. Объективный характер предполагает, что нет конкретных виновников в появлении угрозы: *«Я считаю, что никто в этом не виноват, от этого никто не застрахован. Различные болезни мутируют, со временем появляются какие-то новые».* Субъективный компонент прослеживается в работе с рисками, исходящими от данной угрозы: с одной стороны, ответственность возлагается на разных акторов, с другой стороны, возможна выработка мер по контролю над рисками или попытка минимизировать их негативные последствия.

Индивиды, общество и государство в разной степени могут контролировать угрозы и риски, что связано, в том числе, с адаптацией к рискам. Так, участники фокус-групп придерживаются мнения, что лично не могут повлиять на определенную угрозу, например, на международные отношения — это область взаимодействия и ответственности государств и их лидеров: *«Здесь не нашего уровня дело... это уровень дипломатов и руководителей стран, вся эта внешняя политика».* Но есть проблемы, где и отдельные индивиды, не облеченные властью, в состоянии влиять на ситуацию. По мнению П. Штомпки, доверие — средство снижения неопределенности и нейтрализации риска. По мере расширения социальных контактов увеличивается «риск, что партнеры предпримут действия, которые не всегда окажутся выгодными для нас, а, напротив, могут принести нам вред» [18. С. 326]. Доверие или недоверие влияют на наши действия и восприятие действительности, и формируют некие установки по отношению к другим людям и рискам. Участники фокус-групп полагают, что в чрезвычайных ситуациях, даже в условиях нехватки информации, у государства должны быть алгоритмы действия, чтобы не допустить хаоса.

В поколенческом измерении различается восприятие возможности оказывать влияние на риски, контролировать их отдельные моменты. Так молодежь и среднее поколение в большей степени верят в так называемую «теорию малых дел» — что действия конкретного человека могут привести к положительным изменениям: *«Понимаете, начать надо. Кто-то должен показать пример, а когда мы надеемся, что кто-то что-то сделает, то никто не сделает»*. Человек может обращаться к муниципальным депутатам и пресекать нарушения, которые видит. Другой вариант — привлечения внимания властей и людей к проблеме: *«Если не говорить о проблемах, которые тебя волнуют, то кто и как может догадаться о том, что тебя это волнует»*. При этом уровень контроля ситуации зависит от уровня образования — необходимо понимание того, что происходит. Старшее поколение в большинстве своем уверено, что на ситуацию повлиять нельзя: *«Я не верю, что чиновники нас услышат, нет смысла даже начинать»*.

По мнению участников фокус-групп, можно минимизировать экологические риски личным участием и собственным поведением, но только на локальном уровне, поскольку существуют угрозы, которые невозможно устранить полностью, — только минимизировать. Многие участники утверждали, что нашему обществу свойственно создание механизмов работы с рисками — осуществление разных инициатив, поиск альтернативных решений. В целом рефлексия, контроль и управление рисками на индивидуальном и государственном уровнях отвечают требованию восприятия рисков как сложных и непредсказуемых угроз, как «сложного смыслового контейнера» [13. С. 34].

В процессе адаптации к новым рискам происходят сдвиги не только в поведении, но и в ценностной структуре общества. Вместе с тем наблюдаются и реактивные адаптационные стратегии к угрозам, отсутствие уверенности в эффективности своих действий в ситуации риска и долгосрочного планирования своих жизненных траекторий. Риск-рефлексивность концентрируется на краткосрочных личных и «близких» насущных проблемах материальной и физической безопасности. Негативное напряжение, адаптационная «разрядка», «высвобождающая чувство враждебности» (в терминологии Зиммеля-Козера), наблюдается в основном на уровне коммуникации со своим социальным окружением (семья, коллеги, знакомые) и не оказывает существенного влияния на социально-политическую стабильность. Так, на уровне близкого социального окружения мы фиксируем более активные стратегии преодоления негативных последствий угроз и опасностей – стремление к расширению социальной поддержки за счет ресурсов «ближнего круга», коллективная мобилизация риск-рефлексивности за счет семейного переосмысления рискового поведения, повышения уровня совместного управления рисками и минимизации их последствий для себя и близких.

Иными словами, риск — феномен, вырастающий не только из объективных оснований, но и из различных идей и дискурсов, институци-

ональных систем и властных отношений, определяющих значимость потенциальной угрозы. По сути, явление рассматривается обществом как риск не только в силу присущих ему качеств, но и по причине его интерпретации как риска [21. С. 19], поэтому наблюдается рутинизация угроз и опасностей, потенциальные, реальные и мнимые риски рационализируются. Как отметил Л. Козер, в риск-рефлексии «хотя выражение враждебности имеет место, структура отношений как таковых остается неизменной... Так что выражение враждебности в отличие от конфликта может даже приветствоваться властью», [6. С.65], что снижает градус социальной напряженности. Однако управленческие стратегические риск-провалы чреваты деструктивными ситуациями: в одном случае, в условиях ощущения незащищенности, смятения и неуверенности акторы переносят свои враждебные чувства на более безобидные мишени; в другом случае атрибутирование конкретной угрозе явной преднамеренности ведет к поиску врага, стремящегося нанести вред. В обоих случаях речь идет о реакции акторов, которая может породить острый социальный конфликт.

Знание риска и элиминация его негативных последствий требуют использования власти: политика определяет, на чем следует фокусировать внимание сообществу, на какие угрозы следует выделять ресурсы, как следует обсуждать и понимать проблемы и, в конечном счете, как следует управлять ими. Риск-рефлексия позволяет осмыслить проблему таким образом, что управление воспринимаемой опасностью может обрести черты практически осуществимой и работоспособной стратегии. Выбор предпочтительной стратегии на риск-рефлексивной основе диктуется не только величиной возможного ущерба, но общей оценкой контекста риска — физических и нефизических последствий, соотношения социального и индивидуального рисков, трактовки справедливости, распределения рисков (бед) и личного контроля. В целом зафиксирован разрозненный арсенал дискурсивных субстратегий адаптации к рискам — от апелляции к авторитетному мнению политиков или экспертов, традициям или мнению большинства до формулирования моральных оценок, политических требований или абстрагирования и самозащиты [25]. По этой причине один из ключевых факторов в восприятии рисков — доверие: если информанты заслуживают доверия, то акторы готовы к распределению рисков и выгод и нахождению компромисса, в обратном случае, при отсутствии или подрыве доверия, выдвигаются требования «нулевого риска» и актуализируется конфликтный дискурс [23].

Информация о финансировании

Исследование выполнено за счет гранта РФФИ. Проект № 19-18-00115.

Библиографический список

1. Алейников А.В., Артемов Г.П., Пинкевич А.Г. Риск-рефлексии как фактор выбора форм политического участия (по итогам всероссийского опроса) // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2020. Т. 20. № 4.
2. Алейников А.В., Стребков А.И., Милецкий В.П. Конфликтный потенциал риск-рефлексий: концептуальные построения и исследовательские проблемы современной аналитики // Вестник Санкт-Петербургского университета. Философия и конфликтология. 2023. Т. 39. Вып. 3.
3. Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М., 2000.
4. Гаврилов К.А. Социология восприятия риска: опыт реконструкции ключевых подходов. М., 2009
5. Ильин М.В. Слова и смыслы. Опыт описания ключевых политических понятий. М. 1997.
6. Козер Л. Функции социального конфликта М, 2000.
7. Корель Л.В. Социология адаптаций: Вопросы теории, методологии и методики. Новосибирск, 2005.
8. Луман Н. Социальные системы. Очерк общей теории. СПб., 2007.
9. Модели управления конфликтами и рисками. Воронеж, 2008.
10. Мозговая А.В. Стратегии адаптации к различным типам рисков // Социологическая наука и социальная практика. 2020. Т. 8. № 3.
11. Мозговая А.В., Шлыкова Е.В. Значимость субъективных оценок безопасности в оптимизации процессов адаптации к рискогенной среде // Россия реформирующаяся: ежегодник. Вып. 20. М., 2022.
12. Общество неравных возможностей: социальная структура современной России. М., 2022.
13. Рягин Ю.И. Формула риска. Екатеринбург, 2012.
14. Тевено Л. Креативные конфигурации в гуманитарных науках и фигурации социальной общности // НЛО. 2006. № 77.
15. Троцук И. Справедливость в социологическом дискурсе: семантические, эмпирические, исторические и концептуальные поиски // Социологическое обозрение. 2019. № 1.
16. Чернова Е.Б. Социологическое исследование политического мышления в ситуациях территориального планирования // Социология власти. 2014. № 4.
17. Шлыкова Е.В. Субъективные факторы готовности к риску в контексте адаптации к бифуркационной среде // Социологическая наука и социальная практика. 2022. Т. 10. № 4.
18. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. М., 2005.
19. Яницкий О.Н. «Критический случай»: социальный порядок в «обществе риска» // Социологическое обозрение. 2002. № 2.
20. Bodemer N., Gaissmaier W. Risk perception // Sage Handbook of Risk Communication / Ed. by H. Cho, T. Reimer, K. McComas. Los Angeles, 2015.
21. Bolton M. Technocratic responses to the politicization of risk: Underwater munitions in New York City's Gravesend Bay and narrows // Marine Technology Society Journal. 2012. No. 1.
22. Slovic P. The Perception of Risk. London, 2000.
23. Stern M.J., Coleman K.J. The multidimensionality of trust: Applications in collaborative natural resource management // Society & Natural Resources. 2015. No. 2.
24. Unger R. False Necessity. Antinecessitarian Social Theory in the Service of Radical Democracy. Cambridge, 1987.
25. Van Leeuwen T. Discourse and Practice: New Tools for Critical Discourse Analysis. Oxford, 2008.

Risk-reflexive determinants of adaptation under threats: An empirical study*

D.A. Abgadzava, A.V. Aleinikov, A.G. Pinkevich

Saint-Petersburg State University,
Universitetskaya Nab., 7–9, Saint-Petersburg, Russia, 199034

(e-mail: d.abgadzava@spbu.ru; a.alejnikov@spbu.ru; a.pinkevich@spbu.ru)

Abstract. The article considers the specifics and role of risk reflections in the adaptation to new threats and dangers in the contemporary realities. The authors argue that traditional risk-analysis strategies partially reflect the qualitative changes in the impact of the perception of threats by risk consumers, risk producers, risk beneficiaries and risk outsiders on their behavior. The authors emphasize the importance of analyzing the ‘dominant narrative’ of risks for assessing their social acceptability/unacceptability for various interest groups. The initial methodological provisions of the article are the distinction between “positive and negative privilege” proposed by M. Weber, theoretical and practical explications of the contemporary concepts of choosing reflexive strategies for adapting to threats as a criterion for success or failure in life, and promising strategies for the formation of a positive or negative ‘risk’ identity. The empirical section of the article presents the results of the applied research conducted by the authors on the equipment of the Resource Center of the Science Park of the Saint Petersburg State University “Sociological and Internet Studies” (all-Russian telephone survey and focus groups). The authors conducted qualitative analysis to identify factors affecting the attitudes towards main threats and their influence on the ability to control and prevent risks and on the processes of adaptation and self-preservation. The article stresses the importance of P. Sztompka research program of trust as a means of reducing uncertainty and neutralizing risks (grounds for classifying reflexive strategies for avoiding uncertainty, influence of individual social-demographic characteristics of risk consumers on their choice). The analysis of the empirical data showed that the spread of one or another model of behavior in the risk society is a mobilization resource for strengthening political positions. Therefore, ‘failures’ in risk management determine a special type of social stratification — relationship of risk beneficiaries and risk outsiders, who have specific interests, opportunities and limitations of their adaptation strategies in a situation of threat.

Key words: risks; threats; risk reflection; risk adaptation; risk consumers; adaptation strategies

Funding

The research was supported by the Russian Science Foundation. Project No. 19-18-00115.

References

1. Aleinikov A.V., Artemov G.P., Pinkevich A.G. Risk-refleksii kak faktor vybora form politicheskogo uchastija (po itogam vsrossijskogo oprosa) [Risk reflections as a factor for choosing forms of political participation (results of the all-Russian survey)]. *RUDN Journal of Sociology*. 2020; 20 (4). (In Russ.).
2. Aleinikov A.V., Strebkov A.I., Miletsky V.P. Konfliktny potentsial risk-refleksij: kontseptualnye postroenija i issledovatel'skie problemy sovremennoj analitiki [Risk-reflections’ conflict potential: Conceptual models and research issues of the contemporary analytics]. *Bulletin of Saint Petersburg University. Philosophy and Conflict Studies*. 2023; 39 (3). (In Russ.).

*© D.A. Abgadzava, A.V. Aleinikov, A.G. Pinkevich, 2023

The article was submitted on 13.02.2023. The article was accepted on 26.09.2023.

3. Beck U. *Obshchestvo riska. Na puti k drugomu modernu* [Risk Society. Towards a New Modernity]. Moscow; 2000. (In Russ.).
4. Gavrilov K.A. *Sotsiologiya vospriyatiya riska: opyt rekonstruktsii klyuchevykh podkhodov* [Sociology of Risk Perception: A Reconstruction of Key Approaches]. Moscow; 2009. (In Russ.).
5. Ilyin M.V. *Slova i smysly. Opyt opisaniya ključevykh politicheskikh ponjatij* [Words and Meanings. A Description of Key Political Concepts]. Moscow; 1997. (In Russ.).
6. Coser L. *Funktsii sotsialnogo konflikta* [The Functions of Social Conflict]. Moscow; 2000. (In Russ.).
7. Korel L.V. *Sotsiologija adaptatsij: Voprosy teorii, metodologii i metodiki* [Sociology of Adaptation: Issues of Theory, Methodology and Techniques]. Novosibirsk; 2005. (In Russ.).
8. Luhmann N. *Sotsialnye sistemy. Oчерk obshhej teorii* [Social Systems. Outline of the General Theory]. Saint Petersburg; 2007. (In Russ.).
9. *Modeli upravlenija konfliktami i riskami* [Models of Conflict and Risk Management]. Voronezh; 2008. (In Russ.).
10. Mozgovaya A.V. Strategii adaptatsii k razlichnym tipam riskov [Adaptive strategies for different kinds of risk]. *Sotsiologicheskaja Nauka i Sotsialnaja Praktika*. 2020; 8 (3). (In Russ.).
11. Mozgovaya A.V., Shlykova E.V. Znachimost sub`ektivnykh otsanok bezopasnosti v optimizatsii protsessov adaptatsii k riskogennoj srede [Significance of the safety subjective estimates for the optimization of adaptation to risk environment]. *Rossija reformiruyushchajasja: Ezhegodnik*. 2022; 20. (In Russ.).
12. *Obshchestvo neravnykh vozmozhnostej: sotsialnaja struktura sovremennoj Rossii* [Society of Unequal Opportunities: Social Structure of Contemporary Russia]. Moscow; 2022. (In Russ.).
13. Ryagin Yu.I. *Formula riska* [Risk Formula]. Ekaterinburg; 2012. (In Russ.).
14. Thévenot L. Kreativnye konfiguratsii v gumanitarnykh naukah i figuratsii sotsialnoj obshhnosti [Creative configurations in humanities and social community figurations]. *NLO*. 2006; 77. (In Russ.).
15. Trotsuk I. Spravedlivost v sotsiologicheskom diskurse: semanticheskie, empiricheskie, istoricheskie i kontseptualnye poiski [Justice in sociological discourse: Semantic, empirical, historical, and conceptual challenges]. *Russian Sociological Review*. 2019; 18 (1). (In Russ.).
16. Chernova E.B. Sotsiologicheskoe issledovanie politicheskogo myshlenija v situatsijah territorialnogo planirovanija [Sociological study of political thinking in urban planning]. *Sotsiologija Vlasti*. 2014; 4. (In Russ.).
17. Shlykova E.V. Sub`ektivnye faktory gotovnosti k risku v kontekste adaptatsii k bifurkatsionnoj srede [Subjective factors of risk readiness in the context of adaptation to the bifurcation environment] *Sotsiologicheskaja Nauka i Sotsialnaja Praktika*. 2022; 10 (4). (In Russ.).
18. Sztompka P. *Sotsiologija. Analiz sovremennogo obshchestva* [The Sociology of Social Change]. Moscow; 2005. (In Russ.).
19. Yanitsky O.N. “Kritichesky sluchaj”: sotsialny porjadok v “obshchestve riska” [The “critical case”: Social order in the “risk society”]. *Russian Sociological Review*. 2002; 2. (In Russ.).
20. Bodemer N., Gaissmaier W. Risk perception. *Sage Handbook of Risk Communication*. Ed. by H. Cho, T. Reimer, K. McComas. Los Angeles; 2015.
21. Bolton M. Technocratic responses to the politicization of risk: Underwater munitions in New York City’s Gravesend Bay and narrows. *Marine Technology Society Journal*. 2012; 1.
22. Slovic P. *The Perception of Risk*. London; 2000.
23. Stern M.J., Coleman K.J. The multidimensionality of trust: Applications in collaborative natural resource management. *Society & Natural Resources*. 2015; 2.
24. Unger R. *False Necessity. AntiNecessitarian Social Theory in the Service of Radical Democracy*. Cambridge; 1987.
25. Van Leeuwen T. *Discourse and Practice: New Tools for Critical Discourse Analysis*. Oxford; 2008.



DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-4-800-811

EDN: IDLUVM

Восприятие фейковых новостей студенчеством с разными психологическими характеристиками: результаты методического эксперимента*

Ж.В. Пузанова, Т.И. Ларина, А.А. Старостина

Российский университет дружбы народов,
ул. Миклухо-Макляя, 6, Москва, 117198, Россия

(e-mail: puzanova-zhv@rudn.ru; larina-ti@rudn.ru; starostina-aa@rudn.ru)

Аннотация. Восприятие фейковых новостей в последнее время находится в центре внимания специалистов социогуманитарного профиля ввиду воздействия на поведение людей. Студенчество всегда считалось реактивной силой общества, поэтому вопрос, какие характеристики обуславливают восприятие фейковых новостей студентами, столь актуален. В качестве характеристик в статье выделены уровень эмоционального интеллекта (ЭИ), внушаемость и психотип. Для проверки, как эти характеристики обуславливают восприятие фейковых новостей, Лаборатория социологических и фокус-групповых исследований РУДН в 2022 году провела методический эксперимент в формате фокус-групп. Две группы были рандомизированы по критерию психотипа: одну группу составили участники с высоким ЭИ, вторую — с низким. В группы были отобраны только те студенты, кто считает себя способным отличить фейковую новость от реальной. На обе группы было оказано воздействие в виде фейковых новостей, которые подавались как реальные. Задачей модератора было заставить участников сомневаться, убедить их в реальности новостей. После окончания групповой дискуссии участникам раскрывался замысел эксперимента. Благодаря обсуждению и тесту, которые участники заполняли до и после дискуссии, удалось установить, что ЭИ и психотип слабо влияют на способность отличить фейковую новость от реальной в условиях внешнего воздействия, но высокий ЭИ обуславливает критичность восприятия и способность менять точку зрения, т.е. внушаемость. Логическая аргументация участников зависела от психотипа и уровня ЭИ, однако качество аргументации, скорее всего, зависит от общего уровня эрудированности и образованности. Наши данные отличаются от релевантных исследований зарубежных авторов, но компонент внушения приближает эксперимент к естественным условиям и открывает возможности для разработки программ повышения медиаграмотности студенчества.

Ключевые слова: конформность; психотип; методический эксперимент; фейковые новости; эмоциональный интеллект, фокус-группа

*© Пузанова Ж.В., Ларина Т.И., Старостина А.А., 2023

Статья поступила 07.05.2023 г. Статья принята к публикации 16.10.2023 г.

Нескончаемый поток новостей стал реальностью каждого человека, и появился выбор каналов получения информации. Рост цифровизации меняет социальные практики и уровень доверия: у современного человека возникает вопрос, какому информационному каналу верить, а какому нет? Где более достоверная информация — на телевидении или на YouTube? Следствием роста цифровизации и информатизации стали фейковые новости (fake-news): по данным фактчекинговой платформы «Лапша медиа», в 2022 году по сравнению с 2021 годом количество фейковых новостей выросло в 6 раз [2]. Фейковые новости распространяются быстрее и масштабнее, чем правдивые, поэтому и запоминаются лучше [4]. Потребляя контент, люди с низким уровнем медиаграмотности не всегда способны отличить реальную новость от фейковой: каждый второй россиянин не может отличить достоверную информацию от ложной [5]; фейковые новости не в состоянии распознать даже люди с высшим образованием (исключение — профессионалы в сфере СМИ) [1].

Рост социальной медиасферы привел к тому, что фейковый контент распространился не только в СМИ, но и в социальных сетях и блогосфере, благодаря чему появились разнообразные классификации фейковых новостей. Основываясь на соотношении недостоверной и правдивой информации на единицу контента, выделяют: 1) «новость», представляющую собой ложь от начала до конца; 2) «новость», содержащую ложь на фоне достоверной информации, представленной выборочно; 3) «новость», в основе которой лежит реальное событие, отдельные фрагменты которого искажены [9].

При изучении фейковых новостей большая роль отводится аудитории — ее психологические особенности и личностные характеристики каждого индивида становятся рычагами воздействия при циркуляции фейковых новостей. Чтобы определить, способна ли современная молодежь отличить фейковую новость от реальной и влияет ли на эту способность уровень эмоционального интеллекта и психотип, было проведено социологическое исследование в формате эксперимента с применением метода фокус-групп. Цель — установить, каким образом уровень ЭИ и психотип обуславливают восприимчивость студентов к фейковой информации, для чего были изучены: умение участников фокус-групп отличить фейковые новости от реальных и влияние психологических особенностей на восприятие новостей.

Определим понятия: эмоциональный интеллект — группа ментальных способностей, которые способствуют осознанию и пониманию собственных эмоций и эмоций окружающих (далее — ЭИ) [13]; психотип — группа однородных по происхождению психологических качеств, основанных на одних и тех же внутренних психических условиях (мы используем синонимичный термин «акцентуация» [7]). Исследование опиралось на похожий проект, реализованный в 2021 году [8]: тогда фоновой темой стали изменения в романтических отношениях и было установлено, что определенный конформизм склонны демонстрировать студенты с тревожным и эмотив-

ным радикалом. Прямой взаимосвязи конформности с уровнем ЭИ не было обнаружено, но было сделано предположение о влиянии уровня эмпатии на конформность. Понятия «конформизм» и «внушаемость» используются в исследовании как синонимы, показывая подверженность смене социальной установки под внешним воздействием.

Первоначально была проведена оценка уровня ЭИ участников фокус-групп на основе теста Шутте [10] и акцентуированных радикалов по опроснику Б.В. Овчинникова и И.В. Тюрпиной [6]. В ходе онлайн-анкетирования были набраны участники фокус-групп с определенной социальной установкой (считающие себя способными отличить фейковую новость от реальной). При помощи стимульного материала и проективных методик (ассоциативные вопросы, видеоматериалы, авторская методика «подсадная утка» и др.) осуществлялось воздействие на установку участников в ходе фокус-группы. По итогам дискуссии была повторно измерена социальная установка относительно способности отличить фейковую новость от реальной, проведено сравнение результатов участников с одинаковыми психотипами и определена разница в степени конформизма между участниками с высоким и низким уровнем ЭИ.

Группы были рандомизированы по двум признакам — ЭИ (высокий и низкий) и психотип (в обеих группах, выделенных на основе ЭИ, по одному представителю каждого радикала — итого по 8 участников) (Табл. 1). Первая группа — студенты с преобладающим низким ЭИ и с выраженной акцентуацией каждого типа, вторая группа — студенты с преобладающим высоким ЭИ и с выраженной акцентуацией каждого типа, которые считают себя способными определить фейковые новости. В качестве новостей группам предъявлялись исключительно фейковые новости, а задачей модератора и «подсадных уток» было убедить участников в том, что новости реальны. Валидизировать переменные позволило индивидуальное тестирование до и после фокус-группы для отслеживания изменений (или их отсутствия) по контрольному вопросу («Считаете ли Вы себя способным отличить фейковые новости от реальных?»), тем самым диагностировалась степень внушаемости: если участник высказывается в группе одним образом, а в индивидуальном тестировании сохраняет свое мнение, то степень внушаемости низка.

Гайд состоял из 4 блоков: вводный; «разогрев» (разговор о современных СМИ, восприятии каналов и типов новостей); «тестирование» реальности новостей и воздействий по изменению мнений (внушение); обсуждение проблемы медиаграмотности и завершение дискуссии. Мы опустим содержательные моменты дискуссии о фейковых новостях и сосредоточимся на тестовой части, где каждая новость демонстрировалась участникам в разных форматах: сначала текст или видео, потом они же, внедренные в формат реальной медийной площадки СМИ (РИА, YouTube и пр.).

Участники фокус-групп

Описание ФГ	Участники (в соответствии с психотипами)
Участники с ЭИ ниже среднего	В — Шизоидный Ж — Астенический Я — Гипертимический А — Гипотимический Д — Эксплозивный Сон — Психастенический Соф — Истероидный
Участники с ЭИ выше среднего	Н — Эксплозивный К — Шизоидный В — Шизоидная Вл — Истероидный Е — Астенический П — Психастенический Л — Истероидный М — Гипертимический

Новость 1: «Медведь-людоед напал на двух мужчин в Коми». Группа с ЭИ ниже среднего ответила, что с этой новостью они не знакомы, и сосредоточилась на ее формулировке. Новость показалась группе скорее недостоверной, так как непонятно, кто был свидетелем происшествия и может подтвердить его достоверность. *«Если он мужчинеу разорвал, а еще одно действующее лицо — медведь, то с чьих слов?»* (психастенический радикал, ЭИ ниже среднего). После демонстрации новости в формате сайта «РИА Новости» мнение не поменялось. Участники уточнили, что и текст, и картинка не внушают доверия. Новость не кажется важной из-за «дальности» действия, незначительности и обыденности. *«Ну, статья написана слишком публицистически, из-за чего есть сомнения, нет конкретики»* (гипотимический радикал, ЭИ ниже среднего).

Участникам с ЭИ выше среднего новость показалась правдоподобной и вызвала активное обсуждение. Однако участники отметили, что подобного рода публикации не вызывают у них интереса — описанная ситуация достаточно обыденна. *«Я эту новость не видел, но судя по тому, что это в Коми... У нас и в Ярославле такое бывает»* (истероидный радикал, ЭИ выше среднего). Участники второй фокус-группы отметили, что новостной повод выглядит непродуманным и случайным, так как отсутствуют доказательства события и процесс расследования его причин. *«Мне кажется, что эта новость сырая, т.е. только узнали — сразу рассказали. Если бы было какое-то интервью, допустим, с родственниками жертв, тогда было бы более понятно, о чем речь. Это просто странный сюжет»* (гипертимический радикал, ЭИ выше среднего).

Новость 2: «Постановление Федерального агентства по туризму об обязательном присвоении QR-кодов туристам, путешествующим по России».

Участники с низким ЭИ сочли эту новость достоверной, и доверие к ней внушает ссылка на источник и официальный стиль. *«Во-первых, тут постановление можно проверить, во-вторых, написано языком, который похож на такой официально-деловой»* (гипертимический радикал, ЭИ ниже среднего). Некоторые участники первой фокус-группы отметили, что слышали эту новость где-то. Далее модератор и «подсадная утка» подтвердили подлинность новости, сказав, что им или их знакомым приходило такое письмо. Это не вызвало подозрений у группы, и один участник даже вспомнил, что также получал данное письмо, что невозможно. На вопрос, стали бы они проверять эту новость, если бы ее прислал друг, участники ответили, что стали бы, если бы это касалось их.

Участники с высоким ЭИ сомневались в достоверности новости, поскольку указанные меры выглядели абсурдными и бессмысленными. Некоторые отметили, что могли бы довериться новости и отправить ее друзьям для совместной борьбы с предложенными ограничениями. *«Я не видел, но я бы сказал, что это какой-то бред полный. Зачем QR-коды в России? ...Я против того, чтобы государство вмешивалось в нашу личную жизнь, я бы был негативно против. Я бы, думаю, отправил эту новость друзьям, чтобы призвать их... какую-то петицию собрать, может быть, что-нибудь сделать, выступить против, потому что по Конституции право граждан — спокойно перемещаться неограниченно по стране»* (истероидный радикал, ЭИ выше среднего). После демонстрации стимульного материала подсадной участник отметил, что ему приходило подобное письмо, и это способствовало убеждению всей группы в его достоверности — снова нашелся участник, который, *«кажется, тоже его получал»* (шизоидный радикал, ЭИ выше среднего).

Новость 3: «С Днем Рождения, Владимир Владимирович: как отметили день рождения Путина во всем мире». Почти все участники с ЭИ ниже среднего согласились с частичной правдивостью новости, однако отметили, что она скорее всего устаревшая. После объявления источников новости (ТАСС и Ruptly) группа отметила, что новость забавная и как маркетинговый ход привлекла внимание к блюду. Такие новости считают развлекательными, поэтому участники не высказывались негативно, а отметили важность эмоционального отклика у читающих новости. *«Скорее всего такое может быть — что пятиэтажный бургер назван в честь Путина, но насчет остального не знаю, мне кажется, что-то придумали»* (гипертимический радикал, ЭИ ниже среднего).

Практически все участники с ЭИ выше среднего отметили, что новость выглядит сфабрикованной — непонятно, почему такая реакция на день рождения Президента России в США. *«А для чего это делают? В честь дня рождения Президента Российской Федерации... в Америке было»* (астенический радикал, ЭИ выше среднего).

Новость 4: «Медиа-холдинг ВГТРК и “Первый канал” будут ретушировать лица людей, чье имя попало в список “иностранных агентов”». Никто из группы с низким уровнем ЭИ не видел эту новость прежде, не все отнеслись к ней с доверием, некоторые отметили бесполезность «нововведения», после показа видео начали сомневаться из-за некорректной ретуши. Беседа стала более оживленная, появились шуточные сравнения. Новость сочли глупостью, даже если она правдива. *«Вряд ли оно как-то особо что-то изменит. Я не совсем понимаю, в каком контексте употреблено слово “отретушировано” — сделаны лучше или замазано/размыто?»* (психастенический радикал, ЭИ ниже среднего). *«Ну я бы перепроверила, но пока что, мне кажется, если я не найду опровержения, то, наверное, поверила бы, но я 100 % полезу проверить, так оно или нет»* (психастенический радикал, ЭИ ниже среднего).

Во второй фокус-группе один из участников отметил, что видел новость в сатирическом новостном издании, но этот факт не привлек внимание участников. Дальнейшие вопросы модератора и демонстрация стимульного материала убедили большую часть группы в достоверности новости, о чем свидетельствует итоговая анкета, в которой участники отмечали правдивость/неправдоподобность увиденного материала. Рассуждая о признаках недостоверности новости, участники указывали на техническую невозможность изменения видеоматериалов. *«Допустим, условно, кто там иноагентами считается, на кого-нибудь наклеят другое лицо — это будет абсолютно странно, они ему еще голос должны будут поменять, все, что с ними связано... Процесс нелегкий на самом деле, и как это должно быть организовано — непонятно. Уже отснято — не выйдет в эфир, больше вообще не будут это показывать, это проще»* (гипертимический радикал, ЭИ выше среднего).

При анализе результатов групп с высоким и низким ЭИ были обнаружены следующие закономерности: участники с высоким ЭИ были более лояльны к новостям и считали их достоверными; участники с высоким ЭИ более критично подходят к информации — обращают внимание на факты, статистику, условия действия, источники информации и их тщательный отбор. Представители данного типа готовы отстаивать свою позицию и аргументировать ее, что позволяет им детально разбираться в ситуации и находить правду в информационных материалах. После фокус-групп 3 участника с высоким ЭИ свое мнение о компетентности в распознавании фейков поменяли (гипертимический, эксплозивный и астенический психотипы). Участники с низким ЭИ более скептически настроены (шизоидный и психастенический типы), склонны примерять ситуации на себя, размышлять о возможности подобных случаев в их повседневной жизни. В то же время в процессе тестирования новостей многие заявляли, что готовы поверить в ситуацию, исходя из описания новости, ее убедительности и соответствия реальности. В числе характеристик, которые важны для определения достоверности новости, участники данного типа назвали наличие доказательной базы, но в процессе

тестирования данный критерий уходил на второй план. Участники с низким ЭИ склонны доверять официальным источникам — государственным порталам и сайтам. Несмотря на то, что у них присутствует внутреннее чувство недоверия новостям, они склонны довериться собеседнику, приводящему настойчивые аргументы. Никто из участников с низким ЭИ не изменил свое мнение о компетентности в распознавании фейковых новостей.

Также были сделаны следующие выводы о психотипах на основе поведения участников дискуссии:

Шизоидный — его представители с опасением относятся к новостям. Для них значим каждый инфоповод и то, какое влияние новости могут оказать на тех, кому они будут отправлены. Представители психотипа уделяют внимание смысловой нагрузке новостей и тщательно подходят к их отбору, поэтому менее склонны к воздействию фейковых новостей, но здесь важны и собственные убеждения.

Эксплозивный — его представители практически не были вовлечены в дискуссию. Трудно сделать вывод об их доверии новостям, но в целом такие участники довольно внушаемы, особенно с низким ЭИ. Количество каналов, на которых представлена новость, может стать для них признаком достоверности информации, т.е. активное внешнее воздействие окажет значительное влияние на представителей данного типа.

Психастенический — его представители внимательно относятся к деталям новостей (источник, качество информации, актуальность, эмоции и смыслы). В случае низкого ЭИ у них отмечается склонность доверять знакомым источникам информации. В целом, представители данного психотипа склонны скептически относиться к новостной повестке, а участники с высоким ЭИ более критически настроены к фактам и причинам возникновения события, указанного в новостях. Вероятно, представители психастенического типа менее подвержены фейковым новостям и внешнему воздействию, так как не будут доверять, пока не убедятся в наличии доказательств.

Гипертимический — его представители были склонны часто менять свое мнение. Они активны в процессе беседы, увлекаются инфоповодами, и внешние факторы могут оказать на них значительное влияние. Их активное участие в беседе может приводить к убеждению других в недоверии информации.

Истероидный — его представители довольно эмоционально воспринимают новости, поэтому активно включаются в обсуждение и аргументируют свою позицию. Сложности с контролем эмоций могут повлиять на внушаемость и подверженность внешним воздействиям, что подтверждается восприятием фейковых новостей в качестве правдивых.

Астенический — его представители не были активны во время дискуссии, не вовлечены в новостную повестку, довольно замкнуты, не отстаивали

свою позицию, стремились избегать негатива. Новости воспринимали скорее равнодушно, для них не имела большого значения достоверность. *«Мне было бы без разницы, если бы я узнала, что это фейк — ну, ожидаемо».*

Результаты опроса участников относительно достоверности (0 баллов) и недостоверности (1 балл) новостей представлены в Таблице 2.

Таблица 2

Оценка своей компетентности в распознавании фейковых новостей до проведения фокус-группы и после

Психотип	В1		В2		В3		В4		Итого Н	Итого В
	Н	В	Н	В	Н	В	Н	В		
Астенический	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Истероидный	1	0	0	0	0	1	1	1	2	2
Психоастенический	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гипертемический	1	1	0	0	0	0	1	1	2	2
Шизоидный	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Эксплозивный	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1
Итого	3	1	0	0	1	1	3	3	7	5

Половина участников с низким ЭИ сочли фейковой новость 1, что гораздо больше, чем в группе с высоким ЭИ, по другим новостям различия не прослеживаются, поскольку, по мнению участников, подобного рода происшествия происходят на регулярной основе. Таким образом, между группами нет различий, обусловленных уровнем ЭИ. Вероятно, новость 1 вызвала различия, поскольку, как отметил один из участников с высоким ЭИ, он ориентировался на мимику и эмоции модератора (это подтвердили и остальные участники), которые были нейтральными и не вызвали сомнений в достоверности новости. Среди психотипов наиболее выделились в контексте определения фейков истероидный (4 балла) и гипертимический (4 балла) радикалы, а обратную ситуацию мы наблюдаем среди участников с психоастеническим психотипом, которые не распознали ни одного фейка. Участники с низким ЭИ были более заинтересованы в беседе после того, как узнали, что все новости оказались фейковыми.

Все участники с низким ЭИ остались при своем мнении относительно своей компетентности в распознавании фейковых новостей; участники с высоким ЭИ, наоборот, в половине случаев свою позицию изменили. Участники со слабой нервной системой (истероиды, астеники) не были

подвержены внушению в большей степени, чем другие психотипы. Так, истероидный тип распознал больше всего фейков по сравнению с другими радикалами. Обладатели низкого ЭИ не оказались более восприимчивы к внушению информации в видео формате. Обе группы в схожей степени оценили стимульный материал видео формата, поскольку данный способ подачи сведений обладает действенным эмоциональным зарядом. Обладатели высокого ЭИ склонны поддаваться внушению текстовой информации. В целом уровень ЭИ влияет на изменение решения в определении себя как компетентного человека в распознавании фейковых новостей. При этом ЭИ не влияет на компетентность в распознавании фейковых новостей — различия в уровне ЭИ и психотипов определяют общее отношение к фейк-ньюс и общий уровень подозрительности. Логическая аргументация в пользу того или иного мнения базируется на психотипе и уровне ЭИ, однако качество этой аргументации, скорее всего, зависит от общего уровня эрудированности и образованности.

Что касается внушаемости участников по конкретным новостям: то новость 1 не вызвала бурной реакции в обеих группах: участники отмечали, что новость достаточно обыденная и задавались вопросом о целесообразности создания подобного фейка, тем более «публицистическим языком». Однако, когда было объявлено, что новость взята с сайта «РИА-новости», часть участников поддалась влиянию. Ситуация с новостью 2 оказалась схожей: до показа стимулирующего материала настроение участников было достаточно скептическим, после показа скриншота и дополнительных стимулов от «утки» часть участников «вспомнила», что получала похожие сообщения, и их уверенность в фейковости новости пошатнулась. Аналогичная ситуация наблюдалась с новостью 3: после предъявления стимулов некоторые участники частично меняли мнение. Один из них назвал это «эффектом Манделы» — человек вспоминает моменты, которых на самом деле не было. В восприятии новости 4 также сработал видео формат: *«Я понимаю, как устроен монтаж видеороликов, и то, как замазано лицо субъекта в видео, — колхозный вариант. Тем не менее, мне показалось, что на первом канале могут халтурить, поэтому счел новость правдивой».*

Таким образом, несмотря на уровень образованности и аргументированное отстаивание своих позиций, специальные стимулы (в первую очередь, ссылки на официальные источники) добавили неуверенности некоторым участникам. Вероятно, если бы таких стимулов не было, общий уровень отрицательных выборов был бы выше. Наши данные противоречат результатам британских исследователей, которые обнаружили, что добровольцы, правильно определившие правдивость или фейковость новостей в социальных сетях в их эксперименте, чаще всего получали высокие

баллы в тестах на ЭИ [12]. Это различие объясняется разными методологиями экспериментов: в зарубежном варианте не проводилось целенаправленное внушение, чтобы изменить мнение, заронить сомнение, поэтому важен вывод о наличии связи между высоким уровнем ЭИ с самокритичностью в части оценки своей компетентности в способности распознавать фейковые новости, причем студенты с высоким ЭИ чаще оказывались более внушаемы во время дискуссии. Эти эмпирические факты объясняют эффективность воздействия фейковых новостей на молодежь — те, у кого развит ЭИ, оказываются более внушаемы за счет наличия большого эмоционального заряда в фейках.

Информация о финансировании

Статья подготовлена в рамках инициативной темы НИР РУДН № 100932-0-000 «Динамика ценностных ориентаций студенческой молодежи в процессе обучения в вузе»

Библиографический список

1. Зуйкина К.Л., Соколова Д.В. Особенности идентификации фейковых новостей молодежной аудиторией // Вестник ТГУ. Филология. 2021. № 71.
2. ИА ТАСС: Количество фейков в сети в 2022 году выросло в шесть раз // URL: <https://tass.ru/obschestvo/16642301>.
3. Ларина Т.И. Сочетание фокус-группового и экспериментального методов в прикладных социологических целях // Дневник наук. 2022. № 9.
4. Медиалогия: Fake news за 2017 и 2018 годы. 2019 // URL: <https://www.mlg.ru/ratings/research/6438>.
5. МИА «Россия Сегодня»: Каждый второй россиянин верит фейковым новостям, заявил глава ВЦИОМ. 2019 // URL: <https://ria.ru/20190626/1555944841.html>.
6. Овчинников Б.В., Тюряпина И.В. Проблема диагностики акцентуаций личности: опросник акцентуированных радикалов // Вестник ЮУрГУ. Серия: Психология. 2016. Т. 9. № 1.
7. Пономаренко В.В. Практическая характерология. Методика 7 радикалов. М., 2019.
8. Пузанова Ж.В., Ларина Т.И., Гудкова Я.А. Диагностика уровня конформности студенческой молодежи (результаты методического эксперимента) // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2022. Т. 22. № 3.
9. Суходолов А.П., Бычкова А.М. «Фейковые новости» как феномен современного медиасредства: понятия, виды, назначение, меры противодействия // Вопросы теории и практики журналистики. 2017. Т. 6. № 2.
10. Тест эмоционального интеллекта Шутте // URL: <https://psytests.org/emotional/schutte.html>.
11. Троцук И. Дискурсивное конструирование социальной реальности: концептуальные основания и эмпирические приемы разоблачения «скверных» практик // Социологическое обозрение. 2014. Т. 13. № 2.
12. Троцук И.В., Ильина В.В. Поиск скрытых смыслов как инструмент оценки эффективности социальной рекламы: апробация методического подхода // Коммуникология. 2020. Т. 8. № 4.
13. Mayer J.D., Di Paolo M., Salovey P. Perceiving affective content in ambiguous visual stimuli: A component of emotional intelligence // Journal of Personality Assessment. 1990. Vol. 54. No. 3, 4.
14. Preston S., Anderson A., Robertson D.J., Shephard M.P., Huhe N. Detecting fake news on Facebook: The role of emotional intelligence // PLoS One. 2021. Vol. 16. No. 3.

Perception of fake news by students with different psychological characteristics: Results of the methodological experiment*

Zh.V. Puzanova, T.I. Larina, A.A. Starostina

RUDN University,
Miklukho-Maklaya St., 6, Moscow, 117198, Russia

(e-mail: puzanova-zhv@rudn.ru; larina-ti@rudn.ru; starostina-aa@rudn.ru)

Abstract. The perception of fake news has become the focus of social-humanitarian research as affecting people's behavior. Students have always been a reactive force of society, so the question of what characteristics determine students' perception of fake news is quite relevant. The authors consider as such characteristics the level of emotional intelligence (EI), suggestibility and psychotype. To check how these characteristics determine the perception of fake news, the Laboratory of Sociological and Focus Group Research of the RUDN University conducted a methodological experiment with the focus group method in 2022. Two groups were randomized according to the psychotype: the first group consisted of participants with a high level of EI, the second group — with a low level of EI. The groups included only those students who considered themselves capable of distinguishing fake news from real situations. Both groups watched videos that presented fake news as real. The moderator was to make participants doubt, to convince them of the reality of the news. After the group discussion, the design of the experiment was revealed to its participants. The discussion and tests before and after the discussion allowed to conclude that EI and psychotype weakly affect the capability to identify fake news under external influences, but a high level of EI determines both critical perception and ability to change one's position, i.e. suggestibility. The participants' logical argumentation depends on the psychotype and level of EI, but the quality of the argument seems to depend on the general erudition and education. The authors' findings are consistent with the results of related studies, but the suggestion component of the experiment is close to everyday situations and provides opportunities for developing media literacy programs for students.

Key words: conformity; psychotype; methodological experiment; fake news; emotional intelligence; focus group

Funding

The article was prepared within the framework of the initiative project No. 100932-0-000 "Dynamics of the students' value orientations when studying at the university".

References

1. Zuykina K.L., Sokolova D.V. Osobennosti identifikatsii feykovykh novostey molodezhnoy auditoriey [Features of identification of fake news by the youth audience]. *Vestnik TGU. Filologiya*. 2021; 71. (In Russ.).
2. IA TASS: Kolichestvo feykov v seti v 2022 godu vyroslo v shest raz [In 2022, the number of fakes on the Internet increased sixfold]. URL: <https://tass.ru/obschestvo/16642301>. (In Russ.).

*© Zh.V. Puzanova, T.I. Larina, A.A. Starostina, 2023

The article was submitted on 07.05.2023. The article was accepted on 16.10.2023.

3. Larina T.I. Sochetanie fokus-grupпового i eksperimentalnogo metodov v prikladnykh sotsiologicheskikh tselyakh [A combination of focus group and experiment for applied sociological tasks]. *Dnevnik Nauk*. 2022; 9. (In Russ.).
4. Medialogiya: Fake news za 2017 i 2018 gody [Medialogy: Fake news for 2017 and 2018]. 2019. URL: <https://www.mlg.ru/ratings/research/6438>. (In Russ.).
5. MIA “Rossiya Segodnya”: Kazhdy vtoroy rossiyanin verit feykovym novostyam, zayavil glava WCIOM [MIA “Russia Today”: Every second Russian believes fake news, said the head of WCIOM]. 2019. URL: <https://ria.ru/20190626/1555944841.html>. (In Russ.).
6. Ovchinnikov B.V., Tyuryapina I.V. Problema diagnostiki aktsentuatsiy lichnosti: oprosnik aktsentuirovannykh radikalov [Diagnostics of personality accentuations: Questionnaire of accentuated radicals]. *Vestnik YuUrGU. Seriya: Psikhologiya*. 2016; 9 (1). (In Russ.).
7. Ponomarenko V.V. *Prakticheskaya kharakterologiya. Metodika 7 radikalov* [Practical Characterology. 7 Radicals Technique]. Moscow; 2019. (In Russ.).
8. Puzanova Zh.V., Larina T.I., Gudkova Ya.A. Diagnostika urovnya konformnosti studentcheskoy molodezhi (rezultaty metodicheskogo eksperimenta) [Diagnostics of the students’ level of conformity (Results of the methodological experiment)]. *RUDN Journal of Sociology*. 2022; 22 (3). (In Russ.).
9. Sukhodolov A.P., Bychkova A.M. “Feykovye Novosti” kak fenomen sovremennogo mediaprostranstva: ponyatiya, vidy, naznachenie, mery protivodeystviya [“Fake news” as a phenomenon of the today’s media space: Concepts, types, purpose, countermeasures]. *Voprosy Teorii i Praktiki Zhurnalistiki*. 2017; 6 (2). (In Russ.).
10. Test emotsionalnogo intellekta Schutte [Schutte Emotional Intelligence Test]. URL: <https://psyttests.org/emotional/schutte.html>. (In Russ.).
11. Trotsuk I. Diskursivnoe konstruirovaniye sotsialnoy realnosti: kontseptualnye osnovaniya i empiricheskie priemy razoblacheniya “skvernykh” praktik [Discursive construction of social reality: Conceptual foundations and empirical devices for unmasking the “abominable” practices]. *Russian Sociological Review*. 2014; 13 (2). (In Russ.).
12. Trotsuk I.V., Il’yina V.V. Poisk skrytykh smyslov kak instrument otsenki effektivnosti sotsialnoy reklamy: aprobatsiya metodicheskogo podkhoda [Hidden meanings in evaluation of the social advertising efficiency: A methodological approach]. *Communicology*. 2020; 8 (4). (In Russ.).
13. Mayer J.D., Di Paolo M., Salovey P. Perceiving affective content in ambiguous visual stimuli: A component of emotional intelligence. *Journal of Personality Assessment*. 1990; 54 (3, 4).
14. Preston S., Anderson A., Robertson D.J., Shephard M.P., Huhe N. Detecting fake news on Facebook: The role of emotional intelligence. *PLoS One*. 2021; 16 (3).



DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-4-812-824

EDN: HZHDAV

Подходы к оценке и повышению уровня доступности жилья в России*

Ж.Г. Голодова, П.А. Смирнов

Российский университет дружбы народов,
ул. Миклухо-Маклая, 6, Москва, 117198, Россия

(e-mail: golodova-zhg@rudn.ru; smirnov-pa@rudn.ru)

Аннотация. Повышение качества жизни российских граждан — одна из приоритетных задач социально-экономического развития страны, требующая решения жилищного вопроса, поскольку обеспеченность жильем — одна из базовых потребностей человека. На основе обобщения различных подходов к обеспечению доступности жилья в статье показано, что, наряду с исследованием социально-политических и экономических аспектов, развивается и своего рода социология жилища. На основе результатов социологических опросов раскрыты предпочтения разных групп населения (родителей, имеющих детей, и молодежи) в обеспечении жильем. В частности, 70 % населения готовы использовать ипотечные кредиты для решения жилищного вопроса. Наблюдается своеобразный парадокс: на фоне нереализуемости 66 % построенного многоквартирного жилья, в России сохраняется низкий уровень жилищной обеспеченности (ниже уровня стран Восточной Европы и некоторых стран СНГ) и высокий уровень износа жилого фонда и коммунальной инфраструктуры. Если прежде улучшение жилищных условий в стране обеспечивалось преимущественно за счет государства, то в настоящее время приобретение или строительство жилья осуществляется в основном за счет собственных сбережений населения и привлеченных средств, прежде всего ипотечного кредитования. Однако, несмотря на рост объемов ипотеки и улучшение условий ее получения, значения коэффициента доступности жилья за 2000–2022 годы свидетельствуют об ухудшении возможностей его приобретения. Это объясняется, во-первых, низким уровнем доходов населения и существенной их дифференциацией — лишь незначительная доля граждан может воспользоваться ипотекой; во-вторых, опережающими темпами роста цен на жилье по сравнению с ростом доходов и заработной платы населения. Кроме того, невысокий уровень качества возводимого жилья, отставание социальной инфраструктуры, высокая доля аварийного жилья и семей, нуждающихся в переселении, и ряд других факторов должны обязательно учитываться в реализации жилищной политики и решении жилищной проблемы. В качестве эмпирической базы статьи использованы данные Федеральной службы государственной статистики, Банка России, Национального бюро кредитных историй и Счетной палаты РФ.

Ключевые слова: жилище; социология жилища; коэффициент доступности жилья; обеспеченность жильем; ипотечное кредитование; доступность жилья; социальная дифференциация

*© Голодова Ж.Г., Смирнов П.А., 2023

Статья поступила 06.07.2023 г. Статья принята к публикации 16.10.2023 г.

Эволюция подходов к решению жилищной проблемы

В научной литературе доступность жилья принято рассматривать как возможность обеспечения жильем населения, которое, исходя из своего уровня доходов, не может самостоятельно его приобрести (*affordability*) или как наличие на рынке предложения жилья, доступного для приобретения или аренды (*accessibility*). В жилищной политике доступность жилья, как правило, трактуется как возможность населения улучшить свои жилищные условия за счет собственных и привлеченных средств, используя механизм кредитования и государственную поддержку.

Еще в начале прошлого века В. Зомбарт подчеркивал, что потребность в жилье — важнейшая для человека, и она возрастает по мере увеличения городского населения [10. С. 282–283] на фоне концентрации промышленного производства, вследствие чего, по данным А. Вебера, к началу XX века около 1/20 всего населения проживало в крупных городах как промышленных центрах [2. С. 7]. До середины XIX века жилищному вопросу не уделялось особого внимания со стороны ученых, политиков и общественности, но к началу XX века жилищная проблема была признана одной из важнейших — в организации и управлении городами стали учитываться принципы социальной политики, особенно возможности удешевления жилья [35].

Представители разных экономических и социологических школ утверждают разные приоритеты в решении жилищного вопроса. Так, В. Губер, один из первых исследователей жилищного вопроса, объяснял его нерешенность несовершенством предложения на рынке жилья, что приводило к земельному ростовщичеству [8. С. 49–50]. К. Маркс, рассматривая жилищный вопрос преимущественно в рамках критики капиталистического строя, обозначил взаимосвязь между культурным уровнем страны и способом удовлетворения потребности в жилье [14. С. 177–178]. Ф. Энгельс увязывал решение жилищного вопроса, прежде всего для рабочих, чьи жилищные условия характеризовал как скверные, с сущностью политического и общественного строя, отмечая, что жилищный вопрос может быть решен только после снятия социального вопроса, т.е. после уничтожения капиталистического способа производства [15. С. 170]. Ф. Визер, развивая социальную теорию городской земельной ренты, подчеркнул необходимость вмешательства власти в распределение лучших мест проживания в городе [35].

В нашей стране изучение жилищного вопроса началось на рубеже XIX–XX веков [см., напр.: 5; 8; 24]. Так, В.В. Святловский подчеркивал его юридический аспект, полагая, что земля в пределах современных городов и поселков должна находиться во владении частных лиц только на правах пользования, и предложил установить нормы жилья [24. С. 89]. Характеризуя возможные параметры жилья, М. Диканский отмечал, что «дешевизна постройки — это вопрос экономический, величина комнат — вопрос гигиенический, а количество их — социальный», в связи с чем делал вывод о необходимости за-

конодательного регулирования жилищных условий рабочих [5. С. 144, 195]. В 1920–1930 годы в СССР оформились два противоположных подхода к решению жилищной проблемы — урбанистический (целесообразность создания мегаполисов) и дезурбанистический (равномерное рассредоточение населения на территории страны). В частности, М. Охитович полагал, что «равномерность территориального размещения людей обеспечивает равномерность распределения культуры, равномерность устройства автодорожной сети и т.п.» [19. С. 335–336].

Впоследствии, параллельно с развитием экономического подхода, жилищный вопрос начал изучаться в социологии. Так, Л. Вирт выделил такие его социологические аспекты, как социальная ценность жилья, взаимосвязь жилища и общества, жилья и социальной политики [36. С. 138]. Дж. Мусил, изучая жилищную ситуацию в период с 1945 по 1980 годы, обозначил пять ее аспектов: жилищная система и жилищная политика; связь между социальной стратификацией и жилищной дифференциацией; связь между семьей и жильем; отношения между жильем и микрорайонами; связь между жильем и архитектурой как компонентом культуры [33. С. 207]. В указанный период актуализировались социологические аспекты жилья, обусловленные возрастанием роли государств и других общественных институтов в решении жилищной проблемы, превращением жилья в товар, цена и срок эксплуатации которого принципиально значимы, и сокращением объемов социального жилья.

Сегодня в социологическом изучении жилищного вопроса по-прежнему прослеживаются разные подходы. Например, предлагается разделять социологию жилища и социологию проживания, опираясь на понятия жилья, домохозяйства и мобильности [32. С. 9–10], или, напротив, рассматривать социологию проживания как часть социологии жилища, подчеркивая, что выделение социальной стороны жилища чаще всего сводится к финансово-экономическим (налогам, домохозяйствам и др.) и правовым (регистрации, собственности и др.) аспектам, тогда как для жилья дом важен «как локализованное автономное образование» [12. С. 302]. В то же время очевидно, что в последние годы произошло качественное изменение отношения к жилищной проблеме, которую стали исследовать в рамках междисциплинарного подхода [12. С. 304], в частности, выделяя три пары взаимоотношений — человека и природы, человека и дома, частной и публичной сферы, а также разные социокультурные модели дома — индивидуально-ностальгическую, публичную, органическую и гендерную [13. С. 219–223]. С точки зрения С. Бартлет, изучающей факторы воспитания и социализации детей, жилище — среда становления человека, инструмент социализации, поэтому домашнюю обстановку следует рассматривать и как жилье, и как домашний очаг, поскольку жилье оказывает существенное воздействие на отношения между членами семьи [31. С. 173–174, 183], а их финансовые

возможности определяют требования к качеству и физическому окружению жилья [31. С. 192–193]. Ж. Бодрийяр отмечал, что люди потребляют не предметы, а вещи-знаки, причем изменение технологий и моды обуславливает необходимость быстрого обновления набора вещей-знаков, в результате чего важнейшим механизмом потребительского общества становится кредит, создающий для потребителя возможность «опережающего пользования вещами во времени» [1. С. 170–171], т.е. требования к жилью у людей в течение жизни возрастают, но для его приобретения, как правило, приходится привлекать заемные средства.

Таким образом, сущность и значимость жилищной проблемы, традиционно рассматриваемой с социально-политической и экономической точек зрения, в том числе в качестве «локомотива» роста экономики (приобретение жилья как вариант инвестирования средств домохозяйств), в последние десятилетия все в большей степени исследуются в рамках социологического подхода, поскольку доступность жилья и обеспеченность им характеризуют уровень развития общества, определяют качество жизни населения, позволяют выявить его социальную дифференциацию, влияют на демографическую ситуацию (средний возраст вступления в брак, темпы рождаемости, количество детей в семье и др.), причем считается, что количество детей обратно пропорционально доступности жилья [26. С. 6], мобильность населения и его профессиональную направленность, воздействуют на взаимоотношения в семье и пространственные возможности личностного развития, досуга и т.д.

Рассматривать социально-экономический, политический, социологический и другие аспекты жилищной проблемы в комплексе сложно в силу нестабильности экономической ситуации, развития пространственного планирования, усиления социальной дифференциации и т.д. Однако это необходимо, поскольку разработка и реализация адекватной жилищной политики невозможна без учета социальных и культурных аспектов жилья и разных типов домохозяйств. Соответственно, для изучения проблемы обеспеченности жильем и его доступности недостаточно только данных официальных органов статистики — необходимы специальные социологические опросы, результаты которых следует использовать при разработке государственной жилищной политики.

Доступность жилья в России и факторы, ее определяющие

В конце 2022 года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу Банка ВТБ провел опрос 2400 жителей российских городов-миллионников — были опрошены родители с детьми 7–24 лет и молодые люди в возрасте 18–34 лет [4]. Более 57% опрошенных родителей и 61% молодых людей полагают, что первым собственным жильем должна стать однокомнатная квартира, что подтверждается и статистическими данными: в строящихся многоквартирных домах доля однокомнатных квартир

увеличилась за период 2000–2021 годы на 10,3 %, а к началу 2023 года в городах доля однокомнатных квартир превысила 43 % [3]. Стремление граждан с ограниченными финансовыми возможностями к проживанию на изолированной территории обусловило распространение малогабаритного бюджетного жилья в виде мини-студий площадью 20–26 м² — проживать в них готовы более 30 % молодых респондентов. В свою очередь девелоперы для сохранения доступности жилья строят малогабаритные квартиры, доля которых в совокупных продажах в июне 2022 года достигла 23 % [21; 27]. Средняя площадь квартиры во введенных в эксплуатацию многоэтажных домах за 2000–2022 годы снизилась на 32,2 % (Табл. 1).

Таблица 1

**Ситуация на рынке жилья в России в 2000–2022 годы
(сост. по [6; 7; 16; 20; 23; 25; 26; 27])**

Показатели/Годы	2000	2010	2020	2021	2022
Ввод в эксплуатацию общей площади жилых помещений, млн м	30,3	58,4	82,2	92,5	126,7
Средняя площадь квартиры во введенных многоэтажных домах, м	69	62,8	51,5	52,3	46,8
Средняя площадь частных домов, м	119	132,6	132	131,1	143
Размер жилой площади в среднем на 1 жителя, м	19,2	22,6	26,9	27,8	28,2
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, руб.	2223	20952	51344	57244	64191
Среднедушевые денежные доходы, руб.	2288	18881	36073	40000	45200
Рыночная стоимость 1 м жилья, руб. (на первичном рынке)	8678	48144	79003	98909	122300
Удельный вес вводимого жилья, построенного населением за счет собственных средств и кредита, %	41,6	43,7	48,8	53	55,7
Покупательная способность зарплаты на жилищном рынке	0,26	0,43	0,65	0,58	0,52
Коэффициент доступности жилья	5,68	3,82	3,29	3,71	4,06
Коэффициент доступности жилья с учетом потребительских расходов	6,23	4,96	5,09	5,68	5,86

Растет спрос на индивидуальные жилые дома, особенно в крупнейших агломерациях: при темпе прироста объема вводимого жилья в многоквартирных домах в 4,6 % по итогам 2022 года в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС) этот показатель составил 16,5 % (доля домохозяйств, проживающих в индивидуальном одноквартирном доме, увеличилась

до 23,9 %) [22]. Эта тенденция во многом связана со стремлением строить и обустраивать жилище с учетом собственных вкусов и предпочтений, а также более полно учитывать рекомендуемые социальные нормы — минимальный метраж на одного члена семьи, обеспечение каждого члена отдельной комнатой, наличие общей комнаты и столовой. Средняя площадь частных домов выросла за 2000–2022 годы на 20,2 %. Согласно опросу, более 14 % молодых людей хотели бы проживать в собственном доме, коттедже или таунхаусе. Причем если в 1990-е — 2000-е годы наблюдалась тенденция строительства индивидуальных домов по собственным проектам, то с 2010-х годов быстрыми темпами развивается типовая коттеджная застройка с соответствующей инфраструктурой.

В тот же период активизировалось малоэтажное индивидуальное жилищное строительство в ходе реализации проектов льготного предоставления земельных участков. Так, в 2016 году началась реализация Федеральной программы по обеспечению желающих земельными наделами «Дальневосточный гектар», предполагающая бесплатное предоставление земельного участка на условиях его освоения (через пять лет необходимо показать готовое жилье и иную инфраструктуру). К началу 2023 года на получение земли было подано более 150 тысяч заявок [16]. В 2016 году был принят проект «Мой гектар» в Московской и Тверской областях (предоставление 1 га по цене от 100 тысяч рублей), однако вследствие отсутствия инфраструктуры, инженерных коммуникаций и разрешений для ИЖС, взрывного спроса на землю, как и на Дальнем Востоке, не последовало. Первые участки в Московской области появились только в 2020 году, к началу 2023 года у проекта в Московской и Тверской областях насчитывалось всего 37 поселков (около 4,5 тысяч жителей) и проектировалось еще 30 [17].

Что касается оценки доступности жилья (количество лет, необходимых для накопления средств для его приобретения), то российский подход отличается от практики развитых стран, где за основу принята медианная стоимость жилья и медианный годовой доход домохозяйств. В нашей стране отсутствует такая статистика, поэтому коэффициент доступности жилья рассчитывается из среднерыночной стоимости квартиры площадью 54 квадратных метра и дохода семьи из трех человек.

Несмотря на рост покупательной способности заработной платы и снижение коэффициента доступности жилья (Табл. 1), приобрести жилье в ближайшие пять лет могут лишь 29 % родителей и 48 % молодых людей, что обусловлено ростом цен на жилье. Кроме того, несмотря на снижение в 2022 году коэффициента дифференциации населения по уровню среднедушевых доходов с 15,2 до 13,8, на 10 % самых обеспеченных граждан приходится 30 % всего объема доходов, что объясняет невозможность приобретения жилья отдельными категориями. Сохраняется и существенная региональная дифференциация доходов: самый высокий уровень наблюдался в Центральном федераль-

ном округе (61400 рублей), самый низкий — в Северо-Кавказском (29900), тогда как среднерыночная стоимость одного квадратного метра жилья варьирует от 46610 рублей в Кабардино-Балкарии до 166044 рублей в Москве [20].

Этим объясняются и различия в коэффициентах доступности жилья по регионам и крупнейшим агломерациям: от 4,9 в Санкт-Петербургской до 2,4 в Челябинской агломерации [6. С. 4]. Причем в 2022 году данный показатель вырос: если в 2000 году в целом по России (согласно международной методологии) жилье без учета потребительских расходов населения было существенно недоступно, а в 2010–2021 годы — не очень доступно, то с 2022 года, но с учетом потребительских расходов, — существенно недоступно. В 23 субъектах Российской Федерации обеспеченность жильем ниже среднего по стране уровня, в 35 — на среднем уровне [29]. Причина негативной тенденции — резкий рост цен на жилье в 2019 году, составивший на первичном рынке 2,1 раз, на вторичном — 1,7 раз (в 2020 году рост составил 12 %, в 2021 году — 26 %). В отдельных субъектах (Ленинградской области, Республике Адыгея, Краснодарском и Камчатском краях и др.) рост цен на жилье в 2021 году превысил 40 % [28; 29]. Сохраняется тенденция опережающего роста цен на жилье по сравнению со средней номинальной заработной платой и среднедушевыми доходами населения (например, в 2022 году их прирост составил 23,6 %, 12,1 % и 13 % соответственно).

Доля семей, способных приобрести жилье за счет собственных и ипотечных средств, варьирует в субъектах Российской Федерации от 89,7 % в Чеченской Республике до 37,9 % в Москве. По оценкам Национального бюро кредитных историй (НБКИ) средний размер семейного дохода для комфортного погашения ипотечного кредита составил в 2022 году 80700 рублей в целом по России (но 153400 рублей в Москве, 118900 рублей в Московской области). Такой уровень дохода имело лишь 30 % населения страны (медианный уровень дохода на одного члена семьи составил в 2022 году 22000 рублей, в семьях с детьми — 18333) [30. С. 5]. Кроме того, в 54 субъектах уровень доходов населения ниже среднероссийского показателя [29].

Следует признать, что более трети жилья в России приобретается за счет ипотечных кредитов в рамках программ с государственной поддержкой — «Военная ипотека» (2005), «Семейная ипотека» (2018), «Дальневосточная ипотека» (2020), «IT-ипотека» (2022), «Сельская ипотека» (2019), в том числе ипотечных кредитов на ИЖС, количество которых увеличилось за 2022 год в три раза [18]. С помощью программ льготной ипотеки государство не только стимулирует развитие строительной отрасли и сельской местности, но и активно поддерживает население. Условия ипотечного кредитования в 2022–2023 годы улучшились: семейную ипотеку с 2023 года могут получить семьи, имеющие на дату заключения договора двух детей в возрасте до 18 лет, по дальневосточной ипотеке установлена ставка в 2 % и т.п. Однако, несмотря на рост в 2019–2022 годы объемов ипотечного кредитования (на 64 %) и его

удешевление (на 27,3%), рост цен на жилье снизил его доступность. Более того, за 2022 год объем ипотечных кредитов сократился на 16%, а количество выданных кредитов — на 30% [11]. При использовании ипотечных кредитов с государственной поддержкой коэффициент доступности жилья в целом по России составил в 2022 году 6,09, тогда как при ипотеке без государственной поддержки — 7,85. Вместе с тем, у 30% россиян среднедушевые доходы не превысили в 2022 году 15500 рублей, поэтому решение жилищного вопроса для них возможно только при получении государственных субсидий.

Сохраняются различия доходов и в зависимости от места проживания: в сельских населенных пунктах медиана составила 17633 рублей, в городах с численностью населения до 500 тысяч человек — 20631 рублей, свыше 500 тысяч человек — 22923 [30. С. 5–6]. Хотя цены на жилье в сельской местности и малых городах, как правило, значительно ниже среднероссийских, для улучшения жилищных условий в них необходима государственная поддержка. К сожалению, отсутствие в открытом доступе соответствующей статистики не позволяет оценить доступность жилья в них.

Усилия по решению жилищной проблемы в России способствовали улучшению структуры домохозяйств по площади на одного проживающего (Табл. 2).

Таблица 2

Распределение домохозяйств по площади жилых помещений в среднем на одного проживающего в 2000–2021 годы (сост. по [20])

Площадь жилых помещений, приходящая в среднем на одного проживающего, м / Годы	2000	2010	2020	2021
до 9	5,5	3,0	2,1	1,9
9,1–13	16,9	13,8	9,9	9,0
13,1–15	11,3	9,2	9,0	8,6
15,1–20	22,0	19,6	18,6	19,7
20,1–25	15,4	15,6	14,8	14,8
25,1–30	8,9	10,4	10,8	11,4
30,1–40	10,2	12,7	14,1	13,1
40,1 и более	9,8	15,7	20,9	21,5

Вместе с тем, в стране сохраняются многие жилищные проблемы. Во-первых, это качество жилья — преобладающую долю в строящемся жилье составляет жилье эконом-класса с невысокими потребительскими свойствами и низким уровнем энергоэффективности. На ситуацию негативно повлиял уход иностранных компаний с российского рынка и девальвация национальной валюты. Во-вторых, сохраняется существенный дисбаланс цен,

прежде всего, в крупнейших агломерациях — Московской, Ленинградской и Краснодарской. В-третьих, темпы ввода объектов социальной инфраструктуры значительно отстают от темпов ввода жилья. В-четвертых, сохраняется высокая доля аварийного жилья и доля семей, нуждающихся в социальной поддержке: по оценке Счетной палаты, «площадь аварийных домов не сокращается, а увеличивается, поскольку темпы расселения отстают от темпов ветшания и разрушения массового жилья в стране, площадь непригодного жилья увеличивается в стране примерно на 2 млн квадратных метров в год» [23].

Таким образом, жилищная социализация, стремление населения обладать жильем, соответствующим их вкусам и предпочтениям, а также более полный учет рекомендуемых социальных норм обусловили быстрый рост в России в 2022 году индивидуального жилищного строительства (на 26,9 %) по сравнению с вводом жилья в многоквартирных домах (на 4,6 %). В условиях сохранения существенной дифференциации населения по уровню доходов в стране растет доля жилья, приобретаемого с помощью ипотечного кредитования, хотя уровень доходов, позволяющий комфортно обслуживать ипотеку, имеет лишь треть населения. Впрочем, несмотря на рост рынка ипотечного кредитования в 2019–2022 годы и его удешевление, в условиях постоянного роста цен на жилье возможности его приобретения не улучшились. Из-за опережающего роста цен на жилье по сравнению с ростом доходов населения коэффициент доступности жилья, рассчитываемый с учетом потребительских расходов и ипотеки, в том числе с государственной поддержкой, за 2021–2022 годы увеличился. Активизация малоэтажного индивидуального строительства в сельской местности возможна при условии упрощения оформления разрешений жилищного строительства на предоставляемых всем желающим в соответствии с федеральными программами землях, а также расширения программ льготного кредитования дорожного и инфраструктурного строительства. В целом сохраняющиеся жилищные проблемы (особенно качество и доступность жилья, инфраструктурное обеспечение и пр.) обуславливают необходимость при разработке и реализации мер жилищной политики учитывать региональные особенности и диспропорции.

Библиографический список

1. *Бодрийяр Ж.* Система вещей. М., 2001.
2. *Вебер А.Ф.* Рост городов в XIX столетии. СПб., 1903.
3. В России измельчали квартиры: почему с каждым годом площадь жилья неуклонно сокращается // URL: <https://www.kp.ru/daily/27473.5/4680337>.
4. ВЦИОМ: Квартирный вопрос: Каков будет ответ? // URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/kvartirnyi-vopros-kakov-budet-otvet>.
5. *Диканский М.Г.* Квартирный вопрос и социальные опыты его решения. М., 1912.
6. Жилищная проблема и спрос на жилье в России. М., 2022.
7. Жилищное хозяйство в России. 2002–2022 // URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13234>.

8. Загряцков М.Д. Земельная политика городского самоуправления в Германии: с приложением 8 планов. Строительное право как фактор городского землеустройства. М., 1913.
9. Зомбарт В. Собрание сочинений: в 3-х тт. СПб., 2005.
10. Зомбарт В. Избранные работы. М., 2005.
11. Ипотечное жилищное кредитование // URL: <https://cbr.ru/statistics/pdko/Mortgage/ML>.
12. Козырьков В.П. Теоретические проблемы становления социологии дома // Личность. Культура. Общество. 2009. Т. 11. № 1.
13. Козырьков В.П. Социокультурные модели дома // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2006. № 1.
14. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 1. Кн. 1. М., 1952.
15. Маркс К., Энгельс Ф. Избранные произведения: в 3-х тт. М., 1979. Т. 2.
16. «Мой гектар» в Подмосковье и Тверской области: как стать землевладельцем // URL: <https://realty.rbc.ru/news/5fc773de9a794784ceee2b40>.
17. «Мой гектар» обещает участки недалеко от Москвы по цене от 100 тысяч рублей: какие условия и в чем подвох // URL: <https://bankstoday.net/last-articles/moj-gektar-obeshhaet-uchastki-nedaleko-ot-moskvy-po-tsene-ot-100-tysyach-rublej-kakie-usloviya-i-v-chem-podvoh>.
18. О ситуации на рынке ипотеки // URL: <http://council.gov.ru/media/files/xeES7a44aPCqIbcv59viEhufbJXmtLTW.pdf>.
19. Охитович М. Социалистический способ расселения и социалистический тип жилья. М., 1929. № 35–36.
20. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 сентября 2022 г. № 773/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2022 года // URL: <https://www.minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/ad1/773pr-ot-20.09.2022.pdf>.
21. Рекорды и антирекорды: чем удивил рынок жилья в 2022 году // URL: <https://realty.rbc.ru/news/63c6ec7b9a79476978f73129>.
22. Российский статистический ежегодник 2000–2022 // URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/12994>.
23. Рост объемов аварийного жилья идет быстрее, чем его расселение // URL: https://www.ng.ru/economics/2022-09-18/1_8542_housing.html.
24. Святловский В.В. Жилищный вопрос в России. М., 2012.
25. Социальное положение и уровень жизни населения России // URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13212>.
26. Специальный доклад «Право на жилье есть у каждого». М., 2020.
27. Средняя площадь индивидуальных домов резко возросла // URL: <https://rg.ru/2022/08/31/sredniaia-ploshchad-individualnyh-domov-rezko-vyroslo.html>.
28. Строительство в России. 2002–2022 // URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13227>.
29. Стройкомплекс России. Итоги 2021 года // URL: http://komitet4-3.km.duma.gov.ru/upload/site101/Itogi_goda_2021.pdf.
30. Финансы российских домохозяйств в 2022 году // URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/146276/analytic_note_20230419_dip.pdf.
31. Bartlett S.N. Housing as a factor in the socialization of children: A critical review of the literature // Merrill-Palmer Quarterly. 1997. Vol. 43. No. 2.
32. Jewdokimow M., Łukasiuk M. Sociology of Dwelling. Warszawa, 2014.
33. Musil J. How the sociology of housing emerged // Sociologicky Casopis. 2005. Vol. 41. No. 2.
34. Wagner A. Grundlegung der politischen Oekonomie. Leipzig, 1894.
35. Wieser F. Die Theorie der städtischen Bodenrente. Berlin, 1909.
36. Wirth L. Housing as field of sociological research // American Sociological Review. 1947. Vol. 2. No. 12.

Approaches to assessing and increasing housing affordability in Russia*

Zh.G. Golodova, P.A. Smirnov

RUDN University,

Miklukho-Maklaya St., 6, Moscow, 117198, Russia

(e-mail: golodova-zhg@rudn.ru; smirnov-pa@rudn.ru)

Abstract. Improving the quality of life is one of the priority tasks of Russia's social-economic development, which requires solving the housing problem, since housing is one of the basic human needs. Based on the generalization of various approaches to ensuring housing affordability, the article shows that, in addition to the study of social-political and economic aspects, a kind of sociology of housing develops. Based on the results of sociological surveys, the authors identify the preferences of different groups (parents with children and youth) in housing. Thus, 70 % of Russians are ready to use mortgage lending to solve the housing problem. There is a paradox: on the one hand, 66 % of multi-apartment houses cannot be sold; on the other hand, there is a low level of housing supply (lower than in Eastern Europe and some CIS countries) and a high level of dilapidated housing stock and communal infrastructure. Previously, housing conditions were improved mainly at the expense of the state, now the purchase or construction of housing is ensured mainly by the population's savings and borrowed funds, primarily mortgage lending. However, despite the growth in the volume of mortgages and their improved conditions, the housing affordability coefficient for 2000–2022 indicates a deterioration in housing possibilities. This is explained, first, by the low level of incomes and their significant differentiation — only a small share of Russians can take advantage of mortgage lending; second, housing prices grow much faster than incomes and wages. In addition, the low quality of new housing and social infrastructure, a high share of dilapidated housing and of families in need of relocation, and a number of other factors must be taken into account when implementing housing policy and solving the housing problem. The empirical basis of the article is the data of the Federal State Statistics Service, Bank of Russia, National Bureau of Credit Histories and Accounts Chamber.

Key words: housing; sociology of housing; housing affordability ratio; housing supply; mortgage lending; housing affordability; social differentiation

References

1. Baudrillard J. *Sistema veshchej* [The System of Objects]. Moscow, 2001. (In Russ.).
2. Weber A.F. *Rost gorodov v XIX stoletii* [The Growth of Cities in the Nineteenth Century]. Saint Peterburg; 1903. (In Russ.).
3. V Rossii izmelchali kvartiry: pochemu s kazhdym godom ploshchad zhiliya neuklonno sokrashchaetsya [Apartments have shrunk in Russia: Why is the housing area steadily shrinking every year?]. URL: <https://www.kp.ru/daily/27473.5/4680337>. (In Russ.).
4. WCIOM Novosti: Kvartirny vopros: Kakov budet otvet? [WCIOM News: Housing question: What will be the answer?]. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/kvartirnyi-vopros-kakov-budet-otvet>. (In Russ.).

*© Zh.G. Golodova, P.A. Smirnov, 2023

The article was submitted on 06.07.2023. The article was accepted on 16.10.2023.

5. Dikansky M.G. *Kvartirny vopros i sotsialnye opyty ego resheniya* [Housing Problem and Social Ways to Solve It]. Moscow; 1912. (In Russ.).
6. *Zhilishchnaya problema i spros na zhilie v Rossii* [Housing Problem and A Demand for Housing in Russia]. Moscow; 2022. (In Russ.).
7. *Zhilishchnoe khozyajstvo v Rossii. 2002–2022* [Housing Economy in Russia. 2002–2022]. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13234>. (In Russ.).
8. Zagryatskov M.D. *Zemelnaya politika gorodskogo samoupravleniya v Germanii: s prilozheniem 8 planov. Stroitelnoe pravo kak faktor gorodskogo zemleustrojstva* [Land Policy of Urban Self-Government in Germany: With 8 Plans. Construction Legislation as a Factor of Urban Land Use]. Moscow; 1913. (In Russ.).
9. Sombart W. *Sobranie sochinenij: v 3-h tt.* [Collected Works; in 3 vols.]. Saint Petersburg; 2005. (In Russ.).
10. Sombart W. *Izbrannye raboty* [Selected works]. Moscow; 2005. (In Russ.).
11. *Ipotechnoe zhilishchnoe kreditovanie* [Mortgage lending]. URL: <https://cbr.ru/statistics/pdko/Mortgage/ML>. (In Russ.).
12. Kozyrkov V.P. Teoreticheskie problemy stanovleniya sotsiologii doma [Theoretical issues in the development of sociology of housing]. *Lichnost. Kultura. Obshchestvo*. 2009; 11 (1). (In Russ.).
13. Kozyrkov V.P. Sotsiokulturnye modeli doma [Social-cultural models of the house]. *Vestnik Nizhegorodskogo Universiteta im. N.I. Lobachevskogo. Seriya: Sotsialnye Nauki*. 2006; 1 (5). (In Russ.).
14. Marx K. *Kapital. Kritika politicheskoy ekonomii* [Capital. A Critique of Political Economy]. Vol. 1. Book 1. Moscow; 1952. (In Russ.).
15. Marx K., Engels F. *Izbrannye proizvedeniya: v 3-h tt.* [Selected Works: in 3 vols.]. Moscow; 1979. Vol. 2. (In Russ.).
16. “Moj gektar” v Podmoskovie i Tverskoj oblasti: kak stat zemlevladeltsem [“My hectare” in the Moscow Region and Tver Region: How to become a landowner]. URL: <https://realty.rbc.ru/news/5fc773de9a794784ceee2b40>. (In Russ.).
17. “Moj gektar” obeshchaet uchastki nedaleko ot Moskvy po tsene ot 100 tysyach rublej: kakie usloviya i v chem podvoh [“My hectare” promises plots near Moscow at the price of 100 thousand rubles: On what conditions and what’s the catch]. URL: <https://bankstoday.net/last-articles/moj-gektar-obeshchaet-uchastki-nedaleko-ot-moskvy-po-tsene-ot-100-tysyach-rublej-kakie-usloviya-i-v-chem-podvoh>. (In Russ.).
18. O situatsii na rynke ipoteki [On the situation in the mortgage market]. URL: <http://council.gov.ru/media/files/xeES7a44aPCqIbcv59viEhufbJXmtLTW.pdf>. (In Russ.).
19. Okhitovich M. Sotsialistichesky sposob rasseleniya i sotsialistichesky tip zhiliya [Socialist mode of settlement and socialist type of housing]. *Vestnik Kommunisticheskoy Akademii*. 1929; 35–36. (In Russ.).
20. Prikaz Ministerstva stroitelstva i zhilishchno-kommunalnogo khozyajstva Rossijskoj Federatsii ot 20 sentyabrya 2022 g. No. 773/pr “O pokazatelyah srednej rynochnoj stoimosti odnogo kvadratnogo metra obshchej ploshchadi zhilogo pomeshcheniya po sub`ektam Rossijskoj Federatsii na IV kvartal 2022 goda [Order of the Ministry of Construction and Housing and Communal Services of the Russian Federation of September 20, 2022 No. 773/pr “On indicators of the average market value of one square meter of the total living area in the constituent entities of the Russian Federation for the IV quarter of 2022”]. URL: <https://www.minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/ad1/773pr-ot-20.09.2022.pdf>. (In Russ.).
21. Rekordy i antirekordy: chem udivil rynek zhiliya v 2022 godu [Records and anti-records: How the housing market surprised in 2022]. URL: <https://realty.rbc.ru/news/63c6ec7b9a79476978f73129>. (In Russ.).
22. Rossijsky statistichesky ezhegodnik 2000–2022 gg. [Russian Statistical Yearbook 2000–2022]. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/12994>. (In Russ.).

23. Rost ob`emov avariynogo zhiliya idet bystree, chem ego rasselenie [The volume of emergency housing increases faster than the volume of its resettlement]. URL: https://www.ng.ru/economics/2022-09-18/1_8542_housing.html. (In Russ.).
24. Svyatlovsky V.V. *Zhilishchny vopros v Rossii* [Housing Question in Russia]. Moscow; 2012. (In Russ.).
25. Sotsialnoe polozhenie i uroven zhizni naseleniya Rossii [Social status and standard of living of the Russian population]. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13212>. (In Russ.).
26. Spetsialny doklad “Pravo na zhilie est u kazhdogo” [Special Report “Everyone Has the Right to Housing”]. Moscow; 2020. (In Russ.).
27. Srednyaya ploshchad individualnyh domov rezko vozrosla [The average area of individual houses has increased sharply]. URL: <https://rg.ru/2022/08/31/sredniaia-ploshchad-individualnyh-domov-rezko-vyrosla.html>. (In Russ.).
28. Stroitelstvo v Rossii. 2002–2022 [Construction in Russia. 2002–2022]. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13227>. (In Russ.).
29. Strojkompleks Rossii. Itogi 2021 goda [Construction complex of Russia. Results of 2021]. URL: http://komitet4-3.km.duma.gov.ru/upload/site101/Itogi_goda_2021.pdf. (In Russ.).
30. Finansy rossijskih domokhozyajstv v 2022 godu [Russian households’ budgets in 2022]. URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/146276/analytic_note_20230419_dip.pdf. (In Russ.).
31. Bartlett S.N. Housing as a factor in the socialization of children: A critical review of the literature. *Merrill-Palmer Quarterly*. 1997; 43 (2).
32. Jewdokimow M., Łukasiuk M. *Sociology of Dwelling*. Warszawa; 2014.
33. Musil J. How the sociology of housing emerged. *Sociologicky Casopis*. 2005; 41 (2).
34. Wagner A. *Grundlegung der politischen Oekonomie*. Leipzig; 1894.
35. Wieser F. *Die Theorie der städtischen Bodenrente*. Berlin; 1909.
36. Wirth L. Housing as field of sociological research. *American Sociological Review*. 1947; 2 (12).



DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-4-825-838

EDN: HYQFPF

Interdisciplinary study of the medium-term fertility trend in Latvia (1970–2022)*

V. Menshikov¹, J. Kudins¹, A. Kokarevica², V. Komarova¹, E. Cizo¹

¹Daugavpils University,
Vienibas St., 13, Daugavpils, Latvia, LV-5401

²Riga Stradins University,
Dziriemu St., 16, Riga, Latvia, LV-1007

(e-mail: vladimirs.mensikovs@du.lv; janis.kudins@du.lv; anita.kokarevica@rsu.lv;
vera.komarova@du.lv; edmunds.cizo@du.lv)

Abstract. The article aims at identifying the medium-term fertility trend in Latvia. The main research question is whether it is possible in the near future to increase fertility in Latvia, as planned in the “Strategy for the Reproduction of the Nation FAMILY — LATVIA — 2030 (2050)”. The authors conducted the mathematical analysis of fertility in Latvia for the medium-term period of 1970–2022 (53 years), which includes two decades of the so-called “Soviet era” and the period of independence after the collapse of the USSR. The study is based on the available data of the official Latvian statistics on the total fertility rate. The novelty of this interdisciplinary — demographic, economic and sociological — study is determined by the use of mathematical analysis to identify demographic trends, which is not typical for the publications of Latvian and foreign researchers. The study is also based on the theory of economic cycles to identify demographic fertility cycles and their phases in Latvia and to predict fertility rates in Latvia for the near future. Furthermore, the analysis of the sociological surveys data allowed to understand the main reason for the steady — in the medium-term perspective — linear decline in fertility in Latvia. This reason is value changes in the society, in which children are no longer at the center of the life value system of men and especially women in Latvia, i.e., are no longer considered necessary for the realization of their life goals and ambitions. Based on the results of the mathematical analysis of the medium-term fertility trend in Latvia, the authors believe that the decline in fertility in Latvia will continue for several more years before the bottom of the next demographic fertility cycle will be reached (and this bottom will be lower than the previous one, i.e., below 1.22–1.25), and there will be an upturn in a linearly declining fertility trend. However, even this expected rise will not reach the previous peak; the next peak is likely to be below 1.74. Thus, the desired and even expected by the creators of the “Strategy for the Reproduction of the Nation” increase in fertility in Latvia to the level of 1.77 by 2027 is considered by the authors unattainable.

Key words: fertility; total fertility rate; mathematical analysis; demographic cycles; economic cycles; value system changes; Latvia

*© V. Menshikov, J. Kudins, A. Kokarevica, V. Komarova, E. Cizo, 2023

The article was submitted on 17.07.2023. The article was accepted on 16.10.2023.

The starting point for this study was the “Population Reproduction Strategy FAMILY — LATVIA — 2030 (2050)” [11] presented on November 9, 2022. Its main goal, which is clear from its title, is to ensure the population reproduction in Latvia in the near decades. Since the presentation of the Strategy, its priorities and forecasts have been widely discussed in the Latvian mass media [13; 16; 31] and by Latvian academic researchers, who have focused on the issues of reproduction of the population of Latvia both before and after the adoption of the Strategy [15; 34; 35] to examine the current global trends in fertility decline [9; 25; 27; 30; 33]. Thus, the decline in fertility is not a purely Latvian problem, and the scientific community, the public and the state all over the world, are concerned about it [1; 12; 17; 19; 20].

The article aims at considering the medium-term trend in fertility in Latvia in terms of the total fertility rate (the average number of children that could be born by one woman during her life if the birth rate in each age group remained at the level of the reference year [22]) with the mathematical and sociological methods. The main research question is whether the Strategy’s goals can be achieved in the near future. According to the summary, the “Population Reproduction Strategy FAMILY — LATVIA — 2030 (2050)” is “a targeted set of necessary measures designed to stop the decline in demographic indicators and contribute to the revival of the nation. The Strategy presents specific strategic directions of actions, support tools, programs and ways to increase the birth rate in the country” [11. P. 5]. As for specific figures of the total fertility rate in Latvia, the Strategy aims at achieving the fertility level of 1.77 by 2027, with an intermediate indicator of 1.72 in 2024, a base indicator of 1.61 in 2018 and a real indicator of 1.57 in 2021 [11. P. 5]. However, in 2022 the total fertility rate in Latvia was 1.47 [6]. Concerning the real demographic indicators, the Strategy’s goal — 1.77 by 2027 — seems unrealistic. The Latvian demographer Z. Vārpiņa has already called this Strategy “a letter to Santa Claus” [16]. In order to evaluate the possibility of increasing fertility in Latvia in the near future, we conducted the mathematical analysis [5; 7; 10; 32] of the fertility trend in Latvia for the medium-term period of 1970–2022, which consists of the so-called “Soviet era” and the period of the Latvian independence after the collapse of the Soviet Union [6].

The results of our review of publications on fertility trends in the contemporary world show that usually the analysis of these trends is rather descriptive [4; 8; 17; 18]. For instance, “the total fertility rate shows the most favorable situation in the 1980s and the lowest level of population reproduction in the second half of the 1990s” [4] (situation in Latvia); “after the Second World War, the birth rate in Latvia increased slightly and fluctuated around 19 newborns per 1000 inhabitants, but then decreased and fluctuated between 16–17 newborns in the 1950s” [18]; “the total fertility rate in Latvia increased to 1.74 in 2016, reaching its highest level since 1992, however, since 2017 it has gradually decreased and in 2021 it was 1.57, which is slightly higher compared to 2020–1.55; however, it is far from the number of children per woman required for a normal generational change” [8]; “fertility had

fell continuously from 1992 to 2003, primarily due to educated women increasingly delaying their first child. The rise in fertility from 2005 confirmed that the preceding decline in fertility was actually a result of some women delaying their first child... As a result, women in their 30s overtook women in their 20s as having the highest rates of fertility and the total fertility rate increased and peaked at just over 2 babies per woman in 2007. From that peak in 2007, the fertility rate has fallen over the last decade and by 2018 it was back to approximately the historical low recorded in 2001” [17] (situation in Australia). Such a descriptive approach to the analysis of fertility trends, first, is rather superficial, without a detailed formalized analysis and an understanding of fertility in dynamics; second, does not allow to scientifically answer our research question. Therefore, we wanted to fill this methodological gap in fertility research with the mathematical and economic-sociological analysis of the fertility trend in Latvia in the medium-term period of 1970–2022 (53 years).

For a mathematical model of the nonlinear process of changes in fertility in Latvia in terms of the total fertility rate over several decades, i.e., for a formula for the total fertility rate function based on several dozen points, the authors used the polynomial interpolation method for approximation of the function [10]:

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n, \quad (1)$$

$f(x)$ — approximating function;

$a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ — coefficients to be found (a_0 — value of the free term, indicates the value of y at $x = 0$, i.e., this is the initial level of fertility at the beginning of the period under study);

x — independent variable (x value from data points).

The authors chose the polynomial type of interpolation as the most suitable approximation method, in which a function is approximated by a polynomial that passes through all given points; thereby, representing the behavior of the function over the range of interest [7]. To assess the influence and interpretation of a polynomial function, the authors used additional analysis of the function (In particular, differentiated the function, i.e., analyzed its derivatives at each point corresponding to each year of the period under study) [10] and visualization of the graph of the medium-term fertility trend in Latvia. Methodologically, even simple comparisons of fertility rates for specific years can show how fertility has changed over time. On the other hand, the derivative provides a more general and continuous way for the analysis of changes in variables (fertility rates) over the entire period under study, not limited to just specific years. Such an approach reveals more subtle trends and periods of change, which may be less obvious from simple comparisons of variables for specific years [5; 10]. The derivative can also help identify precise points in a trend change, such as the year fertility began to decline or rise.

For a function of type $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$ (1), where n is the degree of the polynomial, and $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ are coefficients, the derivatives will

be calculated by differentiating each term separately with the rule of differentiation of the degree function x^n [10]:

$$dy/dx (x^n) = nx^{n-1}. \quad (2)$$

Since the polynomial function can have different slopes in different parts of its graph, calculating its derivative at each point x allows to understand how the value of the function y changes as the variable x changes [5; 10]. The smaller the absolute value of the derivative, the slower the fertility rate changes in a particular year within the time period under study. If the derivative is negative at a certain point, this means that as the value of x at that point increases, the value of the function y decreases; if it is positive, it increases.

The authors began the mathematical analysis of the fertility trend in Latvia for the medium-term period of 1970–2022 by approximating the function based on the polynomial interpolation method [5]. Thus, the following mathematical model of changes in fertility over the last half century was used on the data from [6]:

$$y = 0,0097*x^6 - 0,1751*x^5 + 1,1776*x^4 - 3,599*x^3 + \\ + 4,8292*x^2 - 2,393*x + 2,2168 \quad (3)$$

y — fertility rate;

x — the ordinal number of the year in a 53-year period ($0 = 1970$, 0.1 , 0.2 , ..., $5.2 = 2022$), reduced by 10 times to avoid a linear growth of the derivative due to large values ____ of the ordinal year numbers [32].

The approximating mathematical model of changes in fertility rates in Latvia over the past half century is a polynomial function of the sixth degree, i.e., the relationship between variables (the total fertility rate and the ordinal number of the year within the period of 1970–2022) is complex and contains nonlinear effects. The determination coefficient R^2 is equal to 0.8463, which indicates a good quality of approximation: the share of variation over time in the total fertility rate explained by the approximating function is almost 85 %. The statistical significance of the R^2 was estimated by testing the null hypothesis of Fisher's F -statistics: $F_{act} = 15,8$ at a 5 % significance level, which is larger than the critical value $F_{cr} = 4.96$. The null hypothesis about the inconsistency of the equation after the approximation was rejected [26]. The determination coefficient R^2 is statistically significant, and the resulting mathematical model can be used in further analysis.

From the approximating mathematical model of changes in fertility in Latvia over the last half century (3), we can make the following conclusion: since a degree function always has several extrema (maxima and minima) and bends in graph, the medium-term fertility trend in Latvia has a 'wave' nature: like all social processes, the medium-term fertility trend in Latvia is non-linear, i.e., there have been and will

be ups and downs in fertility, which do not say anything about the general trend — downward or upward. These repeated fluctuations in fertility resemble economic cycles/cycles of economic activity [14] and characterize only short-term cyclical changes that periodically replace each other: an increase in fertility is followed by a decrease, then an increase again, then a decrease again, etc., regardless — by and large — of changes in political situation, economic conditions, climate and other factors — their influence on fertility indicators overlaps and ‘produces’ a result that does not go beyond the global longer-term, declining fertility trend.

However, we need a graph of functions, both initial and approximating, which allows to more accurately assess the nature of the medium-term fertility changes in Latvia, to visually assess the shape of dependence, highlight the features of the function (extrema and bends) and visually represent the general direction of the fertility trend in Latvia. In order to identify more subtle trends and periods of change in the fertility trend, we differentiated the function obtained after approximation (3; Fig. 1), i.e., defined the derivative of the function at each point x , indicating the ordinal number of the year during the entire 53-year period under study.

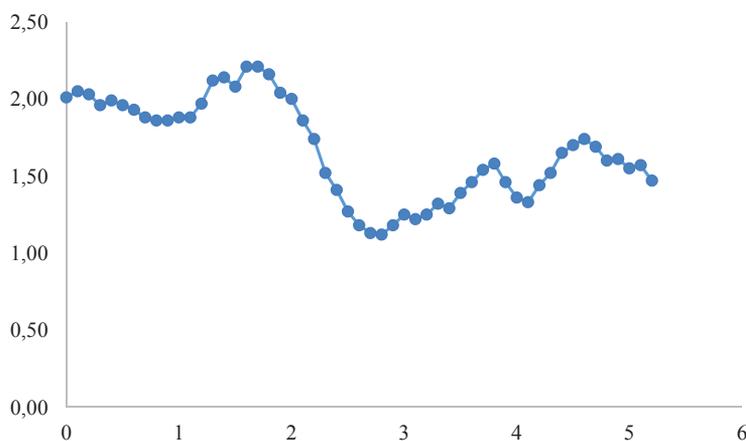


Figure 1. Changes in the total fertility rate, 1970–2022, Latvia
(y — total fertility rates, x — years, i.e., 0 = 1970, 0.1, 0.2, ..., 5.2 = 2022)

Table 1 shows changes in the total fertility rate and the derivative of the fertility function in Latvia over the period of 1970–2022, providing an empirical interpretation (In relation to fertility) of changes in value of the derivative. The data in Table 1 (and Fig. 1) show the cyclical nature of the medium-term fertility trend in Latvia, with a generally decreasing slope — from 2.01 in 1970 to 1.47 in 2022. Furthermore, in the medium-term perspective of changes, there were periods of apparent contradiction — when fertility increased, and the derivative of the function (rate of change) was negative (for example, 1970–1971, 1983–1984), and the opposite also happened — fertility decreased, and the derivative of the function was positive (for example, 2003–2004, 2009–2010)

Changes in the total fertility rate and
in the derivative of fertility function, 1970–2022, Latvia

Year	Total fertility rate	Change compared to the previous year	Value of the derivative*	Percentage change in the derivative compared to the previous year**	Empirical interpretation
1	2	3	4	5	6
1970	2.01		-2.393		
1971	2.05	0.04	-1.5305	36	Previous growth in fertility is slowing (In 1965–1.74)
1972	2.03	-0.02	-0.8569	44	
1973	1.96	-0.07	-0.347	59.5	
1974	1.99	0.03	0.0225	106.5	Fertility growth slowed down and changed to decline
1975	1.96	-0.03	0.2729	1112.9	
1976	1.93	-0.03	0.4236	55.2	Fertility decline continues but slows
1977	1.88	-0.05	0.4926	16.3	
1978	1.86	-0.02	0.4958	0.6	Fertility decline stopped and changed to growth
1979	1.86	0	0.4478	-9.7	
1980	1.88	0.02	0.3615	-19.3	Fertility growth continues but slows
1981	1.88	0	0.2483	-31.3	
1982	1.97	0.09	0.1184	-52.3	
1983	2.12	0.15	-0.0197	-116.6	Fertility growth stopped and changed to decline
1984	2.14	0.02	-0.1583	-703.6	
1985	2.08	-0.06	-0.2913	-84	Fertility decline continues but slows (a short-term fertility rise in 1986–1987 did not change the general trend)
1986	2.21	0.13	-0.4135	-41.9	
1987	2.21	0	-0.5208	-25.9	
1988	2.16	-0.05	-0.61	-17.1	
1989	2.04	-0.12	-0.6791	-11.3	
1990	2.00	-0.04	-0.7266	-7	
1991	1.86	-0.14	-0.752	-3.5	
1992	1.74	-0.12	-0.7554	-0.5	
1993	1.52	-0.22	-0.7375	2.4	
1994	1.41	-0.11	-0.6997	5.1	
1995	1.27	-0.14	-0.6439	8	
1996	1.18	-0.09	-0.5722	11.1	
1997	1.13	-0.05	-0.4872	14.9	
1998	1.12	-0.01	-0.392	19.5	
1999	1.18	0.06	-0.2894	26.2	
2000	1.25	0.07	-0.1829	36.8	

End of Table 1

1	2	3	4	5	6
2001	1.22	-0.03	-0.0757	58.6	Fertility decline stopped and changed to growth
2002	1.25	0.03	0.0288	138	
2003	1.32	0.07	0.1274	342.4	
2004	1.29	-0.03	0.217	70.3	Fertility growth continues but slows (the short-term fertility decline in 2009–2010 did not change the general trend)
2005	1.39	0.1	0.2946	35.8	
2006	1.46	0.07	0.3575	21.4	
2007	1.54	0.08	0.4034	12.8	
2008	1.58	0.04	0.4305	6.7	
2009	1.46	-0.12	0.4373	1.6	
2010	1.36	-0.1	0.423	-3.3	
2011	1.33	-0.03	0.3873	-8.4	
2012	1.44	0.11	0.3306	-14.6	
2013	1.52	0.08	0.2542	-23.1	
2014	1.65	0.13	0.1602	-37	
2015	1.7	0.05	0.0514	-67.9	Fertility growth stopped at the 1965 rate (1.74) and fertility began to decline
2016	1.74	0.04	-0.0682	-232.7	
2017	1.69	-0.05	-0.1937	-184	
2018	1.6	-0.09	-0.3189	-64.6	Fertility decline continues but slows
2019	1.61	0.01	-0.4367	-36.9	
2020	1.55	-0.06	-0.5385	-23.3	
2021	1.57	0.02	-0.6145	-14.1	
2022	1.47	-0.1	-0.6535	-6.3	

* Derivatives were calculated using Formula 3, taking into account, respectively, three or four decimal places

** Calculation of percentage changes is necessary to consider both absolute and relative differences between values of the derivative and to reduce the effect of a purely mathematical relationship between values of the function and its derivative associated with changes in the variable x

Such situations are a good example of how important not only values of the function but also its derivatives are for a more complete understanding of the dynamics of changes in fertility in the general trend. For example, the negative derivative in 1970–1971 under the rising fertility rates indicated that the previous growth in fertility (In 1965–1.74 [6]) was slowing down, and the negative derivative with an increase in fertility in 1983–1984 — that the growth of fertility stopped and changed to decline. In turn, the positive derivative in 2003–2004 (when fertility fell) indicates that fertility growth continued but

slowed down, and the short-term decline in fertility in 2009–2010 (most likely due to the 2008 global financial crisis) did not change the general growing trend in 2003–2015. The behavior of the derivative of the fertility function in Latvia (Fig. 2) confirms a fairly uniform cyclicity in the development of fertility at least since 1973, i.e., before the social-economic and political changes in Latvia in the early 1990s.

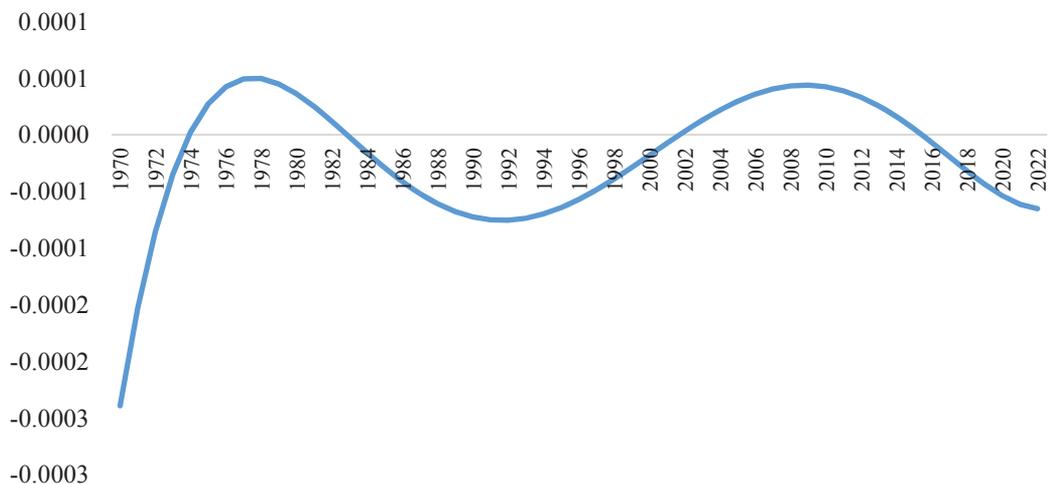


Figure 2. The derivative (rate of change) of the fertility function, 1970–2022, Latvia

In Table 2, we identified the various phases of the demographic fertility cycles in Latvia, using an analogy with the phases of economic cycles — growth (expansion), peak or boom, decline (recession), bottom (depression) [29]. We also tried to predict the fertility trend in Latvia in the near future, focusing on the possibility of its increase.

According to the data in Table 2, there are indeed empirically based, demographic fertility cycles similar to economic cycles [14; 29] and even related to them [21; 23]. In the demographic perspective, historical process is a sequence of demographic cycles, and the mirror image of demographic cycles are cyclical changes in per capita consumption, that is, cycles of real wages or income [21]. Based on the results of our mathematical analysis, we can expect that the fertility decline in Latvia will continue for several more years until the bottom of the next demographic fertility cycle will be reached, followed by a reversal in the long-term declining fertility trend. However, the next growth will not reach the previous peak. Thus, the desired and even expected by the creators of the “Population Reproduction Strategy FAMILY — LATVIA — 2030 (2050)” increase in fertility in Latvia to the level of 1.77 by 2027 with an intermediate indicator of 1.72 in 2024 is unattainable in any social-economic and political conditions.

Table 2

Phases of the demographic fertility cycles, 1970–2022, Latvia

Time interval	Empirical interpretation of changes in the derivative value	Duration of phase	Name of phase
1970–1973	The growth in fertility slows (1.74 in 1965, 1.96 in 1973)	4 years	Growth (expansion)
1974–1975	Fertility growth slowed down and changed to decline (1.99–1.96)	2 years	Peak (boom)
1976–1977	Fertility began to decline, with the rate of decline slowing (1.93–1.88)	2 years	Decline (recession)
1978–1979	Fertility decline stopped and changed to growth (1.86 in 1978 and 1979)	2 years	Bottom (depression)
Next demographic fertility cycle			
1980–1982	Fertility growth continues but slows (1.88–1.97)	3 years	Growth (expansion)
1983–1984	Fertility growth stopped and fertility began to decline (2.12–2.14)	2 years	Peak or boom
1985–2000	Fertility decline continues but slows (the short-term rise in fertility in 1986–1987 — a result of M. Gorbachev’s anti-alcohol campaign which did not change the general trend) (2.08–1.25)	16 years	Decline (recession)
2001–2002	Fertility decline stopped and changed to increase (1.22–1.25)	2 years	Bottom (depression)
Next demographic fertility cycle			
2003–2015	Fertility growth continues but slows (1.32–1.70); a sharp short-term decline in 2009–2010 as a result of the 2008 global financial crisis (1.46–1.36)	13 years	Growth (expansion)
2016	Growth stopped at the 1965 level (1.74), fertility began to decline	1 year	Peak or boom
2017–2022	Fertility decline continues but slows (1.69–1.47)	6 years	Decline (recession)
<p>The decline will continue for several more years until the bottom of the next cycle will be reached (this bottom will be lower than the previous one, i.e., below 1.22–1.25), and there will be a turn towards fertility growth as a part of the long-term declining trend. Thus, the next growth will not reach the previous peak, i.e., the next peak may be below 1.74</p>			

The main reason for the impossibility of increasing fertility in Latvia in the near future is value changes studied and interpreted by sociologists and demographers in Latvia and other countries. In the Soviet era, the ideal family model was a family with two children (both large families and childless ones were rare) [35], which ensured the fertility rates close to 2. Today, as the data of the comparative sociological “Study of factors affecting marriage, fertility and positive parent-child relationships” (2004 — N=1970; 2022 — N=2297), conducted by the University of Latvia, show, “family still has value (safety, health of loved ones), but the child

is no longer the only and necessary means of realizing one's life ambitions; the child is no longer at the center of the value system" [16] (Table 3). Thus, "with a decrease in the self-worth of children and families, one can expect that people will make less effort to achieve this value, i.e., they will be less willing to create families and have children" [24. P. 57]. The current tendency among the youth not to put in extra effort (to work) is also evidenced by the results of the international survey conducted by the Randstad Deutschland (N=35,000, 18–24-year-olds): 58 % would quit their job if it interfered with their enjoying life, and 38 % have already done this at least once. Many HR managers in Western (and not only Western) companies complain that young people do not want to take responsibility, do not want to work 5 days a week, and in every possible way avoid "overtime" [2].

Table 3

Hierarchies of values, Latvia [24. P. 57].

Values	Place in the hierarchy, 2004	Place in the hierarchy, 2022	Values
Family safety (safety of loved ones)	1	1	Family safety (safety of loved ones)
Health (no physical or mental illness)	2	2	Health (no physical or mental illness)
Children and family (as an intrinsic value)	3	3	Peace in the world (no wars and conflicts)
Inner harmony	4	4	Freedom (of action and thought)
Mature love	5	5	Inner harmony
Self-esteem	6	6	Self-esteem
Sincere friendship	7	7	Honesty
Freedom (of action and thought)	8	8	Intelligence
Intelligence	9	9	Country safety (protecting my people from enemies)
Honesty	10	10	Sincere friendship
Peace in the world (no wars and conflicts)	11	11	Mature love
Country safety (protecting my people from enemies)	24	22	Children and family (as an intrinsic value)

Researchers of the female childlessness in Lithuania, based on the results of the comparative survey of women of two generations, concluded that “the subjectively perceived causes of childlessness reveal different ways of experiencing childlessness... In terms of voluntary childlessness, the differences between two generations are great. Older women never say that they chose to remain childless, even though they admit never really wanting children; younger women are not afraid to declare they chose to be childfree and enjoy it” [30. P. 19–20]. Thus, “the value choice largely determines the pace and direction of the evolution of the contemporary society” [3. P. 247], including its demographic development. “Previously, it was believed that economic success was the decisive factor in improving people’s lives, achieving social dynamics and success in international cooperation” [28. P. 427]. Much later, the “programming role of culture” [3. P. 246] was recognized as “a way to transfer the accumulated social-historical experience (supra-biological programs of human life) to the organization of social life, its changes and generations... To change and transform into a new type, the society needed a change in its cultural code, worldview universals, then in technical and economic development and competition with other societies, which would determine the future fate of the new type of social organization” [28. C. 428–429].

We believe that the short-term ups and downs in fertility in Latvia are determined mainly by social-economic and political factors. For example, fertility increased in 1986–1987 due to M. Gorbachev’s anti-alcohol campaign and decreased in 2009–2010 due to the shock of the 2008 global financial crisis. Such short-term ups and downs do not imply fundamental changes in the current phase — growth or decline — of the demographic fertility cycle. More sustainable and long-term changes in the fertility trend are most likely determined not by social-economic or political factors, but by value system changes. Furthermore, the current cult of enjoying life does not support the childcare idea, which is the key factor for the steadily declining fertility rate — both in Latvia and in other countries of Europe and the world.

References

1. Adhia N. Some demographic trends in the world’s most populous country-to-be. *Demographics, Social Policy, and Asia (Part II)*. 2018; 23 (2).
2. Baumejster A. Do not work! Be lazy and enjoy life! *YouTube*. 2023. (In Russ.).
3. Belov A.A., Danilov A.N., Rotman D.G. Value factor of the countries uneven development. *RUDN Journal of Sociology*. 2023; 23 (2).
4. Bērziņš A. Changes in birth rates. Krišjāne Z., Krūmiņš J. (Eds.). *Population Reproduction and Challenges for Renewal of Society in Latvia*. Riga; 2019. (In Latv.).
5. Brannan D. *A First Course in Mathematical Analysis*. Cambridge; 2006.
6. Central Statistical Bureau of the Republic of Latvia. IDK010. Fertility rates 1965–2022. 2023. URL: https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__ID__IDK/IDK010/table/tableViewLayout1.

7. Deshpande J.V. *Mathematical Analysis and Applications: An Introduction*. Alpha Science International; 2004.
8. Eglīte P. Birth rates and family policy in Latvia, 1990–2009. *LZA Vēstis=Bulletin of the Latvian Academy of Sciences*. 2011; 65 (3/4). (In Latv.).
9. Eurostat. Total fertility rate (tps00199). 2023. URL: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography/demography-population-stock-balance/database>
10. Gedroica V. *Differential Calculus of Functions of One Argument*. 2005. URL: <https://de.lv/matematika/gedroica/Difrek1.pdf>. (In Latv.).
11. Interdepartmental Coordination Center. *National Regeneration Strategy FAMILY — LATVIA — 2030 (2050)*. 2022. URL: https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/TAS_Plans%2009.11%20projekts.pdf. (In Latv.).
12. Kearney M.S., Levine Ph.B. The causes and consequences of declining US fertility. 2022. URL: https://www.economicstrategygroup.org/publication/kearney_levine.
13. Klimovičs R. (2022) Strategy for national regeneration. Looking for a way out of the “demographic hole”. URL: <https://lvportals.lv/norises/346533-tautas-ataudzies-strategija-mekle-izeju-no-demografiskas-bedres-2022>. (In Latv.).
14. Korotaev A.V., Tsirel’ S.V. Kondratieff waves in the global economic dynamics. Korotaev A.V., Khalturina D.A. (Eds.). *System Monitoring. Global and Regional Development*. Moscow; 2009. (In Russ.).
15. Krišjāne Z., Krūmiņš J. (Eds.). *Population Reproduction and Challenges for Renewal of Society in Latvia*. Riga; 2019. (In Latv.).
16. Latvia Television Program “Forbidden Technique”. [Europe is dying — what can be done to have more children in Latvia? Explores the “Forbidden Technique”]. 2023. URL: <https://www.lsm.lv/raksts/zinas/zinu-analize/eiropa-izmirst-ko-darit-lai-latvija-dzimtu-vairak-bernu-peta-aizliegtais-panemiens.a491783>. (In Latv.).
17. McDonald P. A projection of Australia’s future fertility rates. 2020. URL: https://population.gov.au/sites/population.gov.au/files/2021-09/2020_mcdonald_fertility_projections.pdf
18. Mežs I. Ethnic and regional aspects of birth in Latvia 1985–2010. *LZA Vēstis=Bulletin of the Latvian Academy of Sciences*. 2011; 65 (3/4). (In Latv.).
19. Mosakova E.A. Era of covid-19: How the pandemic affected gender inequality and fertility (on the example of BRICS). *RUDN Journal of Sociology*. 2023; 23 (2). (In Russ.).
20. Mubila M. Briefing Note 4: Africa’s demographic trends. 2012. URL: <https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Policy-Documents/FINAL%20Briefing%20Note%204%20Africas%20Demographic%20Trends.pdf>
21. Nefyodov S.A. On the theory of demographic cycles. 2001. URL: <http://www.hist.msu.ru/Labs/Ecohist/OB8/nefyodov.htm>. (In Russ.).
22. Official statistics portal: Number of births and birth rates. 2023. URL: <https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/iedzivotaji/dzimstiba/238-dzimuso-skaitis-un-dzimstibas-koeficienti>. (In Latv.).
23. Ovechkina N.I., Shulgina N.A. Cyclicity theory in economics and demography. *Vestnik NGUEU=Bulletin of the NSUEM*. 2012; 2. (In Russ.).
24. Pirsko L., Sebre S., Upmane A. Exploring the factors contributing to marriage, fertility, and positive child-parent relationships: A comparison of 2022 and 2004 survey results. Riga; 2022. (In Latv.).
25. Pourreza, A., Sadeghi, A., Amini-Rarani, M., Khodayari-Zarnaq R., Jafari H. Contributing factors to the total fertility rate declining trend in the Middle East and North Africa: a systemic review. *Journal of Health, Population and Nutrition*. 2021; 40 (11).
26. Revina I. *Econometrics*. Riga; 2002. (In Latv.).

*© Меньшиков В., Кудиньш Я., Кокаревича А., Комарова В., Чижо Э., 2023
Статья поступила 17.07.2023 г. Статья принята к публикации 16.10.2023 г.

27. Skirbekk V. *Decline and Prosper: Changing Global Birth Rates and the Advantages of Fewer Children*. Springer; 2022.
28. Stepin V.S. *Man. Activity. Culture*. Saint Petersburg; 2019. (In Russ.).
29. StudySmarter: Economic cycle. Macroeconomics. 2023. URL: <https://www.studysmarter.co.uk/explanations/macroeconomics/economic-performance/economic-cycle>.
30. Tretjakova V., Gedvilaitė-Kordušienė M., Rapolienė G. Women's pathways to childlessness in Lithuania. *Sociālo Zinātņu Vēstnesis=Sociological Sciences Bulletin*. 2020; 31 (2).
31. Unāma E., Jansone M. Big interview at the crossroads: Demographer Zane Varpinya. 2022. URL: <https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/krustpunkta/krustpunkta-liela-intervija-demografe-zane-varpina.a167968>. (In Latv.).
32. Volodko I. *Higher mathematics. Part I*. Riga; 2007. (In Latv.).
33. World Economic Forum: *What Does the Global Decline of the Fertility Rate Look Like?* 2022. URL: <https://www.weforum.org/agenda/2022/06/global-decline-of-fertility-rates-visualised>.
34. Zitmane M., Lāma E. “Wake up and think of the children!”: The ambivalent relationship between motherhood, femininity and anti-vaccination. *The New Communication Revolution*. Uniwersytet Jagiellonski; 2023.
35. Zvidrins P. The dynamics of fertility in Latvia. *Population Studies*, 1979; 33 (2).

DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-4-825-838

EDN: HYQFPF

Междисциплинарное исследование среднесрочного тренда рождаемости в Латвии (1970–2022 годы)*

В. Меньшиков¹, Я. Кудиньш¹, А. Кокаревича²,
В. Комарова¹, Э. Чижо¹

¹Даугавпилский университет,
ул. Виенибас, 13, Даугавпилс, LV-5401, Латвия

²Рижский университет им. Страдыня,
ул. Дзирциема, 16, Рига, LV-1007, Латвия

(e-mail: vladimirs.mensikovs@du.lv; janis.kudins@du.lv;
anita.kokarevica@rsu.lv; vera.komarova@du.lv; edmunds.cizo@du.lv)

Аннотация. Цель статьи — оценка среднесрочного тренда рождаемости в Латвии. Основной исследовательский вопрос — возможно ли в ближайшем будущем повышение уровня рождаемости в Латвии согласно планам «Стратегии воспроизводства населения СЕМЬЯ — ЛАТВИЯ — 2030 (2050)»? Авторы провели математический анализ показателей рождаемости в Латвии за среднесрочный период 1970–2022 годов (53 года), который включает в себя так называемую «советскую эпоху» и последовавшие за ней десятилетия независимости Латвии после распада СССР. Эмпирическую базу исследования сформировали общедоступные данные официальной латвийской статистики о суммарном коэффициенте рождаемости. Новизна данного междисциплинарного — демографического, экономического и социологического — проекта обусловлена применением математического анализа для изучения демографических трендов, что почти не встречается в публикациях латвийских и зарубежных исследователей, а также использование теории экономических циклов для определения демографических циклов рождаемости и их фаз в Латвии — в целях прогнозирования уровня рождаемости

в стране на ближайшее будущее. Кроме того, анализ данных социологических опросов помог авторам понять основную причину устойчивого в среднесрочном периоде линейного падения рождаемости в Латвии — это изменение ценностных доминант общества, вследствие чего ребенок больше не находится в центре системы ценностей мужчин и особенно женщин, больше не считается краеугольным камнем жизненной самореализации. По результатам математического анализа среднесрочного тренда рождаемости авторы высказывают предположение, что спад рождаемости в Латвии будет продолжаться еще несколько лет, прежде чем будет достигнуто дно очередного демографического цикла (его показатель будет ниже предыдущего, т.е. ниже 1,22–1,25) и наметится тенденция роста рождаемости в рамках линейно снижающегося общего тренда. Но и этот ожидаемый подъем не достигнет предыдущего пика (скорее всего будет ниже 1,74). Таким образом, желаемое и даже прогнозируемое создателями «Стратегии воспроизводства населения» повышение рождаемости в Латвии до уровня 1,77 к 2027 году авторы считают совершенно недостижимым.

Ключевые слова: рождаемость; суммарный коэффициент рождаемости; математический анализ; демографические циклы; экономические циклы; изменения ценностной системы; Латвия



DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-4-839-850

EDN: GIQKGH

Social-cultural features of the suicidal behaviour in Bosnia and Herzegovina*

B. Milošević Šošo¹, A. Taljanović²

¹University of East Sarajevo,
East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

²University of Sarajevo,
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

(e-mail: milosevic_biljana@yahoo.com; ataljanovic@fkn.unsa.ba)

Abstract. The paper considers specific factors related to suicide and the influence of general, social-cultural factors on suicide in a typical post-war society — Bosnia and Herzegovina (BH). Many researchers focus on the life history of a person that committed suicide in order to get a better understanding of its social-psychological and other factors. However, the authors consider the social-economic factors of suicide based on the survey on social-cultural characteristics of suicide in BH. Part of the sample consisted of respondents that were friends or neighbours of the suicider. BH is a multicultural society that suffered war events not so long ago, which determined social-economic devastation and misery. The consequences are post-traumatic syndrome, high unemployment, social disorders, and social-pathological phenomena, including suicide. In BH, suicide is largely determined by the social circumstances, while certain social-psychological factors seem to be less important (individual pain and suffering caused by accidents or discomforts). Therefore, to understand the causes of increased suicide rates in certain periods and societies, we need to analyse the very nature of the particular society. The suicide rate in BH was considered through the social-cultural determinants of suicide. The ten-year timeframe does not exclude the impact of the previous turbulent period, including a decade of great political turmoil and economic crisis in the post-war society. Thus, the authors studied the statistical data collected by the relevant public institutions and the survey data collected with three questionnaires. Based on that data, the authors analysed in detail the causes of suicide in BH and the effects of specific social-cultural factors in the society trying to overcome the consequences of war after two decades of interethnic conflicts and strong international involvement. By considering the biography, interpersonal relationships, physical and mental health, lifestyle and other aspects of life of the person that committed suicide, the authors identify the most significant risk factors of suicidal behaviour, which may influence a personal decision to commit suicide (including ‘triggers’ and the level of suicidal intent). The social-cultural aspects of suicide prove that this phenomenon has a historical, cultural, religious and global social dimension, which means the need in its multidisciplinary study.

Key words: suicide; social-cultural factors; social-economic factors; population; Bosnia and Herzegovina (BH); post-war society

*© B. Milošević Šošo, A. Taljanović, 2023

The article was submitted on 13.07.2023. The article was accepted on 16.10.2023.

In BH, over 30 % of the population live below the poverty rate, and developmental traumas and family problems cause disorders lead to suicide. Its rates are similar in BH, Croatia and Serbia, but are the highest in neighbouring countries: Hungary, Slovenia, Italy and Greece. Today Europe has the highest number of suicides in the world. According to the WHO, in 2017, the highest suicide rate was in Europe (14.1 per 100 thousand; in Lithuania — 32.7), and the lowest — in the Eastern Mediterranean region (3.8), i.e., in the region with constant political crises and wars in the last few decades (Lebanon, Syria, Palestine, Israel, Egypt, Turkey, Jordan and Libya). In the mid-1980s, the WHO declared suicide prevention a significant domain of national activities, and many countries have achieved positive results (Sweden, Norway, Finland, Netherlands, New Zealand, Scotland, United Kingdom and Australia). Numerous national suicide prevention strategies were adopted together with specific local, regional and national programs to reduce the number of suicides. The attitude towards suicide is largely determined by cultural and religious norms; however, in many countries, religious and legal sanctions were cancelled in the late 20th century, and suicidal acts are no longer treated as criminal.

The sociological approach to suicide focuses on the importance of its 'environment' — social, economic and cultural factors — based on the assumption that suicide is mainly a consequence of general social disorganization, i.e., a reflection of social-cultural meanings in a certain environment, a result of some social conditions for a certain population group. Most authors refer to the work of Emile Durkheim as the founder of suicidology. His study *Suicide* is “still the best example of not only a study of suicide, but of a social study in general” due to “the consistency and power of his arguments” [17. P. 8]. Durkheim explains suicide as a result of social influences and stresses the relationship between an individual and a society as a key to understanding suicide. Suicide is a reflection of broken social integration and regulation, i.e., of insufficient or excessive degree of social integration and regulation [4]. Similar approach was developed by most authors who consider social risks as the most important factor contributing to an increase in suicide: urbanization and modernization, changes of social status, roles and mobility, effects of social networks and conflicts, unequal access to social capital, changes in economic cycles and so on. Moreover, the social meaning of suicide depends on cultural norms, beliefs and values, customs and patterns of suicidal behaviour and reactions to it; suicidal patterns are also determined by their physical and cultural availability and acceptability (exposure to stress, sensitivity to external influences, behaviour features, etc.). Thus, whether the feeling of hopelessness would lead to suicidal behaviour or not depends on different risk and protective factors. Some risk factors vary depending on sex, age, group, etc.; other risk factors change with time, occur in combination or have different degrees of expression and influence. However, no single factor sufficient for suicide has been identified [25; 26].

In general, the following approaches to suicide can be identified in sociology: positivist, functionalist, structural and humanistic-existential. In the positivist

perspective, it is important to refer to the deviant (and social-pathological) [9]. Thus, collective consciousness consists of norms and values that developed during the evolution of society and ensures socialized behaviour. Modern society attaches great importance to control mechanisms, such as law and moral, because these are supported by institutional sanctions. To understand Durkheim's position on suicide it is important to note two starting points for his concept: differences between the social normal and the social pathological; the concept of anomie. According to Durkheim, suicidal tendencies in a certain social group are determined by two variables: social integration and social regulation, i.e., a specific type/degree of social unity and social standardization, — suicide regularity is inversely proportional to the degree of social integration. Functional approach refers mainly to Durkheim's concept of anomie: society is based on common values as the basis for integration of the social system, socialization is the basic agent of social control that harmonises individual actions with expectations of the social system; anomie questions both these bases [9].

There are three concepts of deviation in the functionalist approach: theory of functionality and dysfunctionality of deviation by Talcott Parsons and Kingsley Davis (deviation as preserving or destructing social order); theory of anomie by Robert Merton, who stressed internal contradictions of the system as a key for explaining deviations; theory of subculture by Albert Cohen, Richard Cloward, Lloyd Ohlin and Walter Miller. For Parsons, the basic characteristic of social system is a normatively regulated social structure; therefore, he focused on maintaining social order, a state of balance, similar to parts of an organism, which perform certain functions for preserving the system as a whole. Merton modified the theory of anomie to show that deviance and suicidality are determined by culture and structure of society: culture consists of norms, standards, values and goals that determine the behaviour of an individual or a group, while social structure consists of the organized social relations and positions. Anomie is a disruption in the cultural structure, in particular, a conflict between goals, culture norms and social structure, which creates social tensions and deviant behaviour. Merton also suggested a typology of individual adaptation to social anomie.

Social theories that explain suicide were developed before social-psychological ones — in opposition to biologically oriented medical models of mental disorders. Parsons' functionalist theory is also known as the theory of roles: it represents one understanding of social disorders (theory of anomie, theory of labelling, theoretical model of the 'career' of the mentally ill, ethno-methodology — phenomenological, anti-psychiatric explanation of mental illness). According to the social roles theory, social role is a key category, since different roles serve to keep balance in the social system, contributing to its functionality. Parsons mentions the following social characteristics of the ill: expects a socially legitimate compassion and help from others; released from all social roles played before (obligations related to work, family); is responsible for making oneself better; has to cooperate with others.

The humanistic-existential approach to social deviations and suicide is rooted in the philosophical-anthropological and social-theoretical understanding of the classical German idealistic philosophy, Marxist thought, philosophy of existentialism and psychoanalysis [6. P. 3]. The influence of these ideas is most significant in the works of Erich Fromm, who critically interpreted Freud's ideas (unconscious, Oedipus complex, transfer, narcissism, libido, defence mechanism, theory of instincts, and so on) and replaced them with the theory of personal connection to social world [5. P. 62], defining personal normalcy and mental health as a situation when one can satisfy all his specific human needs in a 'positive' manner — through creativity, love, etc. Fromm's categorical apparatus is under the strong influence of existentialism: he talks about the 'curse' of self-esteem, 'unresolved contradictions', experience of death, human as an anomaly of nature or 'freak of the universe', human situation as paradoxical, tragic, filled with suffering and questions on the meaning of life, and so on. In human nature, Fromm identifies three principal existential contradictions a man cannot remove but can respond to in different ways: between life and death; potential life possibilities and shortness of life; human loneliness and need to live with other human beings.

Our search for solution to existential contradictions is not always 'positive' — one can satisfy one's needs in a 'negative' and even destructive manner, frequently finding irrational solutions that lead to aggression, sadism, suicide and other. Starting from the understanding of the social character, Fromm argues that the contemporary society has a two-fold influence on human beings, making them more independent, self-confident and critical, but at the same time more scared, lonely and separated. Many personal goals only seem as personal, while actually one thinks and speaks what other think and speak due to the powerful anonymous authority such as public opinion and common sense. This authority forces a man into conformism, using his existential fears to subjugate him to the needs of some higher power or ideology. According to the existentialistic theory, suicide is a form of behaviour in the moment of life crisis, a response to the realistic existential crisis, an appeal to the 'significant other'. Suicide is an existential act since a man kills himself.

The following data presents the observations of respondents about their close ones who committed suicide, their general social-demographic and social-economic characteristics, the society they lived in (especially close social circle), and ideas whether it is possible to recognize the suicidal behaviour of relatives, friends, acquaintances, neighbours and others before the fatal act of suicide. The basic hypothesis of the research relies on Merton's theory of deviance, which emphasizes that deviances are the result of the impossibility of achieving cultural goals in a legitimate way [8]. The sample consisted of 98 respondents whose relatives or neighbours or acquaintances committed suicide. The suicide victims known to the respondents were mostly males (55 %) living in the city (82 %), with a four-year high school (43 %; less often with a higher education — 16 %, secondary or not-finished higher school — 18 %), unemployed (43 %), permanently (32 %) or occasionally

employed (18 %); divorced (43 %); with debts (12 %), victims of mobbing (9 %), in conflict with family (6 %) or the wider surrounding (6 %), etc. This data indicates that the previous assumptions about the ‘good life’ have largely disappeared: during the so-called ‘period of socialist self-government’ in the former Yugoslav society, there was even a popular workers’ slogan: “*I like this regime, I hardly do any work and still get the salary*” [10].

Correlation tests show to which extent the changes in one variable are related to changes in another variable. We observed two variables: gender as an indicator but also a determinant of the social-economic status, and other variables of social-cultural influence. Concerning gender, men were mainly chronic patients and used medicaments; to a much greater extent men are socially excluded, prone to aggressive outbursts and alcohol consumption; while women who committed suicide were much more indebted with loan (Table 1).

Table 1

Relationship of gender with certain social-cultural factors of suicide

Social-cultural factors/Gender		%	%
		Yes	No
Suffered from chronic disease	Male	14	41
	Female	3	38
Consumed medications	Male	17	38
	Female	4	37
Were socially excluded	Male	18	37
	Female	3	38
Were prone to aggressive outbursts	Male	19	36
	Female	6	35
Were indebted with loan	Male	18	37
	Female	35	8
Were alcoholics	Male	18	37
	Female	3	38

Concerning the employment status of suicide victims, several statistically significant links are noticeable: pensioners and unemployed more often think about committing suicide; more often suffer from chronic illness and use medications; unemployed are statistically (by the number of close friends) more socially isolated than other groups and more prone to aggressive outbursts. A loan indebted person with an unstable and insecure income acquires various types of fears and anxiety that puts pressure on one’s daily life (Table 2).

Widows and widowers were often suffering from chronic diseases than the married and divorced, while the divorced and widows/widowers were more prone to aggressive outbursts and conflicts with their families and wider social circle (Table 3).

Table 2

The relationship of employment status with certain social-cultural factors (%)

Social-cultural factors/Employment status		Yes	No
Said they would commit suicide	Permanently employed	2	28
	Occasionally employed	8	10
	Unemployed	10	33
	Pensioner	2	2
Suffered from chronic diseases	Permanently employed	2	28
	Occasionally employed	4	14
	Unemployed	9	34
	Pensioner	3	1
Consumed medications	Permanently employed	4	26
	Occasionally employed	4	14
	Unemployed	11	32
	Pensioner	3	1
Were prone to aggressive outbursts	Permanently employed	3	27
	Occasionally employed	7	11
	Unemployed	12	31
	Pensioner	3	1
Were victims of mobbing	Permanently employed	5	25
	Occasionally employed	10	8
	Unemployed	24	19
	Pensioner	1	3
Were indebted with loan	Permanently employed	25	7
	Occasionally employed	12	6
	Unemployed	14	29
	Pensioner	3	1
Were prone to gambling	Permanently employed	2	28
	Occasionally employed	3	15
	Unemployed	7	36
	Pensioner	3	1
Possessed a firearm	Permanently employed	1	29
	Occasionally employed	3	15
	Unemployed	4	39
	Pensioner	4	0

Table 3

The relationship of marital status with certain social-cultural factors (%)

Social-cultural factors/Marital status		Yes	No
Suffering from chronic diseases	Married	6	14
	Divorced	3	38
	Widow/er	7	4
Consumed tranquilizers	Married	6	14
	Divorced	5	36
	Widow/er	7	4
Were in conflict with their family	Married	5	15
	Divorced	7	34
	Widow/er	7	4
Possessed a firearm	Married	4	16
	Divorced	2	39
	Widow/er	4	7

We used the T-test to compare the value of the constant variable in two different groups, and found out differences in the financial factor of suicide and in the type of feelings respondents had. First, the T-test of independent samples showed a significant statistical difference in questions about financial problems as a factor of suicide according to such feelings of respondents as jealousy (0.008), depression (0.045) and hopelessness (0.042). It seems that the general feature of suicide, besides its psycho-pathological nature, is the strong influence of the social-economic situation. Thus, transitional conditions and opportunities in BH are one of the individual suicidal risks. In BH and neighbouring countries, suicide risk factors were analysed by gender, age, climate, migration, and so on, and the importance of transition, inheritance, psychopathology, domestic violence, ethical and religious factors was identified.

Before the war, in the first half of the 1990s, BH had a population of 5.1 million and a suicide rate of 11.5 per 100 thousand; and at around 3.8 million, the rate was the highest in 2001–21.7. Based on the results of our research, we can conclude that the growing number of suicides indicates the personal inability to ‘cope’ with the daily challenges, and these are primarily of a social-economic nature. A large part

of the BH population lives on the edge of existence and, at least for now, do not fight for a better life in a rational way (as evidenced by the enormous gap between the rich and the poor). This society looks like an imitation of a ‘consumer society’ in which, on the one hand, some luxury (expensive cars, houses, entertainment, etc.) is constantly offered by advertisements, while, on the other hand, many people hardly make ends meet. In such a situation — when the man lives in poverty and sees luxury around — one often thinks that he will never provide for himself and his family, which makes him feel that his life is meaningless and opens the road to suicide. First an individual blames society for poverty and helplessness, feels aggressive, but then realizes that changes are beyond his reach, so he transfers aggression to a closer environment and can end up with the so-called ‘retaliatory aggression’ and self-harm.

Suicide rates are similar in BH, Croatia and Serbia, and the highest ones are in neighbouring countries — Hungary, Slovenia, Italy and Greece. In the contemporary global conditions, most countries in this region are among nearly fifty leading countries in the world in terms of suicide rates. The countries of the former Eastern Bloc show the highest suicide rates, especially among men. In BH, over 30 % of the population live below the poverty line, which may force adults to commit suicide. The impact of social status on suicide is undisputed for disintegrated families, domestic violence, lack of role models and (mis) use of psychoactive substances. Low social-economic status is associated with suicidal behaviour as well as low level of education. Women more often promise to commit suicide, while men use more violent methods for committing suicide. Compared to women, men are less likely to seek psychological help, but committing suicide is socially stigmatized in both genders.

The society of BH has the essential features of the war-torn society. Historically — both before and after the long Ottoman rule, then during the Austro-Hungarian rule and the Yugoslav community, and until today — BH has been the scene of several wars, which allows to consider the data of our sociological research through Merton’s anomie theory. After the destructive war of 1992–1995, a huge demographic loss caused natural depopulation. In the current post-Dayton period of irrational policies of ethnic nationalism, reforms slow down and various social tensions appear, which further worsens the demographic situation. When this community was stable and effective, it had a positive effect on overall prosperity, and even on demographic opportunities, and vice versa [18. P. 288]. In other words, the social-economic recovery of the post-war society in BH is quite slowly and relies on international assistance, which means that in order to meet their basic existential needs, members of the BH society are rather ‘coping’ than developing their long-term employment and life strategies. The last war events (1990s) as a regressive social change in BH determined a large number of single-parent families, families without both parents, i.e., many children were deprived of parental care, which affects individual susceptibility to mental disorders and stresses that affect suicidal behaviour.

The most significant risk factors of suicidal behaviour (including ‘triggers’ and the level of suicidal intent) are: social exclusion, which is largely due to poor economic policies in general and poor social policies for the most vulnerable groups; high unemployment, poverty and social isolation. Living in poverty creates social difficulties, and poor people have a lower level of psychological stability, tend to deviant behaviours and dissatisfaction, which may lead to self-harm and suicide. In transitional societies, we can talk about cyclical unemployment caused by stagnation and declining production, changing demand and recessive stages of the economic cycle. According to the data from the “World Top 20” project, BH is the third country in the world in terms of unemployment rate (42 %) [12]. 43 % of suicide victims were divorced, 20 % — married and 11 % — widowed; most had children (60 %); only 10 % left a farewell message.

The suicide rates depend on several factors, among which the most significant are social-cultural and temporal variations (wars, economic crises, etc.). In addition to the above-mentioned factors, there are some general characteristics of those prone to suicide. Social-economic factors are the most common trigger for suicide: when a person does not feel safe, socially accepted and important, he chooses isolation and loses social contacts. Different personality structures react differently to this situation: if society is a constant source of frustration and no support, the individual turns to aggression, suffers and commits suicide, which is not only personal but also family and social problem. It is necessary to help people to express aggression in a right way not negatively affecting oneself and one’s social circle in addition to improving the standards of living and the quality of life — by reducing unemployment, poverty and huge social disparities, strengthening respect for the rule of law and for human rights, including the right to work and decent life. Social support networks, including partner and marital ones, are one of the basic factors in maintaining mental health, thus, reducing the risk of suicidal behaviour. In the timeframe taken for research (from 2005 to 2015), we considered the situation in BH in terms of the social-cultural aspects of suicide, which led to the conclusion that BH transitional society is in the state of constant ‘accession to the European Union’, and this ‘delayed’ modernization has largely determined the prolonged high rate of suicide.

The WHO data indicates a general trend of increasing suicide rates in the world in general. Thus, the question is whether the greatest values of human being are lost together with the meaning of life. Sociology (as a profession and not only a science) is to respond to the social call for help, i.e., to help to change the situation with its professional methods. Many suicide studies emphasize the general characteristics of sociology such as that social laws cannot be derived from psychological or biological ones. However, a sociological empirical research of suicide behaviour cannot remain general because it is about social (im) possibilities of achieving the meaning of life in the community. Sociological research should focus on collecting relevant

facts about the current social ‘environment’ and prospects for its development with an emphasis on social challenges, risks and threats that significantly affect negative changes.

An increased number of suicides over time does not necessarily indicate that our efforts became useless or our ability to satisfy reasonable needs decreased — rather that we no longer know where reasonable desires end and what is the point of all our efforts. Today consumer society offers new values that cannot satisfy the deepest requirements of the human spirit, which, according to Fromm, should be a ‘victory of being over having’. Positive values have been devalued, and instead of good interpersonal relationships aggression, violence and crime are becoming increasingly dominant. Thus, a gap between the true human needs and the available opportunities for achieving them in society leads to an increasing number of suicides. For that reason suicide can be defined as a form of communication at the moment of a life crisis, i.e., as a response to a realistic existential crisis and as an appeal to the ‘significant other’ (representing ‘a closer society’).

References

1. Adler A. *Suicide and Suicidal Ideas*, Belgrade; 1984.
2. Blauner S.R. *How I Survived while My Own Brain Tried to Kill Me*. Zagreb; 2005.
3. Bošković M. *Social Pathology*. Novi Sad; 2007.
4. Durkheim E. *Suicide*. Belgrade; 1977.
5. Fromm E. *Healthy Society*. Zagreb; 1984.
6. Jugović A. *Theory of Social Deviance*, Belgrade; 2009.
7. Merton R.K. Social structure and anomie. *American Sociological Review*. 1938; 3 (5).
8. Merton R.K. *Social Theory and Social Structure*. New York; 1965.
9. Milisavljević M. *Deviations and Society*. Belgrade; 2003.
10. Milošević B. Household working strategies in the transitional post-war society: On the example of Republic Srpska. *Sociological Review*. 2011; 45 (2).
11. Milošević B., Milovanović I. Socio-cultural capital as the basis of working strategy of the household/family in post-conflict societies: On the example of the Republic Srpska and the North of Kosovo. *Studii de Știință și Cultură*. 2005; 10 (2).
12. Milošević Šošo B. *Deviant Phenomena in the Republic Srpska*. East Novo Sarajevo; 2018.
13. Milovanović M. *Suicide*. Belgrade; 1929.
14. Narbut N.P., Trotsuk I.V. Serbian post-socialist transition: Notes of the participant observer. *RUDN Journal of Sociology*. 2018; 18 (1).
15. Opalić P. *Suicide as an Individual Phenomenon. Suicides in Yugoslavia*. Belgrade; 1990.
16. Penev G., Stanković B. Suicides in Serbia at the beginning of the 21st century and changes in the past fifty years. *Social Thought*. 2007; 2.
17. Petrović R., Opalić P., Radulović D. *Suicides in Yugoslavia*. Belgrade; 1990.
18. Sinanović Z. *Suicide — Individual Choice and (or) Consequence of Crisis*. Sarajevo; 2012.
19. Stanković B., Penev G. Sociocultural context of suicidal behaviour and some relevant facts about suicides in Serbia. *Sociological Review*. 2009; 15 (2).
20. Taljanović A. *Analysis and Interpretation of the Data on the Suicide Rate in BiH from 2005 to 2015*. Kiseljak; 2020. No. 2.
21. Taljanović A. *Suicidal Social Mentality in the Post-War Society of Bosnia and Herzegovina*. Kiseljak; 2020. No. 1.
22. Telebaković B. *The Problem of Freedom*. Belgrade; 2008.

23. Trotsuk I. Instead of a review; or, what, and thanks to whom, do we know about a man at war? *Russian Sociological Survey*. 2015; 14 (4).
24. Vljaković J. *Life crises — prevention and overcoming*. Belgrade; 2005.
25. WHO: *Preventing Suicide: A Global Imperative*; 2014.
26. WHO: *Suicide Prevention (SUPRE)*; 2007.

DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-4-839-850

EDN: GIQKGN

Социокультурные характеристики суицидального поведения в Боснии и Герцеговине*

Б. Милошевич Шошо¹, А. Талянович²

¹Университет Восточного Сараево,
Восточное Сараево, Босния и Герцеговина

²Университет Сараево,
Сараево, Босния и Герцеговина

(e-mail: milosevic_biljana@yahoo.com; ataljanovic@fkn.unsa.ba)

Аннотация. В статье рассмотрены особые факторы, влияющие на характеристики самоубийств в современном обществе, а также общие социокультурные факторы, определяющие уровень самоубийств в типичном поствоенном обществе — на примере Боснии и Герцеговины. Многие исследователи сосредоточивают внимание на истории жизни человека, который совершил самоубийство, чтобы лучше понять социально-психологические и иные мотивы такого шага. Однако авторы рассматривают социально-экономические факторы самоубийства, опираясь на результаты опроса, проведенного в Боснии и Герцеговине. Часть выборочной совокупности составляли респонденты, которые были друзьями или соседями человека, совершившего самоубийство. Босния и Герцеговина — мультикультурное общество, которое не так давно пережило военный конфликт, повлекший серьезные социально-экономические последствия и бедствия. Результатом стал посттравматический синдром у значительной части населения, высокий уровень безработицы, нарушения социального порядка и такие социально-патологические явления, как самоубийства. В Боснии и Герцеговине одной из основных причин самоубийства являются социальные обстоятельства, тогда как общеизвестные социально-психологические факторы представляются менее важными (индивидуальные переживания, обусловленные несчастным случаем или сложностями). Таким образом, чтобы понять причины роста уровня самоубийств в определенные периоды в определенных обществах, необходимо исследовать конкретную социальную систему. Так, за десятилетний период уровень самоубийств в Боснии и Герцеговине вырос, но даже если рассматривать социально-культурные детерминанты суицидов, то нельзя не отметить воздействие на них предшествующего турбулентного периода, в том числе крупных политических потрясений и экономических кризисов, выпавших

*© Милошевич Шошо Б., Талянович А., 2023

Статья поступила 13.07.2023 г. Статья принята к публикации 16.10.2023 г.

на долю страны в поствоенный период. Авторы опираются на официальные статистические данные и результаты опросов, определяя причины самоубийств, характерные для Боснии и Герцеговины, а также воздействие на них особых социокультурных факторов в обществе, которое пытается преодолеть последствия войны после многолетних межэтнических конфликтов при международном вмешательстве. Авторы считают необходимым сочетать в социологическом изучении самоубийства разнообразных данных — биографических, о межличностных взаимоотношениях, физическом и психологическом здоровье, образе жизни и прочих чертах жизни человека, совершившего самоубийство, чтобы определить наиболее значимые факторы риска суицидального поведения (включая «триггеры» и уровень суицидального намерения). Социокультурные аспекты самоубийства подтверждают, что этот феномен сочетает в себе историческое, культурное, религиозное и глобальное социальное измерения, а потому нуждается в междисциплинарном изучении.

Ключевые слова: самоубийство; социокультурные факторы; социально-экономические факторы; население; Босния и Герцеговина; поствоенное общество



СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ЛЕКТОРИЙ

SOCIOLOGICAL LECTURES

DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-4-851-865

EDN: DLIPUS

Sociological study of cyber threats as an integrated part of the general data protection regulation*

M.A. Muqsith¹, V.L. Muzykant², R.R. Pratomo¹

¹Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia University,
R.S. Fatmawati Raya St., Depok city, West Java, Indonesia, 12450

²RUDN University, Moscow, Russia,
Miklukho-Maklaya St., 6, Moscow, 117198, Russia

(e-mail: munadhil@upnvj.ac.id; vmouzyka@mail.ru; rizkyridho0897@gmail.com)

Abstract. Sociology studies society and the patterns of its development, social processes, institutions, relations, structures, communities and certain cultural values which determine its development. Sociology also studies human behavior — how it affects society, and how people behave in social groups. There are many understandings of sovereignty in academic circles but mainly as absolute and hierarchical. As time passes, the concept of sovereignty, which prioritizes territory, has begun to lose relevance due to massive technological developments. In the context of technology and national security, territorial rules are irrelevant for three reasons: technology makes consistent and predictable territorial definitions difficult, data often moves in ways unrelated to the interests of users and legislators, and technology makes it easier for public and private actors to circumvent territorial rules, often without detection [12]. Another consequence of technological development is new actors with strong international influence due to globalization, free markets, and technological developments. Of all these actors, the most interesting are multinational companies. They do not operate on a territorial basis, which creates problems of jurisdictional asymmetry, overlap and control rather than of sovereignty in its formal sense [40]. Is sovereignty still relevant for the state? Since the advent of the Internet, the relevance of the nation-state concept has been questioned, and state actors have gradually lost their dominance. The Internet supports many international actors, and technology companies are the most significant. Their domination creates economic, legal, political, and social challenges; thereby, the state tries to regulate technology companies. The authors argue that the state sovereignty is still relevant despite many arguments saying otherwise. The paper

*© M.A. Muqsith, V.L. Muzykant, R.R. Pratomo, 2023

The article was submitted on 28.07.2023. The article was accepted on 16.10.2023.

explains the relevancy of the state sovereignty by presenting two cases: the General Data Protection Regulation (GDPR) and the New Media Bargaining Code (NMBC). The nation-state demonstrates its sovereignty by the law affecting national companies; thus, showing that the state can restrain the power of technology companies, i.e., state sovereignty is still relevant in the contemporary era.

Key words: cyber threats; data sovereignty; digital era; technology companies; General Data Protection Regulation (GDPR); New Media Bargaining Code (NMBC)

The principles of territoriality and state hierarchy appear at odds with the pervasive, flexible, and ever-changing constellation of global digital networks. Externally, sovereignty implies that each state is independent and is formally equal to others. Globalization erodes the meaning of state sovereignty due to new ‘feudal lords’ on a global scale. One thing that makes the multinational company’s position unique is data. The saying ‘data is the new oil’ is true. When individuals search for information, they provide data for Google’s algorithms to analyze. With patterns like this, algorithms can predict people’s preferences according to their new data [54], which creates ‘surveillance capitalism’ [45]. There are several dominant technology companies (Alphabet, Meta, Amazon, Apple, and Microsoft), especially Alphabet and Meta: the former owns YouTube — the world’s largest video streaming platform; Meta controls three social media platforms [47]. These platforms dominate public use and threaten the state authority and sovereignty. Therefore, several regulations were introduced to control the power of technology companies, such as the European Union’s General Data Protection Regulation (GDPR) and the Australian government’s News Media Bargaining Code (NMBC). For instance, GDPR encourages companies to develop information governance frameworks, use internal data, and keep humans in the loop in decision-making. Certainly, GDPR has side effects, but increases trust, standardization, and reputation of institutions [70]. GDPR manifests extraterritoriality, which can be legitimized by certain fundamental rights obligations [57].

Most studies prove the significant impact of the GDPR and NMBC regulations. However, one thing not discussed is what such regulations imply for the state sovereignty, how countries assert their sovereignty and compete to change and adapt [38]. The state still strives to prove its territorial sovereignty over technology companies, which is why today sovereignty includes digital one, and states have the right to assert their control in virtual worlds as based on physical constructs [44]. The article considers the state’s efforts to demonstrate its sovereignty, focusing on GDPR in the European Union and NMBC in Australia: GDPR demands significant data protection safeguards, poses new challenges and opens new opportunities for organizations worldwide; NMBC brought regulation in rulemaking, changing it from reactive to systematic [6].

It seems that technology companies and the state fight for dominance and control of data. According to Antonio Gramsci, hegemony is a concept that

can explain two things: how the state apparatus or political society can force (with law, police, army, and prisons) to agree with the status quo; and how the dominant economic group uses the state apparatus to maintain the status quo [32]. Globalization questions the state's status quo as the sole owner of sovereignty, which is still trapped in the territorial paradigm. Globalization and technological developments bring new challenges: dematerialization (everything is paperless), de-temporalization (instant communication), and deterritorialization (not boundaries and geographical distances) of online activities and interactions [1]. Even if sovereignty encompasses the digital and there are physical factors such as ownership of company data banks [44], this does not prevent the state hegemony from eroding in international politics, in which technology companies become dominant actors.

The way for technology companies to achieve their hegemony is through normal means. According to Gramsci, “the exercise of ‘normal’ hegemony... is characterized by a combination of power and consent, which balance each other reciprocally without overly dominating power over consent. Indeed, efforts are always made to ensure that coercion will appear to be based on majority consent” [31]. When the Internet was invented, the world started to change — the power paradigm is evolving for data, especially personal data, becomes a new source of hegemony providing multi-faceted benefits. The processing of personal information became the newest form of bioprospecting, as entities of all sizes compete to discover new patterns and extract their market value [14]. For instance, Alphabet and Meta, two leading technology companies, have huge data stores — the data from billions of users cannot be managed by the traditional systems of physical and legal control; its constitutive differences render the state power, which animates them impotent, if not obsolete [36].

Dominant position of technology companies

Technology companies have a broad impact on society — their services make people's lives easier. For instance, social media allows to communicate, interact, share knowledge and moments with many people beyond time or distance. It is also easier for us to search for information due to the developed search engines. Meta and Google are the two most dominant technology companies. Meta has three social media platforms that are still people's favorites (Fig. 1) — Meta holds more than five billion people's data that can be used for market purposes.

Google is the largest search engine platform in terms of market: until August 2023, 91.85 % of the market was controlled by Google, i.e., people depend on the Google search engine to find information, and it would be difficult for them to switch to other platforms. Moreover, Google make things easier, thus, holding a very strong bargaining position in society: Google has YouTube, which is the main platform for free training, developing knowledge or watch various funny videos. There are 2.562 billion active YouTube users.

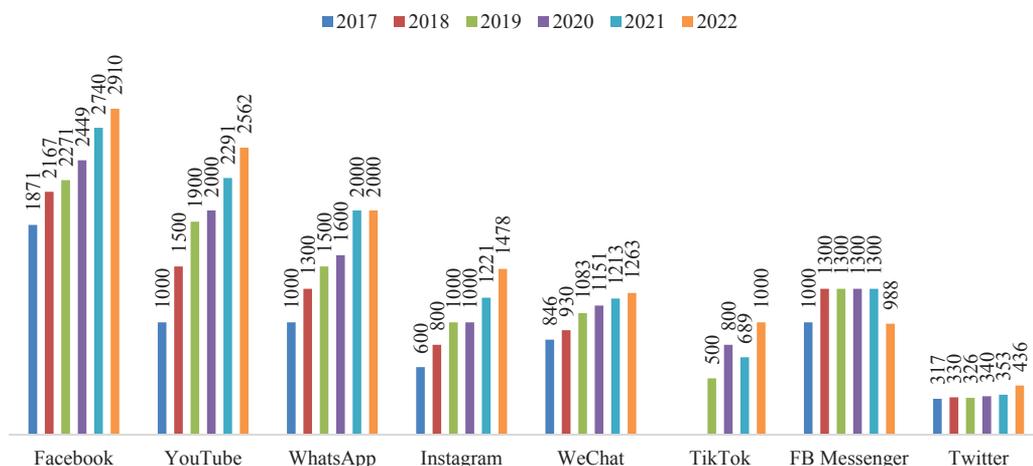


Figure 1. Social media users (2017–2022); WeAreSocial.org

The growth graph of the social media and Internet users is also in line with the population growth (Fig. 2). From 2017 to 2022, the world population increases by more than 400 million; however, the growth of Internet and social media users was much more significant due to benefitting the global society: develop knowledge of political issues [7], represent social revolutions [62], and promote goods and services [18]. Based on the data about social media users, Facebook and Instagram¹, WhatsApp and YouTube are the four largest platforms owned by Meta² and Alphabet, thus, holding and using most of the world’s population data.

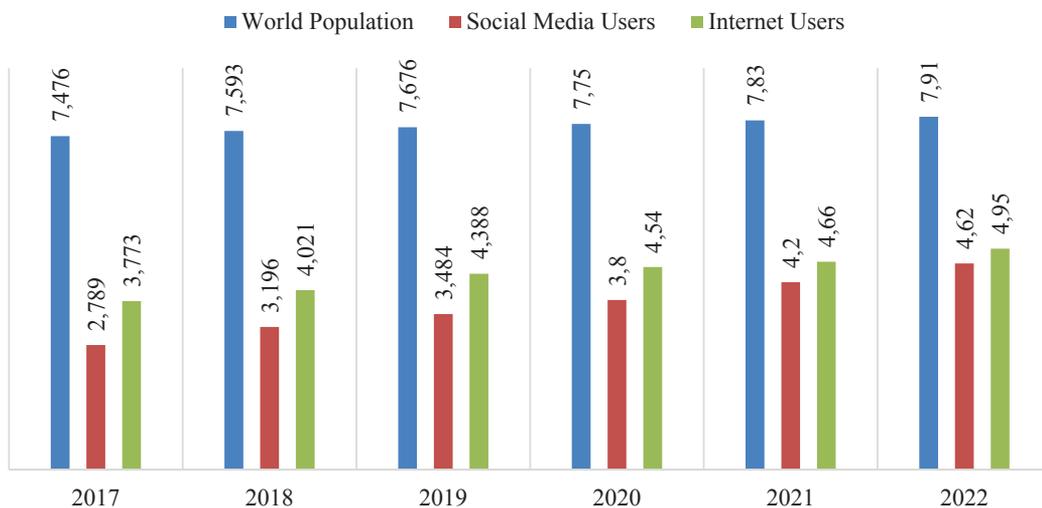


Figure 2. World population, Internet, and social media users (2017–2022)

¹ Both forbidden in the Russian Federation

² Forbidden in the Russian Federation

Service users became a rich source of data for technology companies, and markets with a high reliance on data can win: the more data the company has, the better its products are [49]; network externalities and the rise of social media allow technology companies to monopolize [22]; large databases (Big Data) enable them to get business benefits [68]. Technology companies can exercise monopoly because of data-driven network effects: companies provide their services for free in exchange for data to use for their benefit; process the data they get to create new services or more personalized advertising, based on the real-time data from their users. Thus, large technology companies serve as nodes of the digital economy and future technology infrastructure. The power of individual and collective technology companies manifests itself in their capacity to privatize information, act as indispensable platform gatekeepers, set and maintain technological and social standards. Suppose business success is based on collecting as much data as possible to feed algorithms based on the most representative data — then Google, or Amazon are the most successful when all potential users exclusively use their platforms [20].

However, their monopoly is offset by their huge impact on society. As more and more of our activities are digitized, the resulting Big Data proves to be a powerful tool for curing diseases, feeding the hungry, reducing gender inequality, strengthening national security, and improving environmental and disaster response [49]. The social media platforms owned by Meta and Google have provided benefits to MSMEs who sell their wares on the social media; the rural SMEs that are members of the social media business networks tend to show higher turnover and sales compared to rural and urban SMEs that are not members [63]. Google and Meta change the world in various perspectives — economic, political, social, and cultural. People become dependent on the above-mentioned services, especially on advertising, social media and information. Over time, technology companies have become more powerful, for instance, in terms of the GDP: in 2021, Meta's market cap was \$939 billion, which exceeds the GDP of the Netherlands, Saudi Arabia, Turkey, and other countries [66]; Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, and Meta earned \$1.4 trillion in revenue, on par with Brazil and ahead of Spain and Indonesia. Most of technology companies' income comes from advertising: Google dominates search advertising, and Facebook has a dominant and still growing share of online display advertising, especially mobile [5]. In 2019, Google and Facebook accounted for over 60 % of all US digital advertising spending and 33 % of all US advertising spending [52], i.e., businesses rely on advertising from Google and Facebook to gain visibility for their products.

The news media is one of many relying on advertising in Google and Facebook to generate audience traffic. They place advertisements at a certain price, hoping that many netizens will visit their website or page. One study found that 24 % of news companies get their traffic from the social media, whereas another 67 % come directly or from searches to their websites [55]. Nevertheless, the news media organizations have begun diversifying their distribution strategies and associated business models

in response to the Facebook's algorithm changes [51]. There were 10 million active advertisers on Facebook in the third quarter of 2020, which explains why Google and Meta dominate the digital landscape. The winner-takes-all principle makes technology companies ambitious to dominate various economic lines to increase profits. Their strategies typically include the creation of proprietary standards and platforms; collection and use of large amounts of users' data; product bundle; building large-scale infrastructure, parts of which are leased to other companies; strategic acquisitions; trademark and intellectual property litigation (trademarks and patents); regulatory and tax arbitrage; political lobbying [5]. Google's business unit YouTube accounted for \$15 billion in 2019 (roughly 10 % of Google's revenue). Meta's social media platforms WhatsApp and Instagram provide about \$20 billion in annual revenue for Facebook, nearly a quarter of Facebook's sales [53].

The bargaining power that Meta and Google have is so great that it can influence the state policy. According to Schwarz, interactions on Facebook are so intense that they leverage the data they collect to maximum advantage and influence the core political decisions; Facebook can discipline its users if they break the rules; digital platforms move towards decentralized governance — intensive legislation, administration of justice and punishment, eclectic instruments of government and legitimacy consisting of algorithms, proletarian judicial work, and government documents. Google and Meta have a lot of data that can be used for any purposes. It could be said that they can create their own cyber rules with this power, and this power will continue to grow, especially with the development of artificial intelligence [41].

GDPR: Reaffirming state sovereignty

This is why the state must do something so that technology companies do not become dominant actors. Today national governments are no longer relevant, because other actors make them share power — international organizations, transnational companies and non-governmental organizations, which erode the Westphalian system. However, if we talk about sovereignty, the state still has the power to enforce its sovereignty as long as it operates within its jurisdiction, including the digital realm. Digital sovereignty means governing citizens and foreigners, usually companies offering services worldwide [11]. The Internet is not a certain place removed from our world — like the telephone, telegraph and smoke signals, it is a medium of communication [25]. Because states naturally have jurisdiction, they use laws to demonstrate their sovereignty. Any country is sovereign if recognized as a holder of 'equal legal status' in the international community [23].

Today sovereignty is eroded by globalization and the Internet. Indeed, globalization has succeeded in questioning the concept of sovereignty as centralized in the state. Economic, technological and cultural changes have significantly affected governmental activities, the cumulative effect of which is a reduced efficiency of those levers of command and control that have been a common feature of the

modern nation-state [46]. Now we live in a globalized world, and state control is not as extensive as it was hundreds of years ago: users have control over what they can and cannot do with their smartphones and their data.

Some say that sovereignty, globalization, and democracy overlap. The ongoing expansion of democracy and globalization within the sovereign state system has placed tensions and pressures on all three [59]. This makes sovereignty more fluid as it seeks to find a certain formula in an increasingly contested world. As a result, sovereignty has become obsolete in its descriptive capacity and is rarely applied to denote anything tangible [15]. However, in recent years, states have sought to redefine sovereignty with a strong position, particularly in regulation. The Cambridge Analytica case is a significant warning for the state to regulate systematically: it helped Donald Trump to win as Facebook submitted personally identifiable information of more than 87 million users to Cambridge Analytica [35]. Even though Cambridge Analytica had purchased tens of millions of Americans' data without their knowledge [42], this was a turning point for the state to start protecting people's data from misuse. In many cases, states have taken strong steps to regulate technology companies. The US government through the Federal Trade Commission (FTC) voted to approve a fine of Facebook of approximately \$5 billion to resolve an investigation of the company's privacy violations [69].

Law enforcement is not always systematic but rather reactive. Although the state makes visible efforts to regulate the use of technology companies' data, these efforts are still not sustainable and systematic. The EU was the first to introduce a systematic regulation called the General Data Protection Regulation (GDPR). GDPR is a comprehensive regulation that governs the data use and allows consumers to control their data. The basic idea for creating GDPR was that being data sovereign means controlling one's digital destiny, which includes individual rights in data management and control, and economic, political, and social motivations and concerns. The law would effectively create a 'right to explanation' — users can request explanations about algorithmic decisions made about them [26]. In other words, sovereignty is transferred from technology companies to individuals with the state's help. In short, individuals have sovereignty over their data provided to technology companies. GDPR also emphasizes the rule of law: state entities and institutions still have legal power/sovereignty as long as the entity operates on its territory, i.e., this is a legal entity and the state has legal sovereignty [23] as the effect of sovereign claims made (practices of sovereignty, such as adopting laws, punishing lawbreakers, social exclusion, etc.) [21].

GDPR shows that the state sovereignty remains. There is a growing discourse that the government has no authority over cyberspace. When new technology emerges, its use is not regulated or is governed by old regulations. As more governments interact with this new technology, they seek to control it, and one of the powers only the state has is the legitimacy to use violence [67]. In other words, GDPR enables users, including the people of the EU, to question technology

companies about their use of data (so that to avoid its arbitrary use). Additionally, like multi-sided platforms, social networking business models rely on free or subsidized services for users [60]. However, the real purpose of GDPR relates to economy and power — to contain the concentrated market power and competitive distortions and to maintain consumers' trust [56]. With this new framework, GDPR will serve as a role model for other policy areas, in which the consequences of globalization and digitalization require new regulatory approaches to effectively protect values and standards [2].

What will happen when GDPR comes into effect? First, it will make tech companies rethink privacy and personal data. Many companies have already revised their data practices and taken a professional approach to handling personal data [33]. GDPR makes it more difficult for technology companies to do their usual things: from January 2021 to January 2022, the EU data protection authorities fined \$1.2 billion for violations of the GDPR legislation [10]. After enacting GDPR in 2018, many companies have paid fines. As of August 20, 2023, GDPR issued 1,701 fines for about 4 billion euros, and of the five companies with the heftiest fines, Meta dominates. Second, the GDPR created a huge wave of similar regulations. The most common aspects of the globally replicated legislation are data subject rights, accountability requirements and data breaches, which have determined public interest and awareness about the use of personal data [8]. Many countries have more comprehensive regulations of data protection and accountability (for instance, in Indonesia, the Personal Data Protection Law refers to GDPR). Third, the Data Protection Agency can provide consultation and law enforcement against technology companies that violate regulations [19; 28].

Thus, GDPR fulfils the mission of limiting the arbitrariness of technology companies and defines the EU as the ultimate holder of sovereignty, which applies to companies and citizens within its sphere of influence. “GDPR is a fantastic start on really treating privacy as a human right” [29]. Regulation is needed, and the state has authority to ensure it with GDPR which sets clear standards for the world's largest market — no data controller can ignore them, and other governments are under pressure to improve their data protection standards so that to get access to the EU's digital market. GDPR broadens the scope of data protection so that it applies to any person or organization that collects and processes information related to the EU citizens, regardless of where they are located or where the data is stored [61].

NMBC: A more competitive market

The Australian government strives to regulate the dominance of technology companies with an approach different from the EU GDPR. Australia is more focused on ensuring healthy competition between two technology companies, Meta and Alphabet, and the media. In other words, the emphasis is put on how the media in Australia are compensated for news coverage on Google and Facebook. The Australian government drafted a law requiring that Google and Meta pay

royalties to the media for news broadcasts on their platforms [13], i.e., the Australian government wants to protect the rights of its citizens, which are eroded by the domination of technology companies. According to Meta, the proposed legislation fails to address the nature of agreements between publishers and platforms [64]. According to Google, this bill does not consider what Google has been doing and “diminishes the already significant value that Google provides to news publishers, including sending billions of clicks to Australian news publishers for free every year worth US \$218 million” [13].

Another difference with GDPR is that technology companies fight for their interests. For instance, on February 17, 2021, Meta demonstrated its ability to influence lawmaking by removing all news links from Facebook, leaving the Facebook page of the country’s largest media company empty [50]. In January, Google ran a so-called ‘experiment’ that removed or demoted breaking news in the search results available to Australian users [43]. Meta and Alphabet act like a state, trying to demonstrate superiority over tech-illiterate, benevolent and trustworthy governments to users [30] and to convince the public that they cannot survive without their platforms.

However, the Australian government is not threatened by such Meta and Alphabet’s steps and stresses that the government needs to make laws. First, cyberspace’s political and technological meaning never rests on its non-territoriality: cyberspace consists of information networks that need networks of cables; political implications arise when physical objects merge with human rules and institutions. Second, the state does have the authority to regulate everything as long as the entity exists within its territory, including cyberspace. Additionally, there are complaints that the media suffers huge losses due to Meta and Alphabet. In mid-2020, News Corp Australia complained that “digital platforms have become the default conduit for many consumers”, and snippets accompanying headlines in searches are more likely to result in users staying on the digital platform and not reading the publisher’s content [27].

The state must ensure its citizens are happy and provide justice. The Australian government has no interest in allowing Meta and Alphabet to such great power as to disrupt stability. Regulation is a tool that technology companies use: “Australia makes rules for things you can do in Australia. That is done in our parliament. Our government does it” [64]. Australia has the authority and right to make fair regulations for its people. The laws are Australian, which means they can withstand the hegemony of Google and Facebook in this country.

Ultimately, the Australian government, Google and Facebook agreed to the NMBC Act, and each party believes to have won the battle, for instance, the Australian government claims this law is a victory for Australia as a fair deal. NMBC and similar reform agendas in other countries are just one example of a broader international push towards a more aggressive role for nation-states in the Internet regulation and platform governance [6]. However, one year after the law was enacted,

several parties protested and were dissatisfied with its implementation. Some media do not publish content on Facebook, and a group of mid-sized publishers explain this decision by the fact the Facebook and Google refused to pay for their work under the NMBC [39]. Apart from the debate about who benefits from this regulation, its implications could be useful for other countries as an example of a global movement from regulation that is ad hoc and relies on global platforms to do the ‘right thing’ towards a more interventionist approach with the formalized rules, policies, procedures, and sanctions for non-compliance.

The state hegemony as a dominant actor

Some authors believe that the concept and practice of sovereignty are no longer relevant, especially in the era of globalization which implies that sovereignty gets weaker, including in protecting itself [48]. Moreover, countries are dependent on other countries and investment of private companies, i.e., compromise their sovereignty to accelerate economic growth. It seems that in the long run, blockchain technology will undermine the sovereignty of nation-states and strengthen the transformation of global exchange and governance. Moreover, future sovereignty may become sovereignty not only of society but also of technology agents. Therefore, the state must treat technology companies as sovereign countries in the rapidly evolving world beyond the reach of regulators — the digital space [9].

Nevertheless, the state can still maintain its hegemony as the main actor in the international community by restraining the pace of technology companies with laws. As a result, sovereignty refers to having the authority and ability to make decisions about how people live and what things direct their lives (e.g., laws, policies, technology) [58]. Some things are the state’s authority, such as making regulations that protect the interests of many parties. Sovereignty remains important because the only entity that has the right to introduce legal rules is the state. Moreover, the basic principle of sovereignty includes political notions of order inward (security, peace, hierarchy) and outward (equality of states, prohibition of interventions, etc.) [65]. Therefore, there is no room for corporations that transcend the state sovereignty, and only a few national companies operating in many countries can become truly transnational [3].

There has to be a strong reason for the state to do something, and states can justify their actions by a public threat. Privacy and monopoly issues is a threat to those affected: the state must act — make regulations and become a jury — so that people feel that the state exists and protects public interests [4]. However, this does not deny the fact that understanding sovereignty in a territorial context is a challenge in the digital era. But the state can adapt to current developments. Sovereignty in the digital world is more about the ability to act and apply Newton’s third law: action equals reaction. Sovereignty associated with legal claims to autonomous governance from within and without outside interference is also evident in many cases of countries’ dealing with technology companies. And territorial context

is still relevant [24] when considering where the technology company operates (In which state has offices and provides services). With the growth of power held by technology companies, there will be a struggle between the state and technology companies for control.

Sociology studies social norms, values, roles, statuses, opinions and many other phenomena that make up what we call “social life”, in which the state tries to play the key regulatory role so that technology companies cannot do as they please. It is no exaggeration to say that the speed of technological progress depends on technology companies and changes our social life, and the state should continue demonstrating its power. However, the state must be careful: as technology develops, the power of technology companies will become more outstanding based on artificial intelligence, quantum technology, biotechnology, etc. In the future, technology will be a game changer in people’s lives, and technology companies will be at the forefront of the innovation race. Countries must look for creative ways to maintain their hegemony and sovereignty.

References

1. Adams J., Albakajai M. Cyberspace: A new threat to the sovereignty of the state. *Management Studies*. 2016; 4 (6).
2. Albrecht J.P. How the GDPR will change the world. *European Data Protection Law Review*. 2016; 2 (3).
3. Bakan J. The invisible hand of law: Private regulation and the rule of law. *Cornell International Law Journal*. 2015; 48 (2).
4. Balzacq T., Léonard S., Ruzicka J. ‘Securitization’ revisited: Theory and cases. *International Relations*. 2016; 30 (4).
5. Barwise T.P., Watkins L. The evolution of digital dominance: How and why we got to GAFA. M. Moore, T.D (Eds.). *Digital Dominance: The Power of Google, Amazon, Facebook, and Apple*. Oxford University Press; 2018.
6. Bossio D., Flew T., Meese J., Leaver T., Barnet B. Australia’s News Media Bargaining Code and the global turn towards platform regulation. *Policy & Internet*. 2022; 14.
7. Boulianne S. Social media use and participation: A meta-analysis of current research. *Information, Communication & Society*. 2015; 18 (5).
8. Breitbarth P. The impact of GDPR one year on. *Network Security*. 2019; 7.
9. Bremmer I. The Technopolar moment: How digital powers will reshape the global order. *Foreign Affairs*. 2021; November.
10. Browne R. Fines for breaches of EU privacy law spike sevenfold to \$1.2 billion, as Big Tech bears the brunt. *CNBC*. 2022; January 17.
11. Chander A., Sun H. *Sovereignty 2.0*. *J. Transnat’l*. London; 2022.
12. Clopton Z.D. Territoriality, technology, and national security. *University of Chicago Law Review*. 2016; 83.
13. CNN Indonesia: Kronologi Akhir Perseteruan Google-Facebook vs Australia. 2021; February 24.
14. Cohen J.E. The biopolitical public domain: The legal construction of the surveillance economy. *Philosophy & Technology*. 2018; 31.
15. Conversi D. Sovereignty in a changing world: From Westphalia to food sovereignty. *Globalization*. 2016; 13 (4).
16. Creswell J.W., Creswell J.D. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE; 2016.

17. Crowe S., Cresswell K., Robertson A., Huby G., Avery A., Sheikh A. The case study approach. *BMC Medical Research Methodology*. 2011; 11 (100).
18. Erlangga H., Sunarsi D., Pratama A., Nurjaya Sintesa N., Hindarsah I., Juhaeri Kasmad. Effect of digital marketing and social media on purchase intention of Smes food products. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*. 2021; 12 (3).
19. Euronews: Meta hit with €265 million fine by Irish regulators for breaking Europe's data protection law. 2022; November 28.
20. Flyverbom M., Deibert R., Matten D. The governance of digital technology, big data, and the Internet: New roles and responsibilities for business. *Business & Society*. 2019; 58 (1).
21. Foucault M. *Society Must Be Defended: Lectures at the Collège de France 1975–76*. Picador; 2003.
22. Fukuyama F. 30 years of world politics: What has changed? *Journal of Democracy*. 2020; 31 (1).
23. Geenens R. Sovereignty as autonomy. *Law and Philosophy*. 2017; 36 (5).
24. Glasze G., Cattaruzza A., Douzet F. et al. Contested spatialities of digital sovereignty. *Geopolitics*. 2023; 28 (2).
25. Goldsmith J.L. The Internet and the abiding significance of territorial. *Indiana Journal of Global Legal Studies*. 1998; 5 (2).
26. Goodman B., Flaxman S. European Union regulations on algorithmic decision-making and a “right to explanation”. *AI Magazine*. 2017; 38 (3).
27. Grueskin B. Australia pressured Google and Facebook to pay for journalism. Is America next? *CJR*. 2022; March 9.
28. Gupta S. Google hit with \$222M fine from Indian regulators over anti-competitive practices. *CTV News*. 2022; October 21.
29. Hamilton I.A. Microsoft CEO Satya Nadella made a global call for countries to come together to create new GDPR-style data privacy laws. *Business Insider*. 2019; January 24.
30. Heylen K. Enforcing platform sovereignty: A case study of platform responses to Australia's News Media Bargaining Code. *New Media & Society*. 2023. <https://doi.org/10.1177/14614448231166057>.
31. Hoare Q., Smith G.N. *Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci*. Lawrence & Wishart; 1971.
32. Holub R. *Antonio Gramsci: Beyond Marxism and Postmodernism*. Routledge; 1992.
33. Hoofnagle C.J., van der Sloot B., Borgesius F.Z. The European Union general data protection regulation: What it is and what it means. *Information & Communications Technology Law*. 2019; 28 (1).
34. Hyett N., Kenny A., Dickson-Swift V. Methodology or method? A critical review of qualitative case study reports. *International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being*. 2014; 9 (1).
35. Isaak J., Hanna M.J. User data privacy: Facebook, Cambridge Analytica, and privacy protection. *Computer*. 2018; 51 (8).
36. Johnson A. The Mechanics of sovereignty: Autonomy and interdependence across three cables to Iceland. *American Anthropologist*. 2021; 123 (3).
37. Johnston M.P. Secondary data analysis: A method of which the time has come. *Qualitative and Quantitative Methods in Libraries*. 2014; 3 (3).
38. Kavanagh C. Cybersecurity, sovereignty, and U.S. foreign policy. *American Foreign Policy Interests*. 2015; 37 (2).
39. Ketchell M. Publishers take on Facebook and Google for failing to pay up under the News Media Bargaining Code. *Conversation*. 2022; March 23.
40. Kobrin S.J. Sovereignty@Bay: Globalization, multinational enterprise, and the international political system. A.M. Rugman (Ed.). *The Oxford Handbook of International Business*. Oxford University Press; 2009

41. Kuner C., Svantesson D.J.B., Cate F., Lynskey O., Millard C. The rise of cybersecurity and its impact on data protection. *International Data Privacy Law*. 2017; 7 (2).
42. Lapowsky I. How Cambridge Analytica sparked the great privacy awakening. *Wired*. 2019; March 17.
43. Leaver T. Going dark: How Google and Facebook fought the Australian News Media and Digital Platforms Mandatory Bargaining Code. *M/C Journal*. 2021; 24 (2).
44. Lewis J.A. Sovereignty and the role of government in cyberspace. *Brown Journal of World Affairs*. 2010; 16 (2).
45. Lomas N. Meta's behavioral ads will finally face GDPR privacy reckoning in January. *Tech Crunch*. 2022; December 6.
46. Loughlin M. The erosion of sovereignty. *Netherlands Journal of Legal Philosophy*. 2016; 45 (2).
47. Manjoo F. Tech's frightful five: They've got us. *New York Times*. 2017; May 10.
48. Marsonet M. National sovereignty vs. globalization. *Academicus International Scientific Journal*. 2017; 8 (15).
49. McIntosh D. We need to talk about data: How digital monopolies arise and why they have power and influence. *Journal of Technology Law & Policy*. 2019; 23 (2).
50. Meaker M. Australia's standoff against Google and Facebook worked — sort of. *Wired*. 2022; February 25.
51. Meese J., Hurcombe E. Facebook, news media and platform dependency: The institutional impacts of news distribution on social platforms. *New Media & Society*. 2021; 23 (8).
52. Moore D.J. Identity crisis: Why Google and Facebook dominate digital advertising. *Digital Content Next*. 2020; May 19.
53. Morris I. Letting Facebook buy WhatsApp and Instagram was dumb, FTC shows. *Light Reading*. 2021; August 20.
54. Muqsith M.A., Pratomo R.R. The development of fake news in the post-truth age. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syari*. 2021; 8 (5).
55. Myllylahti M. An attention economy trap? An empirical investigation into four news companies' Facebook traffic and social media revenue. *Journal of Media Business Studies*. 2018; 15 (4).
56. Niebel C. The impact of the general data protection regulation on innovation and the global political economy. *Computer Law & Security Review*. 2021; 40.
57. Ryngaert C., Taylor M. The GDPR as global data protection regulation? *AJIL Unbound*. 2020; 114.
58. Sadowski J. Who owns the future city? Phases of technological urbanism and shifts in sovereignty. *Urban Studies*. 2021; 58 (8).
59. Stein A.A. The great trilemma: Are globalization, democracy, and sovereignty compatible? *International Theory*. 2016; 8 (2).
60. Steinbaum M. Establishing market and monopoly power in tech platform antitrust cases. *Antitrust Bulletin*. 2022; 67 (1).
61. Tankard C. What the GDPR means for businesses. *Network Security*. 2016; 6.
62. Tiago M.T.P.M.B., Veríssimo J.M.C. Digital marketing and social media: Why bother? *Business Horizons*. 2014; 57 (6).
63. Tiwasing P. Social media business networks and SME performance: A rural-urban comparative analysis. *Growth and Change*. 2021; 52 (3).
64. Toh M. How Facebook managed to 'unfriend' Australia while Google came out on top. *CNN*. 2021; February 18.
65. Volk C. The problem of sovereignty in globalized times. *Law, Culture and the Humanities*. 2022; 18 (3).
66. Wallach O. The world's tech giants, compared to the size of economies. *Visual Capitalist*. 2021; July 7.
67. Walt S.M. Big tech won't remake the global order. *Foreign Policy*. 2021; November 8.

68. Watson H.J. Tutorial: Big data analytics: Concepts, technologies, and applications. *Communications of the Association for Information Systems*. 2014; 34.
69. Wong J.C. Facebook to be fined \$5bn for Cambridge Analytica privacy violations — reports. *Guardian*. 2019; July 12.
70. Xuereb K., Grima S., Bezzina F., Farrugia A., Marano P. The impact of the general data protection regulation on the financial services' industry of small European states. *IJEBA*. 2019; 7 (4).
71. Zheltukhina M.R., Slyshkin G.G., Muzykant V.L., Ponomarenko E.B., Masalimova A.R. Functional characteristics of the English and Russian media texts about the Sochi 2014 Winter Olympic Games: Political and linguistic aspects. *XLinguae Journal*. 2017; 10 (3).

DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-4-851-865

EDN: DLIPUS

Социологическое исследование киберугроз как составная часть общего регулирования защиты данных*

М.А. Муксит¹, В.Л. Музыкант², Р.Р. Пратомо¹

¹UPN Университет Джакарты,
ул. Р.С. Фатмавати Рая, Денпак, Западная Ява, Индонезия, 12450

²Российский университет дружбы народов,
ул. Миклухо-Маклая, 6, Москва, 117198, Россия

(e-mail: munadhil@upnvj.ac.id; vmouzyka@mail.ru; rizkyridho0897@gmail.com)

Аннотация. Социология изучает общество и особенности его развития, социальные процессы, институты, отношения, структуры, сообщества и те культурные ценности, которые обуславливают их изменения. В то же время социология анализирует и человеческое поведение — как оно воздействует на макроструктуры и как люди ведут себя в разных социальных группах. Не игнорирует социология и вопрос суверенитета: в научной литературе этот феномен имеет множество определений, но большинство подчеркивает его абсолютный и иерархический характер. В ходе истории трактовка суверенитета как территориально обусловленного постепенно утрачивала свою релевантность под влиянием технологического прогресса. Сегодня, в контексте вопросов технологического развития и национальной безопасности, территориальные правила не работают по трем причинам: технологии затрудняют формулировку последовательных и предсказуемых территориальных определений; информация часто распространяется вопреки интересам пользователей и законодателей; технологии позволяют государственным и частным акторам нарушать территориальные правила, причем часто они делают это незаметно [12]. Другое следствие технологического развития — появление новых акторов с сильным международным влиянием благодаря глобализации, свободным рынкам и инновациям. Среди этих акторов наибольший интерес представляют мультинациональные компании, работающие на внетерриториальной основе, что создает проблемы скорее юрисдикции, чем суверенитета в его формальной трактовке [40]. Но остается ли тогда суверенитет релевантным понятием для государства? С приходом Интернета концепт национального го-

*© Муксит М.А., Музыкант В.Л., Пратомо Р.Р., 2023

Статья поступила 28.07.2023 г. Статья принята к публикации 16.10.2023 г.

сударства подвергается критике, поскольку его акторы утрачивают прежнее доминирование. Интернет поддерживает власть многих международных акторов, но наиболее значимые среди них — технологические компании. Их доминирование порождает вызовы экономического, юридического, политического и социального характера, а потому государство пытается регулировать их деятельность. Авторы утверждают, что государственный суверенитет все еще релевантное понятие, несмотря на массу противоположных аргументов. В качестве обоснования в статье приведены два примера: Общий регламент по защите данных (ОРЗД) и Кодекс сделок для новых медиа (КСНМ). Национальное государство демонстрирует свой суверенитет, принимая законы, которые регулируют деятельность крупных компаний, т.е. ограничивая власть технологических гигантов.

Ключевые слова: кибер-угрозы; информационный суверенитет; цифровая эпоха; технологические компании; Общий регламент по защите данных (ОРЗД); Кодекс сделок для новых медиа (КСНМ)



DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-4-866-874

EDN: BSZYCV

Combination of focus group and experiment methods: opportunities and limitations*

Zh.V. Puzanova, T.I. Larina, T.A. Ignatova

RUDN University,

Miklukho-Maklaya St., 6, Moscow, 117198, Russia

(e-mail: puzanova-zhv@rudn.ru; larina-ti@rudn.ru; eignatova0304@mail.ru)

Abstract. The use of several sociological techniques can be an effective way to obtain more representative data. The combination of focus group and experiment allows to expand the cognitive capabilities of each method, to better understand complex social phenomena, and to obtain a more complete picture of social objects and processes, and perceptions of them. The advantages and disadvantages of the combination of focus group and experiment were formulated mainly based on the research in which the main indicators were such characteristics as psychotypes, emotional intelligence and suggestibility. The advantage of combining two methods is the in-depth analysis of the phenomenon under study, since focus group provides context and insight into the opinions and experiences of participants, while experiment allows to control the conditions and impact on respondents, test hypotheses and identify cause-and-effect relationships. The combination of methods increases the validity of research practices; however, this combination has several limitations: the timing of focus group can affect the duration of experiment; group dynamics during the focus group can affect the results of experiment and lead to distortions; the presence of a moderator and videotaping of the focus group can affect the behavior of participants and the data. Based on the analysis of several cases, the authors provide recommendations on combining two methods such as: improving the criteria for selecting respondents during recruitment; placing focus group participants taking into account their psychotypes and personality characteristics, and also placing ‘decoy ducks’ according to a certain plan; providing stimulus material in printed form to each focus group participant. Combination of focus group and experiment is a rare research approach; therefore, the main conclusions are based on the authors’ research conducted at the RUDN University.

Key words: focus group; experiment; combination of methods; psychotype; emotional intelligence; suggestibility; fake news

One of the ways to obtain representative data is the combination of several sociological techniques. Today, the combination of such techniques as focus group and experiment allows researchers to expand their capabilities and understand complex social phenomena in more depth. On the one hand, the use of focus group

*© Zh.V. Puzanova, T.I. Larina, T.A. Ignatova, 2023

The article was submitted on 05.06.2023. The article was accepted on 16.10.2023.

provides an opportunity to obtain richer qualitative data and to consider different opinions, views and experiences of participants. Focus group creates an atmosphere of group discussion, and interaction of participants can lead to new ideas and a deeper understanding of the issues discussed [2]. However, E. Colucci argues that it is not always possible to properly maintain group dynamics, and often focus group turns into an individual interview conducted in a group setting [3]; thereby, it is necessary to look for non-traditional methods to supplement the research based on focus groups to obtain more qualitative data. For this reason, in addition to the classic focus group, we will consider the experimental approach which allows to identify causal relationships and ensure controlled conditions to examine the impact of certain factors on the variables under study [14]. Experiments can provide more objective and verifiable data that can be used to formulate statements about causal relationships [1].

The focus group method is based on the idea that “collective reactions to a certain stimulus, provoked and revealed in the course of group discussion, are not random, situational reactions of a given meeting, the configurations of which cannot be reproduced in the future, but are rather manifestations of mass consciousness” [10]. This method allows to better understand and interpret collective opinions and the dynamics of group interactions on a relatively small group, which is an important advantage when conducting experiments with a rather small number of participants. Small groups of 10–15 people are used for sociological experiments, which roughly corresponds to the format of the focus-group research [6]. I.F. Devyatko defines experiment as “an experimental study of the impact of a single factor (or several factors) on the variable under study” [4]. For instance, laboratory (or true) experiment provides the maximum level of control over the independent variable as isolated from external influences. Such control makes it possible to reject competing hypotheses of the observational effect under study [7]. Thus, we will emphasize three advantages of this type of experiment [4]: complete control over the independent variable; isolation from other variables; possibilities of multiple repetition with the same external and internal factors. Moreover, in the laboratory experiment, as in focus groups, the group is formed artificially, which is why participants in most cases are aware of their participation in the study. In this situation, the advantage is also the fact that the experiment can be considered a standard focus group, which increases the sincerity of answers and behavior of its participants [3]. In turn, the presence of a moderator and an assistant provides full control over the experiment. However, “most experiments in social sciences take place in conditions in which the above-mentioned principles cannot be fully provided” [4]. Therefore, advantages of this method can be also achieved in the framework of the focus group method, which also proves the efficiency of their combination. Focus groups also open opportunities for a full-fledged digital recording of experiment from its beginning to the end: first, we can refer to the research data at any time; second, we get an empirical database [10].

Considering the combination of focus group and experiment, we should refer to the works of R. Merton and his co-authors, who directly used this combination [11] “to obtain as complete a report as possible of what a particular situation was like”, focusing on several conceptual tasks that are experimentally feasible: first, labeling an effective stimulus that influences the observed responses, namely “which X or which parts of X in the stimulus situation produced the observed effect”; second, interpreting differences between expected and actual effects, which may contradict theories based on previous research or logical reasoning; third, explaining factors that determine differences in responses between subgroups that are more prevalent in the broader population; fourth, interpreting the occurrence of actual and experimentally generated impacts.

Although Merton outlined a wide range of combination advantages (experiment and focus group), there are practically no applied studies using this methodology. N.V. Vakurova suggests to use a combination of experiment and focus group but in turn [16]: at first, an experiment is conducted, then a focus group is used to identify the social-psychological preconditions for the results of the experiment, i.e., focus group is a complementary technique, not a central one. A similar approach is described in the article by Dutch researchers who studied the influence of the Embodied Conversational Agents (ECA) (chatbots, holograms, robots, etc.) on the evaluation of personal characteristics and on the intentions to use such services [14]: a questionnaire survey was followed by a focus group.

When it comes to combining focus group and experiment, we should admit that these techniques are rarely used simultaneously, so we will consider a few examples in more detail. Thus, one study aimed at “tracing the patterns and specific features of respondents’ behavior under the influence of alcohol: how the type of reasoning changes, how they interact” [15]. The experiment consisted in comparing the answers of participants to the same social-political questions rephrased each time as they were discussed, in moments of different degrees of intoxication. The non-standardized focus group was conducted in a restaurant that created a relaxed, home-like atmosphere, and alcohol as a stimulus for communication increased the sincerity of the participants’ responses, which would have been much more difficult to achieve in a standardized focus group. In a similarly structured study [12], the authors conducted a methodological experiment using focus groups to influence the participants’ attitudes towards adultery. The control variables were psychotype and emotional intelligence, and the dependent variable was suggestibility. The groups were homogeneous in composition and randomized according to emotional intelligence and psychotypes: group 1 consisted of girls with predominantly low emotional intelligence and group 2 — with predominantly high emotional intelligence, one with a pronounced accentuation of each type in each group. The participants’ attitudes were influenced with stimulus material (projective and associative

questions, video clips) and with a ‘decoy duck’ – a participant who demonstrated a positive attitude towards adultery. After focus groups, the social attitude was measured again in pairs for each psychotype.

Further, we will examine the procedure of the study based on the combination of an experimental approach and focus groups, and its key results [9]. We conducted two focus groups (8 participants in each); groups were randomized by two characteristics — emotional intelligence and psychotype (In both groups, participants with each of the existing radicals were present). The first group was dominated by students with low emotional intelligence, while the second group was dominated by students with high one; the ability to identify fake news in the media was also an important selection criterion. Thus, the control variables were psychotype and emotional intelligence, and the dependent variable was suggestibility.

The first stage consisted of selecting participants by assessing the level of emotional intelligence with the Schutte test, identifying the psychotype based on the questionnaire for accentuated radicals by B.V. Ovchinnikov and I.V. Tyuryapina, and estimating with an online questionnaire the subjective perception of the ability to identify fake news. Participants who were convinced of being able to identify fakes were invited to participate in a focus group. All the above-mentioned steps were taken with one questionnaire.

The main stage of the study was an experiment conducted as a focus group, in which attempts were made to influence the respondents’ attitude to stimulus material and two ‘donkey ducks’. This stage consisted of:

1. Warm-up — respondents were asked a few general questions (e.g., “Do you follow the news, and what news are interesting to you?”) to set the participants up for a conversation on the research issues.
2. Testing with stimulus material — the focus group participants were shown four fake news topics (“A cannibal bear attacked two men in Komi”, “Resolution of the Federal Agency for Tourism on the mandatory assignment of QR codes to tourists traveling in Russia”, “Happy Birthday, Vladimir Vladimirovich!: How Putin’s birthday was celebrated all over the world”, “VGTRK Media Holding and Channel 1 will retouch the faces of ‘foreign agents’”). The moderator and two ‘donkey ducks’ were to convince everyone that all the news were true. At first, the news was presented as text, then, after discussion, the participants were shown the same news as a screenshot from a news website and/or a video fabricated in advance. The organizers included a few mistakes and inaccuracies in these visual forms to make the respondents question the credibility of the news and to further identify the key points the participants pay attention to in the media information. One of the key roles at this stage was played by the ‘donkey ducks’ whose task was to convince the participants of the credibility of the news discussed.
3. Identifying the fake news criteria — the participants were asked to describe their ways for distinguishing true news from fabricated ones.

At the next stage, the participants' social attitudes towards their ability to identify fake news were measured: at the very end of the focus group, participants were given questionnaires to mark the news which, in their opinion, were fake or true. The last question was again about whether they considered themselves competent in recognizing fake news (the same question was asked at the selection stage).

The analysis of the conducted experiment with the focus group method allowed to make the following conclusions which seem to be the result of the combination of two methods:

- The news “Decree of the Federal Agency for Tourism on the mandatory assignment of QR codes to tourists traveling in Russia” was considered credible by both groups; moreover, one participant noted that he received a relevant newsletter after the ‘duck’ confirmed that this newsletter was really in her e-mail: . *“I think I got one of those too”* (schizoid radical, above average emotional intelligence [13]). Another participant noted that he had seen the news VGTRK Media Holding and Channel 1 will retouch the faces of ‘foreign agents’ in a satirical TV program — *“I think I saw this news in Panorama”* (hyperthymic radical, above average emotional intelligence), but this fact did not change the respondents' opinion in any way; on the contrary, further questions from the moderator and the ‘ducks’ convinced a significant part of the group that this news was true. Thus, the ‘donkey duck’ technique significantly influences the course of the experiment and allows to obtain interesting data.
- For the first group, the issue of the true news category presented during the focus group was quite important. After admitting that all news were fake, the participants continued the discussion. According to the participants, the fact that the researchers presented the news determined their perception of the news as true. The group did not have access to the news on their usual platforms and devices, as gadgets were prohibited. *“We see exactly what you are showing us, and we cannot get to the details. From the perspective that you have presented it to us, we may be more likely to believe it. I can't check at this moment what you have shown us. If I came across it myself on the Internet, I would certainly look at least at the date when this news was published, at the number of other sources that also published it”* (psychasthenic radical, emotional intellect below average).
- Participants were shown the barely noticeable mistakes in the news such as dates, links, speech inaccuracies and fake videos. Participants admitted that they tended to take the moderator's word for it, since the stimulus material was not provided personally but was displayed on the TV screen. *“Maybe if everyone had been given the same materials, we would have been more attentive. If we are shown a general picture, and even if you read it out, we are inclined to hear what you tell us, rather than to go and look for wrong and right”* (psychasthenic radical, below average emotional intellect). However, it should be stressed again that the ‘ducks’ were actively involved in the conversation and influenced the respondents' opinion. *“In general, it seems that this is the Russian style — first to add to the*

list of foreign agents, and then this whole story seems to be a matter of time — that they may be cut it out of the broadcast or retouched. It was expected” (duck).

- Compared to the first group, participants with the above average emotional intelligence were less active in discussing the event after the focus group and asked almost no questions. However, they were surprised that the news was not true. They noted that the moderator’s nonverbal reactions also affected the participants’ opinions. *“You read out the news so seriously... I believed that they were all real because there was no emotion on your face”* (schizoid radical, emotional intellect above average); *“We were deceived”* (hysteric radical, emotional intellect above average). Thus, representatives of this group are rather empathic and focus mostly on emotions.

To sum up, we can conclude that the groups turned out to be similar on average: respondents agreed in their opinions and tended to make the same mistakes. For example, there was little attention paid to the technical points of the demonstrated news. However, at the end of the focus group, some participants mentioned that they were still suspicious, for instance, the respondent who said he knew how video was edited considered the news on ‘retouching foreign agents’ with skepticism, which he expressed in detail after the results were summarized and the focus group was over.

During the research we identified the following limitations of the techniques used: (1) focus groups are time-limited, so an experiment must be completed within a certain period; however, the time limit can facilitate a more focused discussion by encouraging participants to be brief and straightforward; (2) the group dynamics has a direct impact on the experiment; with the focus group method, not all studies can be successfully conducted, as conformity or cohesion may interfere and cause distortions in the results and participants’ reactions; (3) the presence of a moderator and videotaping in the focus group can influence the respondents’ behavior, so the benefits and risks of having a third-party during the experiment should be considered (respondents may become more cautious, censor their responses or simply adjust to the expectations of the moderator; some participants may become more conscious and pay more attention to their speech and appearance, which may affect the naturalness and spontaneity of their responses); (4) a wide range of psychotypes in the focus group complicates the moderator’s communicative task — he should be aware of each psychotypes as affecting behavioral patterns, accurately select the type and frequency of interaction with each, and to maintain the ‘right’ group dynamics; (5) there is a need in the complete control of the moderator’s facial and physical reactions, which is an extremely difficult task, since, according to P. Ekman, mimic reactions appear involuntarily and are virtually uncontrollable [5]. For this reason, the main task of the moderator is not only to read out the news with a neutral facial expression, but also to control his face and body during the discussion.

Thus, we can conclude that the combination of focus group and experiment was successful: the constructive collaboration of these two techniques allows to obtain a more complete and deeper understanding of the phenomenon under study. First, the

focus group provides context and in-depth understanding of the opinions, attitudes and subjective experiences of the participants, helping researchers to obtain more valid data and to identify unexpected factors that may influence the results of the experiment. In its turn, the experiment allows to control and adapt the research conditions and influence respondents with non-standard focus group techniques, which gives an opportunity to test specific hypotheses and find causal relationships. The combination of experiment and focus group can improve the validity of research data: internal validity is ensured by the control of the experiment and the ability to assess causal relationships, while external validity can be achieved with additional examination of the context of social interactions and participants' opinions. Moreover, the combination of experiment and focus group produced interesting data, for instance, representatives of the hysteroid and asthenic radicals seem to be less susceptible to suggestibility than other psychotypes. In other words, the combination of these methods allows to supplement the design of any study with social-psychological concepts, as the experimental method provides control over social-psychological variables, while focus groups bring the discussion situation closer to how everything works in everyday life.

To ensure such advantages of the two methods' combination, we need to follow some recommendations: in recruiting, it is necessary to develop more detailed selection criteria for each respondent to exclude competent participants (for example, in the focus group on fake news, journalists were not allowed); seating of focus group participants should be based on their psychotypes and other personal characteristics (for example, a representative of the schizoid radical should be seated next to a person of the hyperthymic radical; when discussing sensitive issues, participants with more expressive traits and attitudes may become confrontational, so a calmer person should be placed between them); the 'donkey duck' technique is very influential in shaping the opinions of the focus group participants, therefore, their seating is more important (we believe that it is necessary to use two 'ducks' in the discussion, seating them on opposite sides but not opposite to each other, so that to ensure their eye contact with all participants); during focus groups, it is necessary to provide stimulus material in printed form to each participant, because demonstration on the screen limits people with visual impairment — they rely on the moderator's speech, which is an obstacle for understanding the material).

Funding

The article was prepared within the framework of the initiative RUDN project No. 100937-0-000 "Personal identity in the context of the turbulent contemporary society".

References

1. Barringer S.N., Eliason S.R., Leahey E.A. History of causal analysis in the social sciences. S.L. Morgan (Ed.). *Handbook of Causal Analysis for Social Research*. New York; 2013.
2. Belanovsky S.A., Nikolskaya A. What's wrong with focus groups? *ECO*. 2021; 6. (In Russ.).
3. Colucci E. Focus groups can be fun: The use of activity-oriented questions in focus group discussions. *Qualitative Health Research*. 2007; 17 (10).

4. Devyatko I.F. *Methods of Sociological Research*. Ekaterinburg; 1998. (In Russ.).
5. Ekman P. *Lie to me*. Saint Petersburg; 2011. (In Russ.).
6. Gorshkov M.K., Sheregi F.E. *Applied Sociology: Methodology and Techniques*. Moscow; 2012. (In Russ.).
7. Hernan M.A., Robins J.M. Graphical representation of causal effects. *Causal Inference: What If*. 2019; 6.
8. Kramer L.L., van Velsen L., Mulder B.C. Optimizing appreciation and persuasion of embodied conversational agents for health behavior change: A design experiment and focus group study. *Health Informatics Journal*. 2023; 29.
9. Larina T.I. Combination of focus group and experimental methods for applied sociological purposes. *Diary of Science*. 2022; 9. (In Russ.).
10. Levinson A., Stuchevskaya O. Focus groups: Evolution of the method (review of the discussion at the ESOMAR conference). *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. 2003; 1. (In Russ.).
11. Merton R., Fiske M., Kendall P. *The Focused Interview*. Moscow; 1991. (In Russ.).
12. Puzanova Zh.V., Larina T.I., Gudkova Ya.A. Diagnostics of the level of conformity of the student youth (results of a methodological experiment). *RUDN Journal of Sociology*. 2022; 22 (3). (In Russ.).
13. Puzanova Zh.V., Larina T.I., Zakharova S.V. Recommendations for interviewers conducting sociological surveys: The use of the psychotypes theory and analysis of respondents' nonverbal reactions. *RUDN Journal of Sociology*. 2018; 18 (1).
14. Rawls A.W. Durkheim's epistemology: The neglected argument. *American Journal of Sociology*. 1996; 102.
15. The Tincture Experiment. URL: <https://russianfield.com/experimentnastoika>. (In Russ.).
16. Vakurova N.V., Moskovkin L.I. Conditions for the transmission of meaning and generating the new one in experiments based on focus groups. *Arhivarius*. 2016; 1 (1). (In Russ.).

DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-4-866-874

EDN: BSZYCV

Сочетание методов фокус-группы и эксперимента: возможности и ограничения*

Ж.В. Пузанова, Т.И. Ларина, Т.А. Игнатова

Российский университет дружбы народов,
ул. Миклухо-Маклая, 6, Москва, 117198, Россия

(e-mail: puzanova-zhv@rudn.ru; larina-ti@rudn.ru; eignatova0304@mail.ru)

Аннотация. Сочетание нескольких социологических методик может стать эффективным способом получения более репрезентативных данных. Сочетание методов фокус-группы и эксперимента позволяет исследователям расширить познавательные возможности каждого метода и лучше понять сложные социальные явления, получив более полное представление о социальных объектах и процессах, а также об их восприятии. Достоинства и недостатки сочетания методов фокус-группы и эксперимента сформулированы авторами преимущественно на основе проведенных исследований, в которых ключевыми показателями выступали

*© Пузанова Ж.В., Ларина Т.И., Игнатова Т.А., 2023

Статья поступила 05.06.2023 г. Статья принята к публикации 16.10.2023 г.

такие характеристики, как психотип, эмоциональный интеллект и внушаемость. Очевидно преимущество комбинирования двух методов — глубокий анализ исследуемого явления, поскольку фокус-группа позволяет реконструировать контекст и обеспечить детальное понимание мнений и переживаний участников, а эксперимент — контролировать условия и воздействие на респондентов, проверять гипотезы и устанавливать причинно-следственные связи. Однако комбинация методов имеет и ряд ограничений: ограниченное время проведения фокус-группы может влиять на продолжительность эксперимента; групповая динамика в ходе фокус-группы может воздействовать на результаты эксперимента и привести к искажениям; наличие модератора и видеофиксация групповой дискуссии могут повлиять на поведение участников и исказить данные. По итогам анализа ряда «кейсов» в статье сформулированы рекомендации по комбинированию методов фокус-группы и эксперимента: уточнение критериев отбора респондентов во время рекрутинга; размещение участников фокус-группы с учетом их психотипов и личностных характеристик, а также рассадка «подсадных уток» по определенной схеме; предоставление стимульного материала в печатном виде каждому участнику фокус-группы. В целом комбинирование фокус-группы и эксперимента — достаточно редкий подход, поэтому основные выводы сформулированы по данным исследований, проведенных авторами в РУДН.

Ключевые слова: фокус-группа; эксперимент; сочетание методов; психотип; эмоциональный интеллект; внушаемость; фейковые новости

Информация о финансировании

Статья подготовлена в рамках инициативной темы РУДН № 100937-0-000 «Личная идентичность в контексте турбулентности современного общества.»



DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-4-875-887

EDN: BRQZML

Идеальный портрет руководителя образовательного комплекса: методология и результаты изучения*

А.А. Осеев

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
Ленинские горы, 1, стр. 33, Москва, 119234, Россия

(e-mail: oseev.a@mail.ru)

Аннотация. Требования к профессиональным и личностным качествам педагогов сформулированы в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации». Особый интерес представляет «идеальный портрет руководителя образовательного комплекса», который является одновременно и руководителем, и педагогом. Анализ результатов проведенных в последние годы исследований выявил ряд требований, предъявляемых к личностным и деловым качествам руководителей-педагогов, и две проблемы. Во-первых, многие авторы считают идеальные портреты, на которые теоретически опираются исследования, «идеальными типами» (по М. Веберу), т.е. «по своей природе утопичными», «моделями, не подлежащими проверке» [1], поскольку их «нельзя найти в повседневной реальности» [5. С. 207]. Во-вторых, остается нерешенным актуальный методический вопрос о способах выявления и измерения идеальных качеств у реальных работников. Цель статьи — определить профессионально важные личностные качества руководителей-педагогов, разработать идеальный портрет руководителя образовательного комплекса и предложить математическую модель оценки выраженности личностных качеств. В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: выявление степени соответствия личностных качеств руководителей авторской «идеальной модели руководителя»; создание эмпирической базы данных для последующей разработки модели эффективного руководителя-педагога образовательного комплекса и успешного решения функциональных задач образовательной организации. Был разработан способ выявления личностных качеств руководителей-педагогов, которые соответствуют характеристикам, полученным в результате социологических опросов сотрудников государственных образовательных комплексов и родителей учеников; показаны пути и методы верификации выделенных требований; разработана прикладная эмпирическая модель «идеального портрета руководителя образовательного комплекса». Исследования показали, что идеальный портрет руководителя образовательного комплекса содержит уникальные черты: из 16 возможных личностных качеств отличительными и доминирующими у педагогов стали 11, что значительно больше, чем у «среднестатистического человека», в том числе у представителя других профессиональных групп.

*© Осеев А.А., 2023

Статья поступила 04.05.2023 г. Статья принята к публикации 16.10.2023 г.

Ключевые слова: идеальный портрет; руководитель; образовательный комплекс; профессионально важные личностные качества; структура личностных качеств; модель эффективного руководителя-педагога; идеальные типы социального действия М. Вебера; профессиограмма; 16-факторный личностный опросник Р. Кеттела

Актуальность изучения «идеального портрета руководителя образовательного комплекса» обусловлена требованиями к профессиональным и личностным качествам педагогических кадров, которые установлены законодательством. Так, в Статье 48 «Обязанности и ответственность педагогических работников» Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 272-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» изложены ключевые правила поведения педагогического работника, согласно которым, чтобы «осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне», ему требуются особые личностные качества. Исследованию профессиональных и личностных качеств педагога, а также руководителя образовательного комплекса социологи уделяют особое внимание. Особый интерес представляют исследования «идеального портрета руководителя образовательного комплекса», выявившие требования, предъявляемые сотрудниками государственных образовательных комплексов и родителями учеников к личностным и деловым качествам руководителей-педагогов [5].

Многочисленные проекты, посвященные «идеальному портрету», связаны с рассмотрением «идеальных типов социального действия» М. Вебера, причем он не утверждал, что их нельзя найти в повседневной реальности, и не исключал их методическую и эвристическую значимость. Он полагал, что «действие, особенно социальное, очень редко ориентировано только на тот или иной тип рациональности, и самая эта классификация, конечно, не исчерпывает типы ориентаций действий; они являют собой созданные для социологического исследования понятийно чистые типы, к которым в большей или меньшей степени приближается реальное поведение или — что встречается значительно чаще — из которого оно состоит. Для нас доказательством их целесообразности может служить только результат исследования» [6. С. 630].

Указывая на утопичность идеальных типов, Вебер говорил лишь об абстрактных экономических теориях как мысленных конструкциях, т.е. они утопичны в абстрактном отражении лишь отдельных элементов реальности, не могут отразить все связи, все богатство внутреннего содержания (признаков, свойств и связей) реального явления. Содержание явления, существующего во взаимосвязи с другими явлениями, более многообразно, чем выделяемые исследователем «мысленные связи» в нем. Теории утопичны в смысле их ограниченности в раскрытии сущности реальных явлений. Но это не означает, что идеальные типы не имеют связи с практикой или методического и эвристического значения. Согласно Веберу, «по своему содержанию данная конструкция носит характер утопии, полученной посредством мысленного

усиления определенных элементов действительности. Ее отношение к эмпирически данным фактам действительной жизни состоит в следующем: в тех случаях, когда абстрактно представленные в названной конструкции связи... в какой-то степени выявляются или предполагаются в действительности как значимые, мы можем, сопоставляя их с идеальным типом, показать и пояснить с прагматической целью своеобразие этих связей. Такой метод может быть эвристическим, а для выявления ценности явления даже необходимым... В исследовании идеально типическое понятие — средство о вынесении правильного суждения о каузальном свойстве элементов действительности. Идеальный тип — не “гипотеза”, он лишь указывает, в каком направлении должно идти образование гипотез. Не дает он и изображения действительности, но представляет для этого однозначные средства выражения» [6. С. 630].

Исследования идеального портрета руководителя образовательного комплекса, проведенные К.М. Барышовцев, показали, что представления сотрудников государственных образовательных комплексов и родителей практически совпадают: «Оптимально иметь второе высшее образование (управленческое либо педагогическое)... опыт работы в указанных областях... хорошо разбираться в психологии и, как считают родители, в социологии... в первую очередь учитывать интересы детей». К важным качествам педагога и родители отнесли «компетентность, эффективную коммуникацию и умение действовать в экстремальных ситуациях... умение выявлять первостепенные задачи и быстро находить решение, умение работать в команде... ответственность, порядочность, честность, стрессоустойчивость и т.д.» [5. С. 208].

В ходе проведенных нами исследований в 2017–2018 и 2020–2022 годы мы также изучали представления экспертов (высшего руководства образовательного комплекса) о качествах, которыми должен обладать руководитель-учитель-педагог. По мнению экспертов, руководитель в такой организации, помимо лидерских качеств, должен обладать «внутренней интеллигентностью», «быть мягким, терпимым к критике и бесконфликтным в общении», «не быть импульсивным», «быть открытым и честным», «энтузиастом своего дела, уметь заразить других». Особый акцент был сделан на «уровне эмоциональной устойчивости», «склонности к общению», «интеллектуальной составляющей» и «дипломатичности». Для руководителей важны личностные качества, которые обеспечивают «умение хорошо выполнять административные функции (взаимодействовать с проверяющими, госорганами, контрагентами), управлять педагогами, кухней, медициной и пр.», «продавать контракты на образовательные услуги», «проводить мероприятия, нацеленные на командообразование» и пр.

Исследование представлений родителей о важных личностных качествах руководителей образовательного комплекса вполне закономерно, поскольку с учителем взаимодействуют не только ученики, но и их родители. В процессе общения между родителями и учителем могут возникать кон-

фликты: как показывают экспертные оценки, «родители по своему уровню культуры и амбиций представляют разный спектр эмоций: от вполне доброжелательных до крайне капризных, амбициозных и агрессивных... считают, что к их ребенку проявляется повышенная требовательность или недостаточное внимание и забота. Особой раздражительностью и эмоциональной несдержанностью, часто не обоснованной, отличаются те, у кого очень высокий уровень материального обеспечения. Поэтому способность со всеми ладить — находить общий язык и взаимопонимание — является важным умением хорошего учителя, руководителя образовательного комплекса. Здесь нужны и такт, и терпение, и принципиальность — все вместе! Но главное — умение выслушать другую сторону! И тогда будет все хорошо! Раздражительность проходит, напряжение спадает, родитель начинает слушать учителя и воспринимать его позицию. А справедливые просьбы и пожелания не должны оставаться без внимания учителя».

Но есть проблема, которая не нашла у исследователей методологического и методического решения. Все понимают, что набор профессиональных компетенций, которыми овладевают учителя в ходе обучения в вузе, может и должен реализовывать субъект с определенными личностными качествами. Но как измерить профессионально важные личностные качества, которые общество хочет видеть у успешного руководителя образовательного комплекса? Отдельный вопрос — качества, которые носят описательный, декларативный характер (аккуратность, интеллигентность и пр.), а по существу являются собирательными понятиями, которые сложно верифицировать. Ниже мы покажем, как перечисленные выше требования к личностным качествам руководителя-педагога образовательного комплекса, выделенные в ходе социологических опросов, реализуются в разработанной нами профессиограмме и модели идеального портрета такого руководителя, а также какими способами можно выявлять и измерять эти качества.

Для этого мы изучили личностные качества успешных руководителей-педагогов образовательных комплексов одной московской организации, чьи черты, как оказалось, во многом соответствуют предъявляемым к ним требованиям головной организации, а также требованиям, выделенным в ходе социологических исследований Е.М. Баришовец. Объект — руководители-педагоги нескольких образовательных комплексов Москвы, предметом — личностные качества руководителей-педагогов. Организация, в которой проводились исследования в 2017–2018 годы, — «English nursery & primary school» (английские детские сады и школы с 18-летним опытом работы). Цель исследования — выявить профессионально важные личностные качества штатного состава руководителей-педагогов, разработать идеальный портрет руководителя образовательного комплекса и построить математическую модель границ выраженности личностных качеств. В частности, предполагалось выявление степени соответствия личностных качеств руководи-

телей авторской «идеальной модели руководителя» [12. С. 126–144], а также создание эмпирической базы данных для последующей разработки модели эффективного руководителя-педагога образовательного комплекса и успешного решения функциональных задач организаций в сфере образования.

Методологическую основу исследования составили работы западных и отечественных авторов о роли личностных качеств индивида в целом и руководителя (лидера) в частности [4; 6; 7; 9; 10; 11; 12; 16; 18; 19]. Идея о выделении доминирующих начал в структуре личностных качеств, включая качества руководителя и лидера, в философии [4. С. 74, 84; 21. С. 352, 353], социологии [15. С. 286–290] и психологии [3; 22] имеет определенную традицию. Среди таких качеств, например, Р. Кэттелл, как и Аристотель, выделял ответственность — так называемый «фактор G» [2], который мы рассмотрим ниже. Как показывают наши исследования, у разных профессиональных групп, в том числе руководителей, имеется своя профессионально важная структура личностных качеств.

Важной методологической основой исследования стала теория идеальных типов социального действия М. Вебера, об эвристическом значении которой для изучения личностных качеств руководителей мы подробно писали в предыдущих публикациях [13], так, примером целерационального типа служат качества предпринимателя (фактор G, 2 балла, низкие моральные нормы). «Идеальный портрет руководителя образовательного комплекса» теоретически, согласно экспертным оценкам, и эмпирически (Табл. 1–2), соответствует ценностно-рациональному типу Вебера: это тот, «кто, невзирая на возможные последствия, следует своим убеждениям в долге» [6. С. 266], отличается ответственностью (фактор G в границах 6 баллов) и рациональным решением стоящих перед ним задач (рассудительность, практичность, фактор I, 2 балла).

Другая методологическая основа исследования — теория ситуационного подхода к управлению организацией (М.П. Фалет и др.) и практико-ситуационный подход В.В. Щербины [23. С. 64] к заданию социальных норм: для определения профессионально важных качеств персонала организации следует не столько опираться на экспертные оценки, которые далеки от реальности и страдают субъективизмом (и потому уже обладают «утопической природой идеальных типов»), сколько оценивать качества работающего персонала организации в конкретной сфере деятельности. Другая необходимая методологическая основа исследования, обеспечивающая достоверность его результатов, — диспозициональная теория личности Г. Олпорта и Р. Кэттелла. В частности, Кэттелл считал, что «посредством черт личности можно описать не только сами личности, но и те социальные группы, членами которых они являются» [20. С. 313], т.е. мы можем изучить структуру личностных качеств индивидов, включая руководителей тех социально-профессиональных групп, членами которых они являются, а также сами социальные группы.

В качестве способа сбора эмпирических данных была выбрана методика Кэттелла [17. С. 226–242]. Для разработки профессиограммы «идеальной модели руководителя образовательного комплекса» использовались две методики: оценка степени соответствия личностных качеств работников организации авторской «идеальной модели руководителя» [12. С. 126–144], разработанной на основе статистически значимого массива эмпирических данных и методики Щербины; методика Щербины, предполагающая проведение корреляционного анализа связи выявленных в ходе опроса личностных качеств «эффективных и неэффективных» работников с эффективностью их деятельности [24. С. 3–90; 23. С. 54]. Оказалось, что авторская «идеальная модель руководителя» в 3 из 5 ключевых характеристик совпадает с моделью «линейного руководителя среднего звена» Щербины [27. С. 31]: это высокие показатели по факторам E (доминирование), G (моральные нормы, совесть) и Q3 (воля), что говорит о валидности методики Щербины и эвристичности «идеальной модели руководителя».

Ключевым аргументом в пользу авторской модели служит тот факт, что структура личностных качеств руководителя, отраженная в «идеальной модели руководителя», полностью соответствует теоретическим разработкам ученых о качествах эффективных руководителей и согласуется со структурой «наиболее важных личностных качеств эффективного руководителя» [16. С. 162–164]. Так, В.П. Пугачев относит к ним, наряду с интеллектом: «доминантность; уверенность в себе; самообладание, эмоциональную уравновешенность; креативность, способность к творчеству; целенаправленность; предприимчивость, готовность к обоснованному риску; решительность, готовность брать на себя ответственность; надежность в отношениях с подчиненными, руководством и клиентами... и пр.» [16. С. 162–164], т.е. качества, выделенные в результате обобщения разных теоретических подходов в изучении личности руководителя и эмпирически верифицируемые в модели идеального портрета руководителя образовательного комплекса.

В 2017–2018 годы в «English nursery & primary school» был проведен сплошной опрос по методике Кэттелла — 14 руководителей (женщины, средний возраст — 45 лет) образовательных комплексов в сфере дошкольного и начального школьного образования, расположенных в разных районах Москвы (Табл. 1). Объем выборки вполне достаточен для статистического анализа полученных данных [14. С. 508] — чтобы представить структуру личностных качеств индивидов, включая руководителей тех социально-профессиональных групп, членами которых они являются, а также сами социальные группы. «Стены» (в представленных таблицах — баллы) распределен по биполярной шкале с крайними значениями от 1 до 10. При интерпретации мы уделяем внимание, в первую очередь, пикам профиля, т.е. наиболее низким и высоким значениям, особенно тем показателям, которые в «отрицательном» полюсе находятся в границах от 1 до 3, а в «положительном» —

от 8 до 10; показатели от 4 до 7 рассматриваются как значимая тенденция для того или иного фактора.

Таблица 1

**Сводная таблица личностных качеств руководителей
(сравнительные данные персонограмм)**

Респонденты	A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N	O	Q1	Q2	Q3	Q4
1	9	8	8	6	7	7	9	6	9	7	9	4	3	4	9	1
2	9	6	6	6	5	8	6	2	4	8	9	2	4	5	10	2
3	8	9	5	9	4	4	6	5	10	6	6	6	6	6	6	6
4	9	9	7	8	9	6	9	1	6	7	6	5	4	1	10	1
5	10	10	4	10	10	2	9	1	8	8	1	2	10	2	6	8
6	9	10	8	10	7	5	10	4	5	8	6	2	5	7	6	4
Х ср.	9	8,6	6,3	8	7	5,3	8	3	7	7,3	6	3,5	5,3	4	7,8	3,6
7	8	9	5	6	5	8	7	2	6	7	7	5	6	2	8	7
8	8	2	7	6	5	6	8	1	7	6	6	3	4	7	9	2
9	10	9	6	7	9	8	10	2	6	7	6	3	5	1	10	3
10	8	8	8	10	4	8	7	2	6	6	7	2	4	8	10	2
11	9	9	8	9	10	8	10	5	7	8	9	2	8	2	10	1
12	9	9	6	9	8	2	5	4	3	7	6	2	9	5	6	2
13	9	10	9	6	5	5	9	5	6	6	9	1	6	6	10	1
14	9	8	5	8	5	8	9	8	5	6	3	3	6	8	8	4
Х ср.	9	8,3	7	8	7	6	8	3	6	7	6	3	6	5	8	3
Авторская идеальная модель		8		8		8			8		8	3		3	8	3

Примечателен тот факт, что в персонограммах большого числа руководителей присутствует много пиковых показателей выраженности личностных качеств — в границах 1–3, 8–9, 4 и 7 стенов. Согласно данным в Таблице 1, из 16 возможных факторов отличительными, доминирующими стали 11: сопоставление с ранее проведенными исследованиями показывает, что это значительно больше, чем у «среднестатистического человека», в том числе из других профессиональных групп. Например, у эффективных руководителей разных организаций выделяется 8–9 доминирующих профессионально важных личностных качеств, у врачей — 7–8 качеств (например, высокий уровень интеллекта, фактор В, радикализм, фактор Q1, и пр.), безаварийных водителей — 4 (ответственность, следование долгу, фактор G и пр.), служащих подразделений спецназа — 3–4 (радикализм, фактор Q1 и пр.). Большое число отличительных черт, присущих руководителям образовательных комплексов, позволяет сделать несколько выводов: о богатстве проявления характерных черт личности руководителя-педагога и о том, что предметно-функциональное содержание его труда требует

и оставляет в этой профессиональной области неординарных, в определенном смысле уникальных личностей. Знание структуры профессионально важных личностных качеств руководителей-учителей важно для решения прикладных задач в области подготовки и отбора кадров для работы в системе образования и для совершенствования самой системы, поскольку набором профессиональных компетенций овладевают учителя, обладающие определенными качествами.

Рассмотрим особенности структуры профессионально важных личностных качеств руководителей-педагогов — общие характеристики, полученные по итогам сравнения X ср. по 16 факторам (Табл. 2) и математического анализа связи личностных качеств с эффективностью деятельности, для чего список руководителей был проранжирован по этому критерию на основе экспертного опроса. Использование двух подходов объясняется тем, что в первом мы получаем усредненные показатели выраженности важных качеств, и он помогает ориентировочно отбирать руководителей-педагогов; во втором подходе результатом корреляционного анализа является более строгая модель отбора, учитывающая несколько ключевых качеств, связанных с эффективностью деятельности.

Таблица 2

Профессиограмма: идеальный портрет руководителя образовательного комплекса (X ср.) в сравнении с авторской «идеальной моделью руководителя»

	A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N	O	Q1	Q2	Q3	Q4
Баллы X ср.	9	8,3	7	8	7	6	8	3	6	7	6	3	6	5	8	3
Авторская идеальная модель		8		8		8			8		8	3		3	8	3

Результаты оценки соответствия личностных качеств руководителей авторской «идеальной модели» показали, что личностные качества руководителей в целом согласуются с авторской идеальной моделью, и всех руководителей-педагогов, как и эффективных руководителей в других организациях, отличают высокий уровень интеллекта (фактор B, 8,3 балла), лидерство (доминирование, фактор E, 8 баллов), моральные нормы (совестливость, фактор G, 6 баллов), соревновательность (фактор L, 6 баллов), высокие волевые качества (фактор Q3, 8 баллов) и высокая эмоциональная устойчивость (высокие показатели фактора C, 7 баллов, и низкие показатели факторов O и Q4, 3 балла). В отличие от других профессиональных групп, руководителям присуща общительность, готовность к сотрудничеству (фактор A, 9 баллов). Как отмечает Д. Гоулман, говоря о роли навыков общения и управления эмоциями в повышении эффективности деятельности руководителя, «сотрудники, чьей сильной стороной являлись социальные навыки, приносили фирме прибыль

на 110 % выше, чем все прочие, а те, кто великолепно владел навыками самоконтроля, принесли организации колоссальную (390 %) добавочную прибыль» [8. С. 263–265]. Исследования Гоулмана подтверждают и диспозиционную теорию Кэттелла, согласно которой к особо важным качествам (ядру структуры личности), наряду с ответственностью (фактор G), относится фактор А, общительность [2]. Кроме того, для руководителей-педагогов важна экспрессивность, живость характера (фактор F, 7 баллов), которые помогают поддерживать и развивать общение с детьми, проявлять искреннее внимание к их проблемам и интересам, а также способность вызывать ощущение своей значимости и доверие у учеников. В результате педагог становится авторитетом не только для учеников, но и для их родителей.

Еще одной группой профессионально важных личностных качеств данного типа руководителей следует считать коммуникативные способности: дипломатичность («знание, когда и что сказать», фактор N, 6 баллов), консерватизм/радикализм (следование традициям сочетается с готовностью к инновациям, фактор Q1, 6 баллов) и конформизм (способность прислушиваться к людям, умение работать в команде, фактор Q2, 5 баллов). Эти качества обеспечивают бесконфликтное межличностное взаимодействие, способность к конструктивному решению конфликтных ситуаций с учениками и родителями. По сути, в мотивационной структуре личности это «способность к эффективной коммуникации», которую эксперты и родители хотят видеть в руководителе образовательного комплекса. Отсутствие данных качеств или недостаточная степень их выраженности (например, нонконформизм, фактор Q2, 8 баллов) — источник напряженности и конфликтов в деловом и межличностном общении, например, это структура личностных качеств респондента 14 (Табл. 1), уволенного из организации из-за частых конфликтов. Руководителей образовательного комплекса отличает и такая черта, как рационализм (жесткость, рассудительность, практичность, фактор I, 3 балла), который в сочетании с высоким интеллектом обеспечивает то, что хотели бы видеть эксперты, — «умение выделять первостепенные задачи и быстро находить верное решение».

Более точно определить структуру профессионально важных личностных качеств эффективных руководителей позволил корреляционный анализ показателей личностных качеств группы, в которую вошло 14 руководителей. Использование коэффициента ранговой корреляции Спирмена дало интересные и важные результаты: если в изучении профессионально важных личностных качеств ранее обследованных профессиональных групп (например, сотрудников спецназа, водителей и пр.) была выявлена сильная связь личностных качеств с эффективностью трудовой деятельности лишь по 3–4 факторам Кэттелла, то у руководителей-педагогов — по 7, и это ключевые факторы из 11 отмеченных ранее: E (лидерство), I (жесткость, рассудительность, практичность), L (соревновательность), M (творческое воображение),

О (тревожность), Q1 (консерватизм — традиционный тип социального действия по Веберу), Q4 (низкая напряженность, возбудимость), что говорит о достаточно сложной структуре профессионально важных личностных качествах в профессиограмме руководителя-педагога образовательного комплекса. Так, если критическая величина коэффициента ранговой корреляции Спирмена для $N = 14$ — 0,456 [28. С. 508], то по фактору Е (лидерство) — 0,32, L (соревновательность) — 0,4, М (творческое воображение) — 0,4, О (тревожность) — 0,58, Q1 (консерватизм) — 0,36, Q4 (низкая напряженность, возбудимость) — 0,35, I (жесткость, рассудительность, практичность) — 0,26 (выраженная зависимость), что говорит о значимой связи данных качеств с эффективностью деятельности.

Выявленные в ходе корреляционного анализа значимые зависимости связи личностных качеств «эффективных и не эффективных» руководителей с результативностью их деятельности показали как надежность выборки, так и валидность применяемых методик. Результаты корреляционного анализа предполагают внесение небольших корректировок в показатели X ср. профессиограммы идеального портрета руководителя образовательного комплекса по выявленным 7 ключевым факторам методики Кэттелла, что будет сделано в следующих публикациях. Мы полагаем, что представления сотрудников государственных образовательных учреждений и родителей об «идеальном портрете руководителя образовательного комплекса» и о личностных качествах эффективных учителей успешно отображены в представленной профессиограмме, что, однако, не исключает разработку и использование других методов верификации, выявления и измерения обозначенных другими учеными личностных качеств «идеального портрета руководителя образовательного комплекса».

Библиографический список

1. «Понимающая социология» и концепция «идеальных типов» М. Вебера // URL: https://studopedia.ru/26_114767_ponimayushchaya-sotsiologiya-i-kontseptsiya-idealnih-tipov-m-vebera.html?ysclid=llazja5bl2775315940.
2. 16-ти факторный личностный опросник Кэттелла. 16 ФЛО-187-А // URL: <https://gurutestov.ru/test/60>.
3. Анастаси А., Урбина С. Психологическое тестирование. Кн. 1, 2. М., 1982.
4. Аристотель. Сочинения: в 4-х тт. Т. 4. М., 1983.
5. Баршовец Е.М. Идеальный портрет руководителя образовательного комплекса // Власть. 2019. № 6.
6. Вебер М. Мотивы социального действия // Избранные произведения / Сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н. Давыдова; предисл. П.П. Гайденко. М., 1990.
7. Вудкок М., Фрэнсис Д. Раскрепощенный менеджер. Для руководителя практика. М., 1991.
8. Гоулман Д., Бояцис Р., Макки Э. Эмоциональное лидерство: искусство управления людьми на основе эмоционального интеллекта. М., 2008.
9. Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Психология малой группы: теоретический и прикладной аспект. М., 1991.

10. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М., 1992.
11. Ольшанский Д.В. Основные теории лидерства. Политическая психология. М., 2002.
12. Осеев А.А. Социально-психологический портрет руководителя: идеальная модель и способы ее измерения // Вестник Московского университета. Серия 18: Социология и политология. 2011. № 1.
13. Осеев А.А. Эмпирические модели структуры личностных качеств руководителей: традиционный тип социального действия М. Вебера (результаты прикладных исследований) // Вестник Московского университета. Серия 18: Социология и политология. 2021. № 3.
14. Осипов Г.В. Рабочая книга социолога. М., 1976.
15. Осипов Г.В., Лисичкин В.А., Корягин Н.Д. Менеджмент. М., 2011.
16. Пугачев В.П. Руководство персоналом. М., 2006.
17. Римская Р., Римский С. Практическая психология в тестах, или как научиться понимать себя и других. М., 1998.
18. Сербиновский Б.Ю. Управление персоналом // URL: Psyera.ru.
19. Файоль А., Эмерсон Г., Форд Г. Управление это наука и искусство. М., 1992.
20. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности: Основные положения, исследования и применение. СПб., 2008.
21. Чаньшиев А.Н. Курс лекций по древней философии. М., 1981.
22. Чудина Е.А. Психологические особенности проявления эмоциональной неустойчивости личности. Дисс. к.псих.н. М., 1999.
23. Щербина В.В. Средства социологической диагностики в системе управления. М., 1993.
24. Щербина В.В., Родина В.Ю., Ерохин А.С. Методические рекомендации по оценке использования работников в качестве линейного руководителя среднего звена. М., 1983.

DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-4-875-887

EDN: BRQZML

Ideal image of the head of the educational complex: Research methodology and results*

A.A. Oseev

Lomonosov Moscow State University,
Leninskie Gory, 1–33, Moscow, 119234, Russia

(e-mail: oseev.a@mail.ru)

Abstract. The requirements for the professional and personal qualities of teachers are presented in the Federal Law “On Education in the Russian Federation”. However, the article focuses on the “ideal portrait of the head of the educational complex” as both a leader and a teacher. The analysis of the results of studies conducted in recent years has revealed a number of requirements for the personal and business qualities of leaders-teacher, and two problems. First, many authors consider ideal portraits, on which the research is theoretically based, to be “ideal types” (according to M. Weber), i.e. “utopian by nature”, “models that cannot be verified” [1], since they “cannot be found in everyday life” [2. P. 207]. Second, the pressing methodological issue of ways to identify and measure ideal qualities of real workers remains unresolved. The article aims at identifying the professionally important personal qualities of leaders-teachers,

*© A.A. Oseev, 2023

The article was submitted on 04.05.2023. The article was accepted on 16.10.2023.

at developing an ideal portrait of the head of the educational complex, and at proposing a mathematical model for assessing the strength of personal qualities. Therefore, the following tasks were set: to identify the degree of compliance of the leaders-teachers' personal qualities with the author's "ideal model"; to form an empirical database for the subsequent development of a model of the effective leader-teacher of the educational complex, and to successfully solve functional problems of educational organizations. The author presents a method for identifying personal qualities of the leader-teacher, which correspond to the results of sociological surveys of employees of state educational complexes and parents; ways and methods to verify the selected requirements; and an applied empirical model of the "ideal portrait of the head of the educational complex". This ideal portrait has some unique features: out of 16 possible personal qualities, 11 became distinctive and dominant, which is significantly more than that of the "average person", including representatives of other professional groups.

Key words: ideal image; head; educational complex; professionally important personal qualities; structure of personal qualities; model of effective leader-teacher; ideal types of social action by M. Weber; profesiogram; Cattell's 16 Personality Factors Test

References

1. "Ponimayushchaya sotsiologiya" i kontseptsiya "idealnyh tipov" M. Webera ["Understanding sociology" and the concept of "ideal types" by M. Weber. URL: https://studopedia.ru/26_114767_ponimayushchaya-sotsiologiya-i-kontseptsiya-idealnih-tipov-m-webera.html?ysclid=llazja5bl2775315940. (In Russ.).
2. 16-ti faktorny lichnostny oprosnik Cattella. 16 FLO-187-A [Cattell's 16 Personality Factors Test]. URL: <https://gurutestov.ru/test/60>. (In Russ.).
3. Anastazi A., Urbina S. *Psikhologicheskoe testirovanie*. Kn. 1, 2 [Psychological Testing. Book 1, 2]. Moscow; 1982. (In Russ.).
4. Aristotle. *Sochineniya*: v 4-h tt. T. 4 [Essays: in 4 vols. Vol. 4.]. Moscow; 1983. (In Russ.).
5. Barishovets E.M. Idealny portret rukovoditelya obrazovatel'nogo kompleksa [The ideal portrait of the head of the educational complex]. *Vlast*. 2019; 6. (In Russ.).
6. Weber M. Motivy sotsialnogo deystviya [Motives of social action]. *Izbrannye proizvedeniya*. Sost., obshch. red. i poslesl. Yu.N. Davydova; predisl. P.P. Gaydenko. Moscow; 1990. (In Russ.).
7. Woodcock M., Francis D. *Raskrepushchenny menedzher. Dlya rukovoditelya praktika* [Liberated Manager. For the Head of the Practice]. Moscow; 1991. (In Russ.).
8. Goleman D., Boyatzis R., McKee A. *Emotsionalnoe liderstvo: iskusstvo upravleniya lyudmi na osnove emotsionalnogo intellekta* [Primal Leadership: Learning to Lead with Emotional Intelligence]. Moscow; 2008. (In Russ.).
9. Krichevsky R.L., Dubovskaya E.M. *Psikhologiya maloy gruppy: teoretichesky i prikladnoy aspect* [Psychology of Small Group: Theoretical-Applied Aspect]. Moscow; 1991. (In Russ.).
10. Mescon M.H., Albert M., Khedouri F. *Osnovy menedzhmenta* [Management]. Moscow; 1992. (In Russ.).
11. Olshansky D.V. *Osnovnye teorii liderstva. Politicheskaya psikhologiya* [Basic Theories of Leadership. Political Psychology]. Moscow; 2002. (In Russ.).
12. Oseev A.A. Sotsialno-psikhologichesky portret rukovoditelya: idealnaya model i sposoby ee izmereniya [Social-psychological portrait of the leader: An ideal model and ways to measure it]. *Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya 18: Sotsiologiya i Politologiya*. 2011; 1. (In Russ.).
13. Oseev A.A. Empiricheskie modeli struktury lichnostnyh kachestv rukovoditeley: traditsionny tip sotsialnogo deystviya M. Webera (rezultaty prikladnyh issledovaniy) [Empirical models of the structure of managers' personal qualities: The traditional type of social action by M. Weber (results of the applied research)]. *Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya 18: Sotsiologiya i Politologiya*. 2021; 3. (In Russ.).

14. Osipov G.V. *Rabochaya kniga sotsiologa* [Sociologist's Workbook]. Moscow; 1976. (In Russ.).
15. Osipov G.V., Lisichkin V.A., Koryagin N.D. *Menedzhment* [Management]. Moscow; 2011. (In Russ.).
16. Pugachev V.P. *Rukovodstvo personalom* [Personnel Management]. Moscow; 2006. (In Russ.).
17. Rimskaya R., Rimsky S. *Prakticheskaya psikhologiya v testah, ili kak nauchitsya ponimat sebya i drugih* [Practical Psychology in Tests, or How to Learn to Understand Yourself and Others]. Moscow; 1998. (In Russ.).
18. Serbinovsky B.Yu. *Upravlenie personalom* [Personnel Management]. URL: Psyera.ru. (In Russ.).
19. Fayol A., Emerson G., Ford G. *Upravlenie eto nauka i iskusstvo* [Management as Science and Art]. Moscow; 1992. (In Russ.).
20. Kjell L., Ziegler D. *Teorii lichnosti: Osnovnye polozheniya, issledovaniya i primeneniye* [Personality Theories. *Basic Assumptions, Research, and Applications*]. Saint Petersburg; 2008. (In Russ.).
21. Chanyshv A.N. *Kurs lektsiy po drevney filosofii* [Course of Lectures on Ancient Philosophy]. Moscow; 1981. (In Russ.).
22. Chudina E.A. *Psikhologicheskie osobennosti proyavleniya emotsionalnoy neustoychivosti lichnosti* [Psychological Features of Individual Emotional Instability]. Diss. k.pсих.n. Moscow; 1999. (In Russ.).
23. Shcherbina V.V. *Sredstva sotsiologicheskoy diagnostiki v sisteme upravleniya* [Tools of Sociological Diagnostics in Management]. Moscow; 1993. (In Russ.).
24. Shcherbina V.V., Rodina V.Yu., Erokhin A.S. *Metodicheskie rekomendatsii po otsenke ispolzovaniya rabotnikov v kachestve lineynogo rukovoditelya srednego zvena* [Methodological Guidelines for Assessing Employees as Line Managers of the Middle Level]. Moscow; 1983. (In Russ.).



DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-4-888-900

EDN: CFHNRS

Какова общественная эффективность образования в России?*

А.М. Осипов¹, Б. Наран²

¹Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,
наб. реки Мойка, 48, Санкт-Петербург, 191186, Россия

²Монгольский государственный университет,
WWF9+6H6, Улан-Батор, 14200, Монголия

(e-mail: osipov.al58@gmail.com; n.boldmaa@num.edu.mn)

Аннотация. В статье обосновывается важность оценки общественной эффективности образования как проблемы социологии образования, решение которой — теоретическая предпосылка преодоления системных бюрократологий и становления научного управления образованием в интересах российского общества. Общественная эффективность может быть определена с опорой на концепцию миссии (институциональных функций) — отношение социально значимых результатов к общественным затратам на образование. Трактовка общественной эффективности образования как предмета социальных наук предполагает: центральную роль социологии в решении этой научно-практической проблемы; учет всего спектра, содержания и особенностей институциональных функций образования (воздействие на все сферы общества; отложенность части результатов во времени; несводимость к рыночной услуге, педоцентристским и «компетентностным» схемам и т.д.); междисциплинарное взаимодействие для концептуализации общественных затрат и результатов. Отсутствие в российском законодательстве понятия «общественная эффективность образования» порождает в государственной образовательной политике идейное и нормативное пространство для отраслевой бюрократии и системных бюрократологий в образовании, т.е. общественная эффективность образования, будучи многокомпонентным качеством макроуправления, подменяется примитивным и выгодным бюрократам проектным менеджментом. Бюрократический менеджмент игнорирует социальную ответственность образования и расчленяет ее на короткие проекты, в чем действия бюрократов соответствуют неолиберальным рыночным «модернизациям» и педоцентристским «реформам», способствуя стагнации и кризису системы образования, растрате общественных ресурсов и отставанию страны в глобальном соперничестве. В статье рассмотрены методологические особенности анализа компонентов обозначенной проблемы — общественных затрат и результатов — в рамках концепции институциональных функций образования; предложена обобщенная логическая схема функций и ожидаемых результатов. Авторы полагают, что разработка проблемы общественной эффективности образования обеспечит опережающее развитие данной научно-практической области в России с учетом глобальных научных трендов и в соответствии с приоритетами российского общества, образования и социально-гуманитарного знания.

*© Осипов А.М., Б. Наран, 2023

Статья поступила 25.06.2023 г. Статья принята к публикации 26.09.2023 г.

Ключевые слова: институциональные функции образования; общественные затраты; общественные результаты; общественная эффективность образования; методология оценки; государственная образовательная политика

Общество возлагает на государство, а оно принимает на себя ответственность за управление образованием — поддержание единого образовательного пространства и предоставление гарантий, обеспечение отрасли ресурсами, координация программ и проектов в ней. Для этого создана и функционирует сеть органов управления, организаций и ведомств, чья ответственность отражена в наборах полномочий. Проводится немало исследований для оценки качества управления образованием — и в России, и в зарубежье, которые подтверждают многоаспектность как самого образования, так и его общественной эффективности, а, следовательно, и качества управления. Такие исследования нередко завершаются неодинаковыми и даже противоположными выводами даже в одной и той же стране, а потому порождают признание многоаспектности образования и вопрос о его основаниях. Но, возможно, в разных странах и их образовательных системах можно обнаружить принципиально разные основания качества, общественной эффективности образования? [6. С. 2–3; 30]. Как оценивать успешность или выявить ошибки управления? Этот вопрос не решен ни в российской, ни в мировой науке, а в образовании копятся, без отражения в управленческих дискурсах и программах, признаки общей неэффективности. Если оценки эффективности представлены только в отчетах по проектам, то не теряет ли общество способность к взвешенному видению таких жизненно важных подсистем, как школа и образование?

Подходы к оценке эффективности образования варьируют от утилитарных (удовлетворенность полученным образованием и т.п.) и узко-научных (влияние образования на уровень зарплаты работников) до макросоциальных и глобальных, цивилизационных. Основание различий — многообразие социальных интересов в сфере образования, среди которых немаловажную роль играет бизнес. Рассмотрим наиболее устойчивые подходы к оценке эффективности образования.

Политические и правовые. В России политические оценки эффективности образования варьируют от жестко негативных до сдержанно критических. Президент неоднократно высказывался за возвращение к лучшим достижениям советской школы и отказ от Болонской системы, что, по сути, есть признание общественных потерь от слома советской модели: образование в последние два десятилетия развивалось неэффективно (как считает большинство учителей и администраторов школ [13]), но в законодательстве для констатации этого факта нет критериев. В Статье 3 Закона № 273-ФЗ многие принципы образовательной политики не являются нормами, не отвечают миссии образования и не выполнены [13. С. 27–28], т.е. государство,

по сути, не сформулировало критерии оценки результатов работы системы образования.

Ведомственные. На сайтах Министерства просвещения и Мининстерства науки и образования нет документов, содержащих критерии эффективности образования, и статистических данных о его состоянии, позволяющих судить об успехах и проблемах. В числе научных мероприятий, проводимых этими министерствами, нет ни одного по тематике общественной эффективности отрасли. Они не обсуждают критерии оценки развития отрасли и апробацию системных решений. Все негативные проблемы, отмечаемые учеными [14], топ-менеджеры публично не упоминают, постоянно подчеркивая «движение российского образования вперед».

Научные. Помогло ли образование построить более комфортабельные дома или вырастить более богатый урожай? Позволило оно произвести больше товаров и услуг, делающих жизнь комфортной? Станем ли мы сильнее и здоровее благодаря образованию? Системы школ в разных странах требуют все больших вложений и труда работников, тратят все больше бюджетных средств и частных инвестиций. Но понятия «общественная эффективность образования» нет в исследованиях, хотя тренды и оценки советской и российской систем образования явно подталкивают к формулировке соответствующего вопроса. В свете достижений советского образования аналитики США выпускали доклады вроде «Нация в опасности» (1983), но с приходом к власти в России рыночных элит начался спад эффективности, о чем предупреждали ученые [2; 3; 10; 11; 19; 23], что подтверждают и сравнительные исследования, говорящие о провале «модернизации» [7], необходимости отказа от «болонского тупика» [17], маркетинга и бюрократизации [5; 16] отрасли. Впрочем, проблема общественной эффективности — самый редкий сюжет и научных публикаций: сайт elibrary.ru за 2000–2022 годы находит более 35 тысяч публикаций с термином «эффективность образования» (в названиях, ключевых словах и текстах), но ни одной статьи с «общественной эффективностью образования», что говорит о незавершенности предметного развития дисциплин, изучающих образование. Ориентиром здесь могло бы стать определение направлений влияния образования на общество и его приоритетов (образовательная доктрина России), а также система индикаторов для оценки достижения каждого приоритета с учетом произведенных бюджетных затрат и итоговых общественных результатов.

Фрагментация и подмена эффективности маркетинговой «успешностью»

При правовой (законодательной) неопределенности приоритетов образования постепенно усиливалась противоречивость «социальных заказов» к нему, в первую очередь со стороны рыночных элит. С 1990-х годов трактовки образования с позиции апологетов рынка доминировали в образователь-

ной политике, хотя в научных изданиях нарастала критика таких трактовок как мифологем для манипулирования массовым сознанием в пользу неолиберальных стратегий.

Следует обратить внимание на сравнительно новую для научного анализа [15; 16; 13. С. 28–30], но органичную по социально-идейной природе взаимосвязь неолиберальной трактовки образования с возобладавшем в России в последнюю четверть века авторитарным бюрократическим менеджментом (1). Эта трактовка, исходящая из узкого экономократического понимания пользы образования как рыночной услуги (влияние на зарплату наемного работника, «сбережение» бюджета государства и налогоплательщиков от «нерациональных» потерь, расширение прав «потребителей», перевод всех сторон образования в количественные и документированные доказательства его «пользы», устранение препятствий для «зарабатывания» в образовании и т.д.), с 1990-х годов почти два десятилетия не получала в России теоретической критики. Она встречала почти тотальное неодобрение в педагогическом и научном сообществах, но зарубежный позитивный опыт (в частности, Финляндии) опровергал ее, демонстрируя не только долгосрочные негативные последствия для общества и системы образования, но и возможности успешного правового и общественно-политического противодействия неолиберальной образовательной политике государства (2).

Внедрение неолиберальных трактовок в эту политику в России было «облегчено» утверждением авторитарных подходов топ-менеджмента (концентрация полномочий в распределении ресурсов и кадровых решениях, информационная закрытость). В свою очередь, неолиберальная трактовка образования оказалась выгодной для бюрократического аппарата отрасли: установкой на тотальную формализацию организации, содержания и технологий образования помогала расширить и ужесточить бюрократический контроль вышестоящих органов над нижестоящими организациями и работниками. Во имя якобы благих намерений складывалась и внедрялась «культура недоверия» [29]. Таким образом, авторитарный бюрократический менеджмент формировался по ходу неолиберальных трансформаций в российском образовании.

Педагогический менеджмент в образовательных дискурсах не касается общественной эффективности образования (поиск в elibrary.ru по запросу «общественная эффективность образования» в области «Народное образование. Педагогика» не показывает ни одной работы). Несостоятельность педагогики в этом плане давно известна: она не изучает общество, его структуру и потребности, не видит в образовании институт с объективными функциями, сложными и динамичными комплексами норм, социальной организацией и технологиями, общностями и противоречивыми отношениями. Педагогика не изучает жизнь индивидов после обучения с точки зрения пользы полученных знаний, поэтому ее утверждения о том, какое образование нужно обществу, не имеют прочной научной основы.

Задачи образования распались на отдельные проекты и подчас противоречивы: гуманизация образования на фоне его маркетизации, равнодоступность и поддержка талантливой молодежи, поддержание качества обучения при дифференциации сети учреждений, стандартизация и единое образовательное пространство при вариативности программ. Возникали и особые проекты: «5–100» и повышение цитируемости, уроки финансовой или цифровой грамотности, пропаганда предпринимательства и пенсионного законодательства, учет удовлетворенности образованием как путь к его демократизации, вовлечение партнеров в маркетизацию образования, непрерывность и повышение квалификации, двойные дипломы и вхождение в европейское образовательное пространство, повышение конкурентоспособности и пр.

Фрагментация проблемы эффективности образования была представлена на официальном интернет-портале Министерства просвещения, где нет ссылок на доктринальные документы, упрощенно показаны несколько направлений работы, и не отражена научно понимаемая миссия и ответственность образования, неясно, на каком фундаменте конструируются направления работы и как судить об общественной эффективности всей системы управления и общественных затрат. Расчленение единой проблемы на массу проектов, гипотетически сулящих пользу, также не позволит комплексно оценить образовательную политику. Пример «проектного расчленения» наборы мероприятий — национальный проект «Образование» (2019–2024), переданный на реализацию «проектным офисам». Федеральные проекты будут выполнены, ассигнования будут потрачены, но какова их общественная польза? Другие примеры — целевые программы «открытых конкурсов» вроде программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России», поддержки «избранных» вузов ради повышения их цитируемости (постановление Правительства РФ № 281-р от 17.02.2017), мегагрантов (постановление Правительства РФ № 220 от 09.04.2010), деления вузов на категории и др. — в них нет гарантий развития образования как института и его общественной пользы.

Общественная отдача проектов, называемых модернизационными, — отдельная исследовательская тема. Нередко они закрывались без публичной оценки итогов, «правила игры» в них утверждались топ-менеджментом и закрепляли «тройных коней» неолиберальной глобализации [16]. Способен ли топ-менеджмент к научной рефлексии сложных процессов в образовании? Академические кланы и аутсорсинговые агентства, сопровождавшие такие проекты, вряд ли готовы к оценке общественной эффективности образования. Впрочем, некоторые ученые следуют методологии, принятой Всемирным банком (3). Показателен «Проект 5–100» (2012–2020 годы, 80 млрд рублей), имевший мифические цели в сфере рейтингования вузов — бизнес-проекта глобальных агентств и брендинга 5%–6% мировых университетов. Понятие «ведущий университет мирового уровня» не определено в науке [27], но под

нажимом неолибералов технология «социальной эксклюзии», как и конкуренция, вошли в политику, вызвав даже обеспокоенность Службы внешней разведки РФ (4). Задачи проекта свелись к процентомании и системно не связаны с вузовской сферой и обществом. Кроме того, их так и не состоявшееся решение в дюжине «избранных» вузов не обещало схожих результатов в других вузах. По сути, «Проект 5–100» ускорил расслоение вузов, отсек большинство от возможностей развития инфраструктуры и научных школ, поскольку, например, рейтинги игнорируют, что цитирование может быть негативным, а иногда выход в базы индексации закрыт в интересах государственной тайны.

Приоритет зарубежных индексов цитирования лег в основу проекта мегагрантов, игнорируя ценность конкретных заявок для России: правила не мешали физике стать руководителем заявки по социологии; мнимая «открытость» подобных конкурсов делала их вотчиной бюрократов. Так, в 2019 году в конкурсе на научный государственный заказ вузам итоговое решение в месячный срок заочно принимала по тысячам заявок одна комиссия [24. С. 186–187], определяя распределение многомиллиардных ассигнований. Непрозрачное распределение ресурсов вело к нарушениям в Департаменте науки и технологий Мининтерства образования и науки, и увольнение в 2016 году его руководства официально объяснялось систематическими злоупотреблениями, хищениями и нанесением крупного ущерба бюджету страны. Так становятся понятны источники влияния одного из «тройных коней» неолиберализма — авторитарного бюрократического аппарата, который дробит проблему эффективности на набор удобных для контроля проектов и сам задает критерии успешности управления.

Ложным критерием успешности стал рейтинг вузов по уровню зарплаты выпускников, а школ — по поступаемости в престижные вузы: в обществе дипломов «успешность» — стереотип работодателей в отношении элитарных университетов [29]. Большинство выпускников столичных вузов (85 %) оседает в Москве и Подмосковье [21, С. 86], в зоне концентрации бюджетных и рыночных инвестиций, где выше средняя оплата за равный труд, тогда как для страны важнее закреплять выпускников в регионах, и польза (общественная эффективность) провинциальных вузов в этом плане явно выше.

Социология в оценке общественной эффективности образования

Концептуальные основания для оценки общественной эффективности образования наметили социологи, применившие к нему понятие «социальный институт» и писавшие о его миссии [22. С. 125–161], а затем представители новой социологии образования [6; 4; 8]. В СССР проблема эффективности образования была обозначена [20], но без теоретического осмысления. В 1991 году впервые был применен термин «социально-экономическая эф-

фективность образования» — как обозначение соотношения полезного результата и издержек [9. С. 28–37], но вне экономики эффективность не рассматривалась: «трудности становятся особенно велики, когда объектом изучения являются непроеизводительные отрасли, в частности система образования» [9. С. 29]. В целом образование как общественное благо рассмотрено в экономической социологии [18], где его эффективность описана в контексте институциональных функций.

Проблема общественной эффективности образования имеет сложный междисциплинарный характер. Охватывая плоды образования на всех уровнях (от индивидуального до социетального) и во всех аспектах (личностном, групповом, экономическом, культурном, политическом и пр.), она не решается с позиции одной научной дисциплины. Современные науки отгородились друг от друга «частоклом дефиниций» [12. С. 16], развивают свои области предметного знания, но не открывают прямого пути к выработке научно-практических решений в отношении таких институциональных сфер и социальных организаций, как образование. Отсутствие междисциплинарной интеграции, предметная раздробленность и мелкотемье — на руку отраслевой бюрократии. Проблема общественной эффективности образования требует совмещения теоретических решений с адекватным набором эмпирических индикаторов в границах ответственности института образования. Концепция функций — площадка для междисциплинарного диалога [22. С. 109–112] в научном сопровождении образовательной политики.

Отложенность во времени результатов — институциональное свойство образования. По сути, общество пользуется этими результатами через поколения после выпуска обучаемых из школы, колледжа, вуза. Что из полученного образования и как используется через десятилетия после обучения — не менее важно, чем итоги ЕГЭ и соответствие любых документов образовательного процесса компетентностным схемам. Из отложенности вытекает несводимость образования к рыночной услуге и личным потребностям, а «продажа» образования как услуги — манипуляция гражданами на основе опривыченных и узаконенных рыночных идей [16. С. 139].

Проблема общественных результатов образования в контексте его институциональных функций требует обсуждения для выработки концепций общественно значимых результатов каждой функции и научно-методического обеспечения эмпирического измерения таких результатов. Скажем, в российской социологии образования не поставлен вопрос, обеспечивает ли система образования достаточную солидарность граждан? Способствует ли социальной интеграции, преодолению негативных стереотипов в отношении «других»? Если способствует, то за счет чего? Если не способствует, то с какими организационными, содержательными, структурными и технологическими свойствами связана такая дисфункция?

В социально-практическом плане проблема общественной эффективности образования решается через обеспечение преемственности текущей управленческой деятельности с долгосрочными целевыми приоритетами общества и соответствующими им ориентирами национальной системы образования. Такое соответствие никогда прежде не было полным, да и сами приоритеты и цели чаще всего формулировались с идеологических (классовых) или групповых позиций, а не научного подхода. Эти приоритеты должны найти отражение в долгосрочной стратегии развития образования, которая базируется на полноценном теоретическом видении ответственности образования как института и протекающих в нем социальных процессов, а не сводится к конгломерату проектов или программ мероприятий.

Таким образом, непреодоленный теоретический вакуум в анализе общественной эффективности образования (отсутствие концепции, противоречивость принципов и стратегических ориентиров) не случаен, говорит о недостаточном развитии теорий образования и управления им, о дезинтеграции дисциплин, изучающих образование и возможности оценки его эффективности. Этот вакуум создает для отраслевого менеджмента программную и нормативную неопределенность и зависимость от бюрократии, а для бюрократической части менеджеров — лакуны для своего доминирования [14] и автономии от образования и общества. Сведение образовательной политики к набору фрагментарных проектов сочетается с невниманием к проблемам образования как института. Они усилились в постсоветское время, взаимосвязаны и охватывают сегодня все аспекты воспроизводства и функционирования образования.

К проблемам образования как института, наряду с отмеченными ранее [1; 3; 8; 11; 25; 26], в постсоветское время добавились:

- концептуальные, программные (отсутствие доктрины развития образования как ресурса развития человека как субъекта и России как научно-образовательного общества и цивилизации; приоритет бюрократических регламентов и отчетности, проектного менеджмента при игнорировании миссии и общественных результатов образования);
- правовые (нерелевантность законодательства и программных документов об образовании, его миссии, институциональных функциях; избыточная концентрация полномочий в руках федерального топ-менеджмента; законодательная необеспеченность государственно-общественного управления);
- экономические (сегментация/расслоение отрасли при поддержке ее элитарных сегментов и деградации массового образования; закрытый характер расходования ресурсов, повышающий вероятность коррупции и злоупотреблений при правовой безответственности топ-менеджмента; перекосы в финансировании отрасли по регионам и сегментам, приоритет инфраструктурных инвестиций над человеческими; многократное

неравенство оплаты за равный труд в государственных, муниципальных и коммерческих образовательных учреждениях и организациях);

- социальные, социально-психологические (снижение социального статуса, самоорганизации и участия персонала в принятии решений, разработке образовательных стандартов и кадровой политики; масштабные выгорания, пессимизм, текучесть и старение кадров);
- культурные (утрата образованием ответственности за культурную интеграцию общества и национально-культурную идентичность; навязывание бюрократической «культуры недоверия» [28]; размывание ценностного ядра профессиональной культуры, навязывание приоритета документальной отчетности над образовательными результатами);
- управленческо-технологические (усиление авторитарного бюрократического управления (менеджеризм); преобладание проектного менеджмента, уход от миссии образования, научного и государственно-общественного управления; усиление неравенства в доступе к качественному образованию; навязывание «сверху» стандартов, содержания, организации образования; бумажный прессинг как системная управленческая технология, бумажный геноцид персонала) [24].

Эти проблемы не могут быть исследованы и решены вне концепции общественной эффективности образования. Назрел отказ от фрагментарных оценок эффективности — отчетов о реализации бюджетных ассигнований и проектов. Даже при их полной успешной реализации и росте результатов ЕГЭ, в масштабе страны возобладали имитации, снизился авторитет знания и образования, их качество и социальная доступность, не выполняется миссия образования как хранителя ядра культуры, растет социальная дезинтеграция, подрывающая способность России к мобилизации для преодоления кризисов и конфликтов.

Информацию о финансировании

Исследование проведено при поддержке РФФ и СПбНФ. Проект № 23-28-10010

Примечания

- (1) Сторонники этой трактовки, продолжая ее публичное отстаивание, не называют свою позицию неolibеральной. Точкой невозврата стало поручение Президента Правительству 27 сентября 2021 года «обеспечить... рассмотрение вопросов об исключении из законодательства об образовании понятия “образовательная услуга”» // URL: <https://www.gazeta.ru/social/2021/09/27/14027503.shtml>.
- (2) См., напр.: Глобальная социология образования: зарубежный опыт решения социальных проблем в сфере образования / Под ред. А.М. Осипова. Великий Новгород: НовГУ, 2015. С. 217–252.
- (3) См., напр.: *Капелюшников Р.И.* Отдача от образования в России: ниже некуда? Препринт WP3/2021/03. НИУ ВШЭ, 2021.
- (4) Директор СВР РФ С.Е. Нарышкин: Запад практикует «шулерство при рейтинговании ведущих университетов мира» для переманивания талантов из других стран // URL: https://lenta.ru/news/2023/09/10/obrazovanie/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Библиографический список

1. *Бабинцев В.П.* и др. Вузовская бюрократия в России — terra incognita социологии образования // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2022. Т. 22. № 4.
2. *Бухарина Н.П.* Коррупция в образовательных организациях: понятие и признаки // Актуальные проблемы российского права. 2016. № 12.
3. *Вольчик В.В., Маслюкова Е.В.* Реформы, неявное знание и институциональные ловушки в сфере образования и науки // Terra Economicus. 2019. № 2.
4. Глобальная социология образования / Под ред. В.А. Ивановой, А.М. Осипова. Великий Новгород, 2012.
5. *Донских О.А.* Нашему образованию нужен косметический ремонт или полная реконструкция? // ЭКО. 2023. № 5.
6. Зарубежная социология образования / Под ред. А.М. Осипова. Великий Новгород, 2014.
7. *Зборовский Г.Е.* Уроки неудавшейся модернизации // Социальная стратегия российской системы образования. СПб., 2011.
8. Информация в управлении образованием: теоретические проблемы / Под ред. А.М. Осипова, П.А. Бояджиевой. СПб., 2019.
9. *Колесников Л.Ф., Турченко В.Н., Борисова Л.Г.* Эффективность образования. М., 1991.
10. *Курбатова М.В.* Управление по результатам в российском образовании: проблемы нормативного регулирования // ЭКО. 2023. № 3.
11. *Монахова Д.И., Кулагина О.В.* Коррупция в образовательных организациях и методы борьбы с ней // Социально-экономическое развитие регионов в цифровую эру. Биробиджан, 2019.
12. *Нечаев В.Я.* Социология образования. М., 1992.
13. *Осипов А.М.* К теории образовательной политики // Социологические исследования. 2022. № 2.
14. *Осипов А.М.* Приоритеты изучения образования в свете проблемы бюропатологий // Вестник Института социологии. 2023. № 2.
15. *Осипов А.* Рыночные механизмы — социальный тупик российского образования // Высшее образование в России. 2019. № 5.
16. *Осипов А.М.* «Троянские кони» неолиберализма в образовании // Социологические исследования. 2017. № 8.
17. *Петрунева Р.М., Васильева В.Д.* Болонский тупик... что дальше? // Alma Mater. 2022. № 11.
18. *Пруэль Н.А.* Образование как общественное благо: воспроизводство, распределение и потребление. СПб., 2001.
19. *Романов Е.В., Романова Е.В.* Методология оценки эффективности деятельности вузов: путь «в никуда»? // Современная модель управления: проблемы и перспективы / Под общ. ред. Н.В. Кузнецовой. М., 2020.
20. *Руткевич М.Н., Рубина Л.Я.* Общественные потребности, система образования, молодежь. М., 1988.
21. *Сорокина Н.Д.* Образование в современном мире (социологический анализ). М., 2004.
22. Социология образования / Под ред. А.М. Осипова. М., 2023.
23. *Тхагапсоев Х.Г.* На путях в миражи? (К современным стратегиям развития образования в России) // Высшее образование в России. 2012. № 7.
24. Школа в бумажной пучине: кризис информационных потоков в образовании / Под ред. А.М. Осипова. Великий Новгород, 2020.
25. *Яковлева Н.Г.* Российское образование: глобальные и национальные вызовы формированию человеческого потенциала // Уровень жизни населения регионов России. 2023. № 1.
26. *Яковлева Н.Г.* Роль образования в прогрессе человека и общества // Вестник Московского университета. Серия 7: Философия. 2020. № 5.

27. *Amsler S., Bolsmann Ch.* University ranking as social exclusion // *British Journal of Sociology of Education*. 2012. Vol. 33. No. 2.
28. *Codd J.* Educational reform, accountability and the culture of distrust // *New Zealand Journal of Educational Studies*. 1999. Vol. 34. No. 1.
29. *Collins R.* Functional and conflict theories of educational stratification // *American Sociological Review*. 1971. Vol. 36.
30. *Crissien-Borrero T.-J. et al.* Measuring the quality of management in education // *El Profesional de la Información*. 2019. Vol. 28. No. 6.

DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-4-888-900

EDN: CFHNRS

What is the social efficiency of education in Russia?*

A.M. Osipov¹, B. Naran²

¹Hertzen Russian State Pedagogical University,
Moika River Emb., 48, Saint Petersburg, 191186, Russia

²National University of Mongolia,
WWF9+6H6, Ulaanbaatar, 14200, Mongolia

(e-mail: osipov.al58@gmail.com; n.boldmaa@num.edu.mn)

Abstract. The article emphasizes the importance of assessing the social efficiency of education as an issue of sociology of education and a theoretical prerequisite for overcoming systemic bureaupathologies and ensuring scientific management of education in the interests of the Russian society. Social efficiency can be defined through the concept of mission (institutional functions) — as a ratio of socially significant results to public costs of education. The interpretation of the social efficiency of education as an object of social sciences presupposes: the central role of sociology in solving this scientific-practical problem; taking into account the entire spectrum, content and features of the institutional functions of education (impact on all spheres of society; delay of some results in time; irreducibility to a market service, pedocentric and “competence-based” schemes, etc.); interdisciplinary cooperation to conceptualize societal costs and outcomes. In the state education policy, the absence of the concept “social efficiency of education” in the Russian legislation creates an ideological and normative space for sectoral bureaucracy and systemic bureaupathologies, i.e., the social efficiency of education as a multi-component quality of macro-management is replaced by the primitive and profitable bureaucratic management. Such management ignores the social responsibility of education and divides it into short projects in which actions of bureaucrats correspond to neoliberal market “modernizations” and pedocentric “reforms”, contributing to the stagnation and crisis of the education system, the waste of public resources and the country’s lag in the global competition. The article considers the methodological features of the analysis of the identified problem’s components — public costs and social results — through the institutional functions of education and proposes a general logical scheme of such functions and expected results. The authors believe that the analysis of the

*© A.M. Osipov, B. Naran, 2023

The article was submitted on 25.06.2023. The article was accepted on 26.09.2023.

social efficiency of education would ensure the development of this scientific-practical area in Russia, taking into account global scientific trends and the priorities of the Russian society, education and social-humanitarian knowledge.

Key words: institutional functions of education; public costs; public results; social efficiency of education; assessment methodology; state education policy

References

1. Babintsev V.P. et al. Vuzovskaya byurokratiya v Rossii — terra incognita sotsiologii obrazovaniya [University bureaucracy in Russia — terra incognita of sociology of education]. *RUDN Journal of Sociology*. 2022; 22 (4). (In Russ.).
2. Bukharina N.P. Korruptsiya v obrazovatelnykh organizatsiyah: ponyatie i priznaki [Corruption in educational organizations: Concept and indicators]. *Aktualnye Problemy Rossiyskogo Prava*. 2016; 12. (In Russ.).
3. Volchik V.V., Maslyukova E.V. Reformy, neyavnoe znanie i institutsionalnye lovushki v sfere obrazovaniya i nauki [Reforms, tacit knowledge and institutional traps in the field of education and science]. *Terra Economicus*. 2019; 2. (In Russ.).
4. *Globalnaya sotsiologiya obrazovaniya* [Global Sociology of Education]. Pod red. V.A. Ivanovoy, A.M. Osipova. Veliky Novgorod; 2012. (In Russ.).
5. Donskih O.A. Nashemu obrazovaniyu nuzhen kosmetichesky remont ili polnaya rekonstruktsiya? [Does our education need a redecoration or a complete reconstruction?]. *ECO*. 2023; 5. (In Russ.).
6. *Zarubezhnaya sotsiologiya obrazovaniya* [Foreign Sociology of Education]. Pod red. A.M. Osipova. Veliky Novgorod; 2014. (In Russ.).
7. Zborovsky G.E. Uroki neudavsheysya modernizatsii [Lessons from the failed modernization]. *Sotsialnaya strategiya rossiyskoy sistemy obrazovaniya*. Saint Petersburg; 2011. (In Russ.).
8. *Informatsiya v upravlenii obrazovaniem: teoreticheskie problem* [Information in Educational Management: Theoretical Issues]. Pod red. A.M. Osipova, P.A. Boyadzhievoy. Saint Petersburg; 2019. (In Russ.).
9. Kolesnikov L.F., Turchenko V.N., Borisova L.G. *Effektivnost obrazovaniya* [Effectiveness of Education]. Moscow; 1991. (In Russ.).
10. Kurbatova M.V. Upravlenie po rezul'tatam v rossiyskom obrazovanii: problemy normativnogo regulirovaniya [Result-based management in Russian education: Issues of normative regulation]. *ECO*. 2023; 3. (In Russ.).
11. Monakhova D.I., Kulagina O.V. Korruptsiya v obrazovatelnykh organizatsiyah i metody borby s ney [Corruption in educational organizations and methods of combating it]. *Sotsialno-ekonomicheskoe razvitiye regionov v tsifrovuyu eru*. Birobidzhan; 2019. (In Russ.).
12. Nechaev V.Ya. *Sotsiologiya obrazovaniya* [Sociology of Education]. Moscow; 1992. (In Russ.).
13. Osipov A.M. K teorii obrazovatelnoy politiki [On theory of educational policy]. *Sotsiologicheskie Issledovaniya*. 2022; 2. (In Russ.).
14. Osipov A.M. Prioritety izucheniya obrazovaniya v svete problemy byuropatologii [Priorities for studying education through bureaupathology issues]. *Vestnik Instituta Sotsiologii*. 2023; 2. (In Russ.).
15. Osipov A. Rynochnye mekhanizmy — sotsialny tupik rossiyskogo obrazovaniya [Market mechanisms — a social dead end for Russian education]. *Vysshee Obrazovanie v Rossii*. 2019; 5. (In Russ.).
16. Osipov A.M. “Troyanskije koni” neoliberalizma v obrazovanii [“Trojan horses” of neoliberalism in education]. *Sotsiologicheskie Issledovaniya*. 2017; 8. (In Russ.).
17. Petruneva R.M., Vasilieva V.D. Bolonsky tupik... chto dalshe? [Bologna dead end... what is next?]. *Alma Mater*. 2022; 11. (In Russ.).
18. Pruel N.A. *Obrazovanie kak obshchestvennoe blago: vosproizvodstvo, raspredelenie i potreblenie* [Education as a Public Good: Reproduction, Distribution and Consumption]. Saint Petersburg; 2001. (In Russ.).

19. Romanov E.V., Romanova E.V. Metodologiya otsenki effektivnosti deyatelnosti vuzov: put "v nikuda"? [Methodology for assessing the effectiveness of universities: A path to nowhere?]. *Sovremennaya model upravleniya: problemy i perspektivy*. Pod obshch. red. N.V. Kuznetsovoy. Moscow; 2020. (In Russ.).
20. Rutkevich M.N., Rubina L.Ya. Obshchestvennye potrebnosti, sistema obrazovaniya, molodezh [Social Needs, Education System, Youth]. Moscow; 1988. (In Russ.).
21. Sorokina N.D. *Obrazovanie v sovremenom mire (sotsiologichesky analiz)* [Education in Contemporary World (Sociological Analysis)]. Moscow; 2004. (In Russ.).
22. *Sotsiologiya obrazovaniya* [Sociology of Education]. Pod red. A.M. Osipova. Moscow; 2023. (In Russ.).
23. Tkhagapsoev Kh.G. Na putyah v mirazhi? (K sovremennym strategiyam razvitiya obrazovaniya v Rossii) [On the way to mirages? (On contemporary strategies for the development of education in Russia)]. *Vyshee Obrazovaniye v Rossii*. 2012; 7. (In Russ.).
24. *Shkola v bumazhnoy puchine: krizis informatsionnyh potokov v obrazovanii* [School in Paper Abyss: Crisis of Information Flows in Education]. Pod red. A.M. Osipova. Veliky Novgorod; 2020. (In Russ.).
25. Yakovleva N.G. Rossiyskoe obrazovanie: globalnye i natsionalnye vyzovy formirovaniyu chelovecheskogo potentsiala [Russian education: Global and national challenges to the formation of human potential]. *Uroven Zhizni Naseleniya Regionov Rossii*. 2023; 1. (In Russ.).
26. Yakovleva N.G. Rol obrazovaniya v progresse cheloveka i obshchestva [The role of education in the progress of humanity and society]. *Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya 7: Filosofiya*. 2020; 5. (In Russ.).
27. Amsler S., Bolsmann Ch. University ranking as social exclusion. *British Journal of Sociology of Education*. 2012; 33 (2).
28. Codd J. Educational reform, accountability and the culture of distrust. *New Zealand Journal of Educational Studies*. 1999; 34 (1).
29. Collins R. Functional and conflict theories of educational stratification. *American Sociological Review*. 1971; 36.
30. Crissien-Borrero T.-J. et al. Measuring the quality of management in education. *El Profesional de la Información*. 2019; 28 (6).



DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-4-901-915

EDN: BZUIVR

Нравственные основы деятельности муниципальных служащих*

В.С. Мухаметжанова

Российский университет дружбы народов,
ул. Миклухо-Маклая, 6, Москва, Россия, 117198

(e-mail: mukhametzhanova-vs@rudn.ru)

Аннотация. Статья посвящена анализу современного состояния муниципальной службы как особого вида профессиональной служебной деятельности с особым этическим комплексом. Повышенный интерес к развитию местного самоуправления в России обусловлен новым этапом реформирования муниципальной службы — социально-правового института местного самоуправления и одного из важнейших в современном обществе вида профессиональной служебной деятельности. Эффективность органов местного самоуправления напрямую зависит от уровня вовлеченности населения — с одной стороны — и высокого уровня нравственного осознания своей деятельности корпусом муниципальных служащих — с другой. Профессиональная этика, отличаясь своим прикладным характером, выполняет важную задачу — конкретизирует общие этические регуляторы практической деятельности применительно к определенной профессии. Этические принципы муниципальной службы как регулятор деятельности чиновников поддерживает эффективность управленческой деятельности, способствуя росту ее результативности. Высокие требования профессиональной этики касаются всех работников, их выполнение и осознание — основное условие профессионализма. В современном обществе профессионализм, наряду с соответствующими знаниями, умениями и навыками, формируют ценностно-нормативные, этические приоритеты личности, позволяющие ей выбирать оптимальные форматы выполнения своих профессиональных обязанностей. На основе анализа ряда законодательных документов и этического кодекса в статье рассмотрены критерии профессионализма и компетентности муниципального служащего, призванные повысить эффективность выполнения им должностных обязанностей. Знание и соблюдение положений Кодекса — один из критериев оценки качества профессиональной деятельности и служебного поведения. Профессиональная культура тесно связана с профессиональной этикой, поэтому развитие профессиональной культуры помогает работнику стать профессионалом своего дела. Формирование профессиональной культуры муниципальных служащих обеспечивается, с одной стороны, установленными законодательными требованиями к служебному поведению, с другой стороны, субъективным восприятием служащими определенных знаний, способностей, ценностей и норм этического кодекса поведения.

Ключевые слова: профессионализм; профессиональная этика; муниципальная служба; реформа местного самоуправления; профессиональная культура; этические принципы; этический кодекс

*© Мухаметжанова В.С., 2023

Статья поступила 11.04.2023 г. Статья принята к публикации 26.09.2023 г.

На протяжении последних десятилетий возрастают требования общества к содержанию, качеству и функционированию единой системы государственного аппарата, и интерес российского общества к нравственному содержанию профессиональной деятельности не случаен. Высокие требования к квалификации, профессиональным и личностным особенностям государственных и муниципальных служащих определяют создание действенной системы управления, закладывая тем самым основания российской государственности и гражданского общества. Повышение эффективности и качества системы управления, поэтапное социально-экономическое реформирование органов местного самоуправления подтвердили зависимость социальной стабильности от состояния механизмов управления и качества кадрового потенциала всех уровней власти.

Интерес к развитию местного самоуправления обусловлен также проводящейся муниципальной реформой, призванной конкретизировать положения конституционной реформы 2020 года, и работой Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) над новым федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Так, 23 апреля 2023 года состоялось заседание Совета при Президенте по развитию местного самоуправления, в ходе которого обсуждались ключевые вопросы кадрового потенциала муниципальной службы, задачи пространственного развития муниципальных образований и особенности работы местного самоуправления в единой системе публичной власти. В.В. Путин обратил особое внимание на повышение качества жизни граждан и совершенствование механизмов взаимодействия населения с органами местного самоуправления [9; 10]. ВАРМСУ была учреждена в мае 2019 года как национальная ассоциация развития местного самоуправления и переименована во всероссийскую в декабре 2019 года. В настоящее время в ее состав входят 85 региональных ассоциаций — советы муниципальных образований субъектов Российской Федерации. Ассоциация оказывает методическую и правовую помощь региональным советам, занимается просветительской деятельностью. В 2023 году ВАРМСУ запустила масштабный проект — марафон «Муниципальный диалог», направленный на сбор и анализ успешных практик и проблемных вопросов в муниципальной повестке. Одной из ключевых задач проекта — выработка универсальных решений для повышения эффективности муниципальных образований [16].

Специфика профессиональной деятельности муниципальных служащих

Местное самоуправление — уровень власти и особая форма ее осуществления, которая предполагает иные принципы организации и взаимодействия, нежели те, что характеризуют государственную систему управления. Конституция определяет органы местного самоуправления как особый

вид публичной власти, созданный для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории и не входящий в систему государственных органов. В соответствии с Федеральным законом № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», местное самоуправление — характеристика муниципальных образований, которые не всегда совпадают с границами административно-территориальных делений, т.е. субъекты Российской Федерации могут самостоятельно определять территориальные единицы (муниципальные образования), в которых будет осуществляться местное самоуправление. Таким образом, территориальные основы местного самоуправления как института муниципального права — это совокупность муниципально-правовых норм, закрепляющих и регулирующих территориальную организацию местного самоуправления: состав и границы территории, порядок их установления и изменения [23]. Органы местного самоуправления не входят в систему государственной власти, но установление и изменение порядка образования, объединения, преобразования или упразднения муниципальных образований относится к компетенции органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Накопленный практический опыт в сфере организации местной власти позволяет системно совершенствовать правовые основы местного самоуправления, в том числе путем принятия концептуально нового федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», сохраняя преемственность с действующими федеральными законами. Разработка законопроекта направлена, прежде всего, на реализацию положений Конституции о единой системе публичной власти, обеспечение эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с органами государственной власти в интересах населения и совершенствования организации местного самоуправления в целом [10; 25].

Значимость нравственного аспекта управленческой деятельности актуализирует проблему особой профессиональной этики муниципальной службы — как фундамента служебной культуры должностных лиц, систематизирующего этические принципы, нормы, запреты и правила служебного поведения муниципальных служащих, выступающих посредниками в отношениях между государством и его гражданами. Правовым основанием для распространения на муниципальных служащих утвержденных законодательством принципов, норм, запретов и правил служебного поведения выступает Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25–ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». Муниципальная служба институциональна, выступает организационным механизмом осуществления социально-экономических преобразований в системе местного самоуправления. Постоянные поправки и изменения в законодательстве о местном самоуправлении свидетельствуют о незавершенной институционализации муниципальной службы,

поэтому, например, работа федеральных проектных команд в рамках марафона «Муниципальный диалог» нацелена на выработку универсальных решений в интересах повышения эффективности деятельности муниципальных образований [16].

28 апреля 2023 года в Финансовом университете при Правительстве состоялась всероссийская научно-практическая конференция «Местное самоуправление: шаг вперед или откат назад?» — для *обмена мнениями и разрешения противоречий во взаимодействия органов государственного и местного самоуправления в практике развития территорий на примере города федерального значения Москва*. Одной из обсуждаемых тем стало проектное управление в деятельности муниципальных образований, поскольку вопрос гражданского участия в осуществлении местного самоуправления весьма актуален. Развитие эффективных механизмов влияния населения на ситуацию в муниципальных образованиях и на действия местных властей в рамках проектного подхода — перспективное направление совершенствования местного самоуправления. В ходе круглого стола были обсуждены особенности реализации национальных проектов на муниципальном уровне, проблемы инфраструктурных проектов в условиях глобальных вызовов, совершенствование системы государственно-административного управления и ее структурных элементов [28].

Как социальный институт муниципальная служба представляет собой исторически сложившуюся, устойчивую форму организации совместной деятельности лиц, находящихся на службе в органах местного самоуправления. Муниципальная служба начала формироваться в России после принятия Конституции в 1993 году, т.е. «сверху», через установление формальных законодательных норм — это одна из главных причин трудностей ее институционального становления и закрепления. Согласно институциональной теории Д. Норта [17], социальный институт — своеобразный «узел» проявления активности общества, т.е. институты — это формальные и неформальные «правила игры» или ограничители взаимодействия между людьми. Под социальным институтом понимаются «относительно устойчивые типы и формы социальной практики, посредством которых организуется общественная жизнь, обеспечивается устойчивость связей и отношений в рамках социальной организации общества». Соответственно, институционализация — это «процесс, когда некая общественная потребность начинает осознаваться как общесоциальная, а не частная, и для ее реализации в обществе устанавливаются особые нормы поведения, готовятся кадры, выделяются ресурсы» [5. С. 51]. Роль институтов, по Нортону, — установление устойчивой (пусть не всегда эффективной и неизменной) структуры социальных взаимодействий. Современное общество отличается высокой степенью институционализации благодаря, в первую очередь, институционализированным взаимодействиям, которые обеспечивают удовлетворение самых важ-

ных потребностей общества и индивида. Социальные институты составляют ткань общества: расположенные как бы на поверхности общественной жизни, они, благодаря своей организационной форме, доступны для наблюдения и управления.

Местное самоуправление как социальный институт — это организованная система связей, функций и социальных норм, включающая в себя: совокупность формальных правил, отраженных в законах и других общеобязательных актах, которые регулируют отношения в сфере местного самоуправления; организации, действующие в сфере науки и практики местного самоуправления (властные структуры, научные учреждения, ассоциации, фонды и т.д.); общественно-гражданские структуры, через которые гражданин реализует свои свободы и конституционное право на самостоятельное решение местных проблем индивидуально или в рамках местного сообщества; систему ценностей, традиций, установок, статусов, ролей, неписаных правил поведения в рамках функционирования системы местного самоуправления.

Профессиональная культура муниципальной службы

Муниципальная служба — это профессиональная деятельность по обеспечению исполнения полномочий органов местного самоуправления, и она обретает все большую профессионализацию благодаря своему развитию и как определенного вида управленческой деятельности, и как социального института, из чего следует становление соответствующей социально-профессиональной группы — муниципальных служащих: профессиональная деятельность может эффективно регламентироваться только группой, достаточно близкой к профессии, чтобы чувствовать все ее потребности и иметь возможность следить за ее изменениями [8. С. 9]. Профессионализация деятельности муниципальных служащих предполагает, с одной стороны, комплекс гибких социальных технологий по управлению общественными процессами, с другой — постоянное усложнение содержания труда муниципального служащего, появление новых профессиональных требований и специальностей, возрастание степени сложности объективированных форм труда — должностей, рабочих мест. Формирование социально-профессиональной компетентности как совокупной интегральной личностной характеристики человека, получившего квалификацию и отличающегося профессионализмом, нацелено на становление особой культуры профессиональной деятельности.

Феномен культуры может оказывать непосредственное, часто непредсказуемое влияние на результат управленческих решений, достижение промежуточных и конечных целей. В этой связи уровень профессиональной культуры — интегрированный фактор эффективности муниципальной службы. Иными словами, под профессиональной культурой в широком смысле следует понимать специфические, характерные для данной организации образцы поведения, системы ценностей и регулятивных норм. Кроме

того, профессиональную культуру можно рассматривать как: стиль управления производственным и технологическим процессом (производственная культура); способ интеграции трудового коллектива, объединенного в процессе производственной деятельности (культура управления); инструмент создания имиджа в обществе (культура имиджа); средство оценки реальных достижений и потенциальных возможностей коллектива (деловая культура) [6; 11. С. 70–72].

В структуре профессиональной культуры можно выделить три уровня [12. С. 29]: поверхностный (феномены, которые можно увидеть, услышать или почувствовать при вхождении в новую группу с незнакомой культурой, например, наблюдаемое поведение работников и формальное языковое общение); внутренний (восприятие ценностей и норм носит сознательный характер и зависит от желания людей) — на этом уровне изучаются инструментальные ценности и нормы, разделяемые членами организации, в соответствии с тем, насколько эти ценности отражаются в символах и языке; глубинный (базовые ценности, лежащие в основе убеждений большинства членов коллектива и определяющие его профессиональный уровень, манеру поведения его членов, морально-психологический климат в целом). Таким образом, ядро профессиональной культуры составляют ценности, трансформированные в определенное мировоззрение, образ мышления, стиль поведения и манеру общения. основополагающие ценности, которые разделяются членами организации, могут быть абсолютно разными, в том числе они зависят от того, что лежит в ее основе — интересы организации в целом или ее членов [3].

Как культура в целом опирается на общепризнанные ценности и общепринятые нормы поведения, так и профессиональная культура формируется на основе признанных ценностей и принятых норм поведения представителей определенной профессии. Профессиональная культура задает некоторую систему координат, позволяет согласовать индивидуальные цели с общей целью деятельности, формируя общее культурное пространство, включающее ценности, нормы и поведенческие модели, разделяемые всеми профессионалами. В этом смысле профессиональная культура — симбиоз материальной и духовной жизни представителей определенной профессии: с одной стороны, это комплекс доминирующих в ней норм и ценностей и принятый на их основе кодекс поведения; с другой стороны — культурное пространство, основанное на определенной идеологии и представленное в виде традиций, мифов и легенд, языка и системы коммуникаций. Соответственно, профессиональная культура муниципального служащего может быть представлена как культура носителя конкретных знаний, традиций и норм деятельности.

Местное самоуправление — самая близкая к населению форма власти, однако даже Европейская хартия местного самоуправления не отделя-

ет его от системы государственной власти и ее институтов [21. С. 16–18]. Особый статус муниципальных образований, в котором сочетаются властные полномочия и право ведения хозяйственной деятельности, предоставляет органам местного самоуправления возможности для эффективного использования местного потенциала и уверенного социально-экономического развития локальной территории. С точки зрения управления местными процессами децентрализованная власть значительно эффективнее централизованной, поскольку объект управления максимально приближен к его субъекту [7. С. 9–12]. В то же время институты местного управления во многом интегрировались в государственный управленческий механизм и претерпели серьезные изменения, все больше включаясь в единый общеправленческий механизм. Соответственно, работу муниципального служащего следует в первую очередь рассматривать как обычную управленческую деятельность чиновника в области местного самоуправления [20. С. 48–50].

С точки зрения интегративно-культурологического подхода содержание понятия «социально-профессиональная компетентность управленца» позволяет рассматривать ее как показатель культуроориентированности субъекта [1]. Социально-профессиональная компетентность управленца, будучи личностным, формируемым на практике качеством, проявляется в адекватном решении профессиональных задач в разнообразных ситуациях, в поведении и социально осмысленных поступках. Целевая детерминация в социально-профессиональной компетентности исходит из необходимости соответствовать современной модели специалиста, достичь максимального уровня профессионализма и идеалов нравственности в решении профессиональных задач.

Социальная составляющая профессиональной компетентности предполагает следующие способности управленца: «возделывать» в себе человеческое через философские практики; заботиться о себе через обучение и интеграцию знаний, поскольку социальный престиж может быть основан на образованности; «выстраивать» свое поведение, соизмеряя его с выдающимися образцами русской классической бюрократической культуры; руководствоваться служебным долгом, осуществляя властные полномочия объективно и беспристрастно, осознавая значимость действий, направленных на достижение социального благоденствия; осознавать последствия принимаемых решений; признавать право каждого на собственные взгляды и ценности, порой отличные от культурных ценностей представляемой субъектом организационной культуры; подчиняться централизованному контролю и дисциплине — «осознание управленцем своего высокого статуса не только совместно с его готовностью подчиняться вышестоящим, но и исполняет функцию компенсации, позволяя ему сохранить самоуважение» [26. С. 37]. В результа-

те единство профессионального и личностного позволяет управленцу ориентироваться на выполнение социально значимых и полезных дел как профессионалу, «нравственно дисциплинированному и самоотверженному», понимающему личную ответственность за сохранение социального порядка, за последствия совершаемых действий и принятых решений. Профессиональные знания, будучи применены на практике, наполняются ценностными смыслами, становятся внутренним убеждением, частью оценочных и понятийных категорий, установок и поведенческих паттернов.

Итак, социально-профессиональная компетентность управленца предполагает формирование в человеке субъектности — качеств, которые в совокупности с деятельностью позволяют выстраивать траекторию личностно-профессионального развития, самоопределяться, самопроектироваться и самоорганизовываться. Социально-профессиональная компетентность обеспечивает специалисту возможность приобретать, анализировать и распространять свой опыт, совершенствовать и интегрировать знания, превращая их в целесообразно оформленные действия, корректировать публичную деятельность с учетом интересов всех взаимодействующих сторон. Развитая социально-профессиональная компетентность — признак сформированной личности, носителя образцов культуры профессиональной деятельности, эффективно осуществляющего управление. Можно выделить два аспекта в повышении профессионализма муниципальных служащих: личностный — структура целеполаганий и мотивация, наличие необходимых знаний и опыта; организационно-деятельностный аспект — функционирование организации, в которой трудится субъект. Повышение профессионализма — задача не только управленца, но и организации, поэтому в профессиональном развитии муниципальных служащих необходимо «использовать практику служебной деятельности, сложную систему взаимодействия должностных структур иерархического подчинения, межличностных отношений, технологий оценки (аттестации, открытые конкурсы, квалификационные экзамены и др.) и служебного движения» [19. С. 93].

Основные принципы профессиональной этики муниципальной службы

Профессиональная этика как регулятор деятельности корпуса чиновников поддерживает эффективность управленческой деятельности, способствует ее результативности, что позволяет отеснить на второй план мотивацию через принуждение. Этика муниципальной службы характеризует поступки и поведение служащего с точки зрения их оценки, регуляции и последствий, что не позволяет «укрыться» за служебными инструкциями, поэтому сегодня все больше внимания уделяется этиче-

ским стандартам и нормам поведения управленческого персонала. Так, Департамент государственной службы Минздравсоцразвития еще в декабре 2010 года утвердил «Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных и муниципальных служащих» — «свод общих принципов профессиональной служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми надлежит руководствоваться государственным служащим Российской Федерации и муниципальным служащим, независимо от замещаемой должности». Кодекс был призван повысить эффективность выполнения служащими должностных обязанностей, причем знание и соблюдение положений Кодекса — один из критериев оценки качества профессиональной деятельности и служебного поведения [18; 24; 27].

Этические нормы предписывают муниципальному служащему определенный стиль поведения: будучи наделен организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим, он должен быть для них образцом профессионализма и безупречной репутации; способствовать формированию в органе местного самоуправления благоприятного для эффективной работы морально-психологического климата; принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов; принимать меры по предупреждению коррупции и т.п. В служебном поведении муниципальный служащий должен воздерживаться от любых высказываний и действий дискриминационного характера, грубости, пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, неправомерных, незаслуженных обвинений, угроз, оскорбительных выражений, реплик и действий, препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение и т.д.

Кодекс содержит рекомендации (внешний вид муниципального служащего должен способствовать уважительному отношению граждан к органам местного самоуправления и соответствовать общепринятому деловому стилю — официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность) и запреты (не использовать служебное положение для оказания влияния на должностных лиц, муниципальных служащих и граждан при решении вопросов личного характера; воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности государственного органа или органа местного самоуправления, если это не входит в должностные обязанности; не допускать нарушений законов и иных нормативных актов, исходя из политической, экономической или иной целесообразности).

Профессиональная этика муниципальной службы как система этических норм и принципов их применения в управлении выполняет важную функцию: даже самые оптимальные правовые нормы, регламентирующие трудовые отношения, могут утратить эффективность в коллективе недобро-

совестных работников, поэтому важно, чтобы правовые нормы дополнялись моральными. Принципы профессиональной этики распространяются на те сферы служебной деятельности, которые не могут быть урегулированы правом (оно в принципе не может помешать проявлению таких негативных качеств, как высокомерие, угодничество, грубость, равнодушие и пр.) [13; 14]. Нормы уголовного права предусматривают суровую ответственность за получение взятки, а моральные нормы осуждают всякое стяжательство с использованием служебного положения.

Особенность профессиональной этики муниципальной службы в том, что она имеет черты формализованного состояния — речь идет об обучении моральным принципам. Более того, современный высокий уровень осведомленности общественности об управлении требует от муниципальной службы соблюдения этического кодекса, и это требование становится обязательным для системы управления. Сложность оценки этики муниципальной службы состоит в том, что она включает в себя не только поддающиеся рациональной оценке нормы профессионального поведения и стиля деятельности, но и групповые стереотипы и мифы, носящие иррациональный характер (воля к власти, способность творчески мыслить и т.д.).

Сущностные характеристики профессиональной этики муниципальной службы могут быть рассмотрены на трех уровнях: общенациональном — публично-правовые институты и носители специфической корпоративной культуры; на уровне государственных и органов местного самоуправления — их стиль работы нормируется совокупностью устойчивых ценностей и правовых норм, накопленных традиций, прошлого опыта и современных задач; на уровне личности служащего — совокупность профессиональных качеств, убеждений, знаний и навыков, определенный репертуар управленческих технологий. Развитое корпоративного сознания (следование принципам профессиональной этики) — условие успешной работы органов власти, направленной на добросовестное и эффективное исполнение служащими должностных обязанностей [4. С. 14; 15]. Важнейший этический принцип муниципального служащего — принцип законности, верховенства Конституции и федеральных законов над прочими нормативными актами и должностными инструкциями [2]. В деятельности служащего часто возникает нравственная проблема — как быть, получив незаконное распоряжение вышестоящего руководителя? Принцип законности соблюдается не всегда: причиной может быть социальная незащищенность служащего, его зависимость от начальства, низкий уровень правовой культуры, неустойчивость личностных ценностей, «гибкая» совесть.

Таким образом, в соответствии с Типовым кодексом этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муници-

пальных служащих, в основе профессиональной деятельности современного муниципального служащего должны лежать принципы:

- гуманизма (уважение к человеку, вера в него, признание суверенитета и достоинства личности);
- беспристрастности и независимости (служение интересам государства и общества в ситуации морального выбора);
- ответственности (любая власть отвечает за негативные последствия принимаемых решений, неисполнение должностных обязанностей, действия, нарушающие права и законные интересы граждан);
- справедливости (действенная защита прав граждан, законное использование властных полномочий, удовлетворение социальных ожиданий общества — любая несправедливость чиновника дискредитирует не только его, но и власть в целом).

Неуклонное соблюдение государственными и муниципальными служащими принципов законности, гуманности, беспристрастности, ответственности и справедливости свидетельствует о нравственном «здоровье» государства, поэтому они образуют основу этики муниципальной службы, обеспечивая ее целостность и эффективность. Для повышения эффективности деятельности местного самоуправления необходима прочная кадровая основа аппарата муниципальных служащих и комплексный подход к ее обеспечению (актуализация образовательных программ и стандартов по направлениям подготовки в сфере государственного и муниципального управления; качественная переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих и т.д.). Корпус муниципальных служащих должен отличаться не только высоким уровнем профессионализма, компетентностью и обширным кругозором в своей профессиональной деятельности, но и преданностью избранному делу и обязательным соблюдением этических норм.

Библиографический список

1. Андреева И.В., Спивак В.А. Организационное поведение. М., 2008.
2. Бахитановский В.И., Согомонов Ю.В. Профессиональная этика: социологические курсы // Социологические исследования. 2005. № 8.
3. Банных Г.А., Зайцева Е.В., Костина С.Н. Социально-профессиональные характеристики муниципальных служащих в структуре их профессиональной идентичности: результаты социологического исследования // Муниципалитет: экономика и управление. 2017. № 3.
4. Бойков В.Э. Профессиональная культура и этика государственных служащих // Социология власти. 1997. № 4–5.
5. Волков Ю.Г., Мостовая И.В. Социология. М., 1998.
6. Гребенникова А.А., Масляков В.В., Осипова И.Н. Некоторые аспекты формирования профессиональной культуры государственных и муниципальных служащих // Журнал прикладных исследований. 2022. № 3.
7. Децентрализация государственной власти и местное самоуправление. Проблемы реализации / Под ред. А. Мацнева, Ю. Харбих. М., 2007.

8. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. М., 1990.
9. Заседание Совета при Президенте по развитию местного самоуправления от 23.04.2023 // URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/70959>.
10. Заседание экспертного «круглого стола» в Совете Федерации РФ от 20.01.2022, посвященный обсуждению проекта нового федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» // URL: <http://council.gov.ru/events/news/132832>.
11. Игнатов В.Г., Белолуцкий В.К. Профессиональная культура и профессионализм государственной службы: контекст истории и современность. М., 2000.
12. Кантерев, А.И. Информатизация социокультурного пространства. М., 2004.
13. Кодекс служебного поведения должностных лиц: быть или не быть? Отчет о работе «круглого стола» // Чиновник. 2003. № 3.
14. Кожевникова К.С. Правовые вопросы профессиональной этики государственных и муниципальных служащих // Молодой ученый. 2022. № 41.
15. Комлева В.В. Профессиональная этика государственных служащих в условиях реформы государственной службы // Социология власти. 2004. № 1.
16. Марафон «Муниципальный диалог». Инициативное развитие местного самоуправления // URL: <https://муниципальныйдиалог.рф>.
17. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М., 1997.
18. Нуисков Е.В. Профессиональная этика государственного гражданского и муниципального служащего // Актуальные исследования. 2021. № 22.
19. Омаров А.М. Профессиональное развитие персонала государственной службы // Государственная кадровая политика: концептуальные основы, приоритеты, технологии реализации. М., 1966.
20. Основы управления. Государственное и муниципальное управление. Антикризисное управление. Управление персоналом / Под ред. А.В. Сурина. М., 2008.
21. Пешин Н.Л. Государственная власть и местное самоуправление в России. Проблемы развития конституционно-правовой модели. М., 2007.
22. Мухаметжанова В.С. Профессиональная этика как фактор эффективности деятельности муниципальных служащих: социологический аспект оценки: на примере г. Москвы: Дисс. к.с.н. М., 2011.
23. Тимофеев Н.С. Территориальные пределы местного самоуправления в Российской Федерации. М., 2007.
24. Тихомиров Ю.А., Талатино Э.В. О кодификации и кодексах // Журнал российского права. 2003. № 3.
25. Чихладзе Л.Т., Комлев Е.Ю. Проблемы и перспективы развития местного самоуправления в Российской Федерации и зарубежных странах // Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. 2022. № 4.
26. Шипунов В.Г. Основы управленческой деятельности. М., 2007.
27. Ямщиков С.В., Ивлева А.С. Кодекс профессиональной этики государственных служащих как средство противодействия коррупции в современной России // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2020. № 2.
28. III Всероссийская научно-практическая конференция «Местное самоуправление: шаг вперед или откат назад?». 28.04.2023 // URL: <https://samupr.mosveo.ru/news/msu-vektory-segodnyashnego-dnya>.
29. Dobel P. Public management as ethics // Oxford Handbook of Public Management / Ed. by E. Ferlie, L.E. Lynn Jr., Ch. Pollitt. Oxford University Press, 2007.
30. Graeber D. The Utopia of Rules: On Technology, Stupidity, and the Secret Joys of Bureaucracy. Brooklyn–London, 2015.
31. Trotsuk I.V., Ivlev E.A. Few words on the high level of social distrust among the Russian youth: Civil servants' social image // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2016. № 2.

Moral foundations of the municipal employees work*

V.S. Mukhametzhanova

RUDN University,
Miklukho-Maklaya St., 6, Moscow, 117198, Russia

(e-mail: mukhametzhanova-vs@rudn.ru)

Abstract. The article considers the current state of municipal service as a special type of professional activity with a specific ethical complex. The increased interest in the development of local self-government in Russia is determined by a new stage in the reform of municipal service as a social-legal institution and one of the most important types of professional activity in the contemporary society. The efficiency of local self-government directly depends on the level of the local population involvement, on the one hand, and on the municipal employees' moral awareness of their activities, on the other. Professional ethics, due to its applied nature, performs an important task — specifies the general ethical principles of practical activity in relation to a particular profession. Ethical complex of municipal service as a regulator of the officials' work ensures the efficiency of management activities, contributing to its increase. High requirements of professional ethics are mandatory for all employees; their fulfillment is the main condition for professionalism. In the contemporary society, professionalism, together with the corresponding knowledge, skills and abilities, forms the value-normative, ethical priorities of the individual, allowing to choose optimal formats for fulfilling one's professional duties. Based on the analysis of legislative documents and the code of ethics, the article examines the criteria of professionalism and competence of the municipal employee, which are to increase the efficiency of their professional activities. Knowledge and compliance with the provisions of the Code is one of the criteria for assessing the quality of professional activity and official behavior. Professional culture is closely related to professional ethics; therefore, the development of professional culture helps to become a professional. The development of professional culture of municipal employees is ensured, on the one hand, by the legislative requirements; on the other hand, by the subjective perception of certain knowledge, abilities, values and norms of the code of ethics.

Key words: professionalism; professional ethics; municipal service; local self-government reform; professional culture; ethical principles; code of ethics

References

1. Andreeva I.V., Spivak V.A. *Organizatsionnoe povedenie* [Organizational Behavior]. Moscow; 2008. (In Russ).
2. Bakshtanovsky V.I., Sogomonov Yu.V. Professionalnaya etika: sotsiologicheskie rakursy [Professional ethics: Sociological perspectives]. *Sotsiologicheskie Issledovaniya*. 2005; 8. (In Russ).
3. Bannykh G.A., Zajtseva E.V., Kostina S.N. Sotsialno-professionalnye kharakteristiki munitsipalnykh sluzhashchik v strukture ih professionalnoj identichnosti: rezultaty sotsiologicheskogo issledovaniya [Social-professional characteristics of the municipal employee in the structure of professional identity: Results of the sociological study]. *Munitsipalitet: Ekonomika i Upravlenie*. 2017; 3. (In Russ).

*© V.S. Mukhametzhanova, 2023

The article was submitted on 11.04.2023. The article was accepted on 26.09.2023.

4. Bojkov V.E. Professionalnaya kultura i etika gosudarstvennykh sluzhashchih [Professional culture and ethics of civil servants]. *Sotsiologiya Vlasti*. 1997; 4–5. (In Russ).
5. Volkov Yu.G., Mostovaya I.V. *Sociology*. Moscow; 1998. (In Russ).
6. Grebennikova A.A., Maslyakov V.V., Osipova I.N. Nekotorye aspekty formirovaniya professionalnoj kultury gosudarstvennykh i munitsipalnykh sluzhashchih [Some aspects of the formation of the professional culture of civil servants and municipal employees]. *Zhurnal Prikladnykh Issledovaniy*. 2022; 3. (In Russ).
7. *Detsentralizatsiya gosudarstvennoj vlasti i mestnoe samoupravlenie. Problemy realizatsii* [Decentralization of the State Power and Local Self-Government. Problems of Implementation]. Pod red. A. Matszneva, Yu. Kharbih. Moscow; 2007. (In Russ).
8. Durkheim E. *O razdelenii obshchestvennogo truda* [The Division of Labor in Society]. Moscow; 1990. (In Russ).
9. Zasedanie Soveta pri Prezidente po razvitiyu mestnogo samoupravleniya ot 23.04.2023 [Meeting of the Presidential Council for the Development of Local Self-Government on April 23, 2023]. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/70959>. (In Russ).
10. Zasedanie ekspertnogo “kruglogo stola” v Sovete Federatsii RF ot 20.01.2022, posvyashchenny obsuzhdeniyu proekta novogo federalnogo zakona “Ob obshchih printsipah organizatsii mestnogo samoupravleniya v edinoj sisteme publichnoj vlasti” [Expert “round table” meeting in the Federation Council of the Russian Federation on January 20, 2022, to discuss the draft federal law “On the general principles of organizing local self-government in a unified system of public authority”]. URL: <http://council.gov.ru/events/news/132832>. (In Russ).
11. Ignatov V.G., Belolipetsky V.K. *Professionalnaya kultura i professionalizm gosudarstvennoj sluzhby: kontekst istorii i sovremennost* [Professional Culture and Professionalism of Civil Service: History and the Present]. Moscow; 2000. (In Russ).
12. Kapterev A.I. *Informatizatsiya sotsiokulturnogo prostranstva* [Informatization of Social-Cultural Space]. Moscow; 2004. (In Russ).
13. Kodeks sluzhebного povedeniya dolzhnostnykh lits: byt ili ne byt? Otchet o rabote “kruglogo stola” [Codes of official conduct for officials: To be or not to be? Report on the work of the “round table”]. *Chinovnik*. 2003; 3. (In Russ).
14. Kozhevnikova K.S. Pravovye voprosy professionalnoj etiki gosudarstvennykh i munitsipalnykh sluzhashchih [Legal issues of the professional ethics of civil servants and municipal employees]. *Molodoj Ucheny*. 2022; 41. (In Russ).
15. Komleva V.V. Professionalnaya etika gosudarstvennykh sluzhashchih v usloviyah reformy gosudarstvennoj sluzhby [Professional ethics of the civil servant under the civil service reform]. *Sotsiologiya Vlasti*. 2004; 1. (In Russ).
16. Marafon “Munitsipalny dialog”. Initsiativnoe razvitie mestnogo samoupravleniya [Marathon “Municipal dialogue”. Initiative development of local self-government]. URL: <https://municipal.nyjdialog.rf>. (In Russ).
17. North D. *Instituty, institutsionalnye izmeneniya i funktsionirovanie ekonomiki* [Institutions, Institutional Change and Economic Performance]. Moscow; 1997. (In Russ).
18. Nuisikov E.V. Professionalnaya etika gosudarstvennogo grazhdanskogo i munitsipalnogo sluzhashchego [Professional ethics of the state civil servants and municipal employees]. *Aktualnye Issledovaniya*. 2021; 22. (In Russ).
19. Omarov A.M. Professionalnoe razvitie personala gosudarstvennoj sluzhby [Professional development of the civil servant personality]. *Gosudarstvennaya kadrovaya politika: kontseptualnye osnovy, priority, tekhnologii realitscii*. Moscow; 1966. (In Russ).
20. *Osnovy upravleniya. Gosudarstvennoe i munitsipalnoe upravlenie. Antikrizisnoe upravlenie. Upravlenie personalom* [Fundamentals of Management. State and Municipal Administration. Crisis Management. Personnel Management]. Pod red. A.V. Surina. Moscow; 2008. (In Russ).
21. Peshin N.L. *Gosudarstvennaya vlast i mestnoe samoupravlenie v Rossii. Problemy razvitiya konstitutsionno-pravovoj modeli* [State Power and Local Self-Government in Russia. Development of the Constitutional-Legal Model]. Moscow; 2007. (In Russ).

22. Mukhametzhanova V.S. Professionalnaya etika kak faktor effektivnosti deyatelnosti munitsipalnyh sluzhashchih: sotsiologicheskyy aspekt otsenki: na primere g. Moskvy [Professional Ethics as a Factor of the Municipal Employees Efficiency: A sociological Aspect of Assessment on the Example of the City of Moscow]: Dis. k.s.n. Moscow; 2011. (In Russ).
23. Timofeev N.S. *Territorialnye predely mestnogo samoupravleniya v Rossijskoj Federatsii* [Territorial Limits of Local Self-Government in the Russian Federation]. Moscow; 2007. (In Russ).
24. Tikhomirov Yu.A., Talapino E.V. O kodifikatsii i kodeksah [On codification and codes]. *Zhurnal Rossijskogo Prava*. 2003; 3. (In Russ).
25. Chikhladze L.T., Komlev E.Yu. Problemy i perspektivy razvitiya mestnogo samoupravleniya v Rossijskoj Federatsii i zarubezhnyh stranax [Problems and prospects for the development of local self-government in the Russian Federation and other countries]. *RUDN Journal of Law*. 2022; 4. (In Russ).
26. Shipunov V.G. *Osnovy upravlencheskoj deyatelnosti* [Fundamentals of Management]. Moscow; 2007. (In Russ).
27. Yamshchikov S.V., Ivleva A.S. Kodeks professionalnoj etiki gosudarstvennyh sluzhashchih kak sredstvo protivodejstviya korruptsii v sovremennoj Rossii [Codes of professional ethics for civil servants as a means of combating corruption in contemporary Russia]. *Gumanitarnye, Sotsialno-Ekonomicheskie i Obshhestvennye Nauki*. 2020; 2. (In Russ).
28. III Vserossijskaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya “Mestnoe samoupravlenie: shag vpered ili otkat nazad?” [III All-Russian scientific-practical conference “Local self-government: A step forward or backward?”]. 28.04.2023. URL: <https://samupr.mosveo.ru/news/msu-vektory-segodnyashnego-dnya>. (In Russ).
29. Dobel P. Public management as ethics. *Oxford Handbook of Public Management*. Ed. by E. Ferlie, L.E. Lynn Jr., Ch. Pollitt. Oxford University Press; 2007.
30. Graeber D. *The Utopia of Rules: On Technology, Stupidity, and the Secret Joys of Bureaucracy*. Brooklyn–London; 2015.
31. Trotsuk I.V., Ivlev E.A. Few words on the high level of social distrust among the Russian youth: Civil servants’ social image. *RUDN Journal of Sociology*. 2016; 2.



РЕЦЕНЗИИ

REVIEWS

DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-4-916-923

EDN: ENSEJN

Выбор стратегии созидания будущего*

А.Н. Данилов

Белорусский государственный университет,
ул. Кальварийская, 9, Минск, 220004, Беларусь

(e-mail: a.danilov@tut.by)

Аннотация. Статья представляет собой рецензию на книгу П.А. Водопьянова «На переломе эпох: выбор стратегии созидания будущего» (Минск: «Беларуская навука», 2023. 469 с.). Монография имеет большое теоретическое и практическое значение, намечая новые горизонты стратегии достаточного развития в созидании будущего. В книге отмечено, что встраивание человека в природное окружение, подчинение его законам природы, поиск путей преодоления новых вызовов и рисков, обусловленных негативными последствиями достижений науки и техники, задают новые направления коэволюционной стратегии достаточного развития посредством чрезвычайных и непопулярных мер: регулирование численности населения; снижение индустриального давления на биосферу за счет внедрения природоподобных технологий; экономное использование природных ресурсов, их замена искусственными; повышение производительности ресурсов благодаря новым технологиям; использование альтернативных источников энергии вместо углеводородного топлива; изменение вектора социально-экономического развития на основе его согласования с законами природы; формирование ответственности нового типа и нового гуманизма; переход к эпохе «нового Просвещения» — с экологическим сознанием и мышлением. В работе раскрыты основные факторы поддержания устойчивости природных экосистем и биосферы в целом, объясняющие необходимость использования законов биосферной организации для выбора стратегии безопасного будущего. Намечены ключевые направления созидания будущего на основе биоантропоцентризма как главного условия сохранения биосферы — важнейшего фактора выживания человечества. Выявлены основные типы экологических кризисов и обозначены меры по их преодолению с учетом содержания природных и социальных катастроф. Особое внимание уделено главным факторам жизнедеятельности человека в условиях глобальной нестабильности и необходимости формирования соответствующих мировоззренческих универсалий.

Ключевые слова: П.А. Водопьянов; созидание будущего; стратегия достаточного развития; стабилизирующий отбор; социальная экология; устойчивость; коэволюция; образование

*© Данилов А.Н., 2023

Статья поступила 11.08.2023 г. Статья принята к публикации 16.10.2023 г.

Читая новую книгу известного белорусского ученого, члена-корреспондента Национальной академии наук Беларуси Павла Александровича Водопьянова «На переломе эпох: выбор стратегии созидания будущего», ощущаешь искреннее стремление автора помочь людям осознать глобальные проблемы человечества, задуматься о личной ответственности за будущее планеты, сделать практические шаги по недопущению глобальной экологической катастрофы. Автор задается вопросом «Есть ли силы у человечества, чтобы найти адекватные ответы на новые вызовы времени?». И, отвечая на этот вопрос утвердительно, предлагает свою стратегию достаточного развития.

Но вначале несколько слов об авторе. Судьба П.А. Водопьянова очень не проста, особенно учитывая, что основной предмет его исследований — будущее человечества, и его работы по экологии и эволюционной биологии имеют широкий резонанс и признание. Неизгладимый след в биографии ученого оставила учеба на философском факультете Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова, где в 1960-е — начале 1970-х годов блистали выдающиеся знатоки эволюционной теории, биологи и генетики, многие из которых пострадали в годы лысенковщины. На формирование научных взглядов Водопьянова повлиял его учитель, выдающийся эволюционист К.М. Завадский, который привил ему интерес к творчеству ученых всего мирового сообщества — Дж. Хаксли, Э. Майра, Ф.Г. Добжанского, А.А. Пономарева, К.Х. Уоддингтона, Н.И. Вавилова, С.С. Четверикова, Н.В. Тимофеева-Рессовского, И.И. Шмальгаузена и др. Дипломная работа Водопьянова была посвящена творчеству одного из создателей современной синтетической эволюции Шмальгаузена (подвергшегося обструкции Т.Д. Лысенко): он впервые обосновал теорию стабилизирующего отбора, положив начало изучению устойчивости биологических систем и биосферы в целом. Благодаря идеям Шмальгаузена Водопьянов еще в 1974 году опубликовал монографию «Устойчивость и динамика биосферы» — о механизмах поддержания устойчивости биологических систем, что имеет особое значение для теоретической биологии.

Проблемы, которые Водопьянов поднимает в своих работах, необыкновенно актуальны — по большому счету это стратегия бытия человека, безмерный мир человеческих отношений, судеб и надежд, особенно в периоды, когда природные катаклизмы, глобальные катастрофы и кризисы наступают, и кажется, что они вот-вот поглотят нашу планету. Работы ученого помогают найти берег надежды, служат безмолвным напоминанием о пределах роста, об исчерпаемости ресурсов нашей планеты. Его слова, пронизанные искренним желанием помочь людям не погибнуть, не потеряться в пучине веков, словно вещий колокол, призывают ко всем живущим — задуматься о личной ответственности за будущее планеты, предпринять усилия по упреждению

глобальной экологической катастрофы. Таков главный лейтмотив научных исследований Водопьянова и его новой книги.

Тридцать лет назад широкий общественный резонанс вызвала его монография «Великий день гнева. Экология и эсхатология» (1993). За прошедшие годы планета Земля чище не стала: усложнилась демографическая ситуация, возросло загрязнение окружающей среды, произошли крупнейшие природные и социальные катастрофы (аварии на Чернобыльской АЭС, японской АЭС Фукусима–1), войны и конфликты, террористические акты и другие кризисные события, может быть, менее известные, но не менее опасные для всего живого на Земле. Современная цивилизация столкнулась с новыми глобальными вызовами, такими как пандемия covid-19, угрожающими ее будущему. Не меньшую тревогу вызывает и проблема нравственного разложения, свидетельство чему — распространение наркомании и алкоголизма, употребление психотропных веществ, ведущих к биологической деградации человека. Извечные ценности — доброта, справедливость, порядочность, взаимопомощь — все чаще уступают место насилию, злобе и ненависти.

Новая книга Водопьянова — квинтэссенция его неустанных исследований устойчивости биосферы как фундаментальной теоретической и прикладной проблемы, в которой сконцентрированы важнейшие мировоззренческие и методологические аспекты современной науки, уточняющие и углубляющие научную картину мира. Книга обобщает более чем полувековой опыт изучения глобальных проблем современности, представляющих угрозу ближайшему будущему человечества, и существенно расширяет горизонт поиска решений этих проблем. В свое время вышли монографии Водопьянова «Устойчивость в развитии живой природы» (Минск, 1974), «Устойчивость и динамика биосферы» (Минск, 1981), «Динамика биосферы и социокультурные традиции» (Минск, 1987, в соавторстве), «Великий день гнева: экология и эсхатология» (Минск, 1993, в соавторстве), «Стратегия бытия человечества: от апокалиптики к ноосферному веку» (Минск, 2018, в соавторстве) и др. В них раскрыты механизмы поддержания устойчивости биосферы: биологическое разнообразие, дублирующие и страхующие механизмы, преобладание процессов синтеза над деструкцией, стабилизирующий отбор на уровне филогенеза и др., что позволило обосновать основные законы эволюции биосферы, принципиально важные для разработки стратегии выживания человечества. Водопьянов открыто говорил и об отрицательных сторонах научно-технического прогресса, обосновывая необходимость новых ценностных ориентаций во взаимодействии общества и природы и изменения сложившегося потребительского вектора развития на основе анализа концептуального содержания стратегии устойчивого развития и разработки оптимальной экологической политики.

Структурно книга состоит из предисловия, двух разделов, восьми глав и заключения. В первом разделе «Сохранение биосферы как важнейший фак-

тор выживания человечества» представлен краткий обзор развития проблемы устойчивости, раскрыты специфика и факторы поддержания устойчивости сложных динамических систем на уровне биосферы, рассмотрено единство устойчивости и изменчивости в процессе эволюции, проанализирована статика и динамика биосферы, проблемы социально-экологического содержания человеческой деятельности. Во втором разделе «Цивилизация на пути регулирования социоприродных отношений и созидания будущего» приведена концепция глобального эволюционизма как новый образ динамического бытия, рассмотрены основные причины глобального антропологического и экологического кризиса, угрозы будущему человечества в условиях глобальной нестабильности, представлены ключевые факторы жизнедеятельности общества и человека и авторская концепция стратегии безопасного будущего на пути приближения ноосферного века. Вместо заключения автор намечает пути использования законов биосферы в целях созидания будущего.

Краткий исторический анализ проблемы устойчивости показывает, что «выявление устойчивости в непрерывно изменяющемся мире всегда стояло в центре внимания создателей самых разнообразных концепций» (С. 35). Для поддержания равновесия в популяции «особое значение имеет стабилизирующая форма отбора, направленная на сохранение тех генотипов, которые ведут к образованию фенотипов, наиболее полно соответствующих внешним условиям, преобладающим в данное время. Если в течение длительного времени условия жизни существенно не изменяются, то популяция способна достичь высокого уровня приспособленности» (С. 148). «Выявление роли стабилизирующего отбора как важнейшего фактора поддержания равновесного состояния природных экосистем имеет значение для разработки конкретных мероприятий по сохранению среды обитания и определению основных направлений человеческой деятельности в области экологической политики» (С. 149).

Как верно отмечает Водопьянов, «в эпоху научно-технической революции качественно изменяется характер воздействия общества на природу. Увеличение числа индустриальных центров, интенсивная добыча полезных ископаемых и древесины, распашка пригодных для земледелия угодий, высокий уровень загрязнения газами и твердыми частицами воздуха, естественных водоемов — таков далеко не полный перечень факторов, существенно изменяющий окружающую среду» (С. 227). К тому же первая четверть XXI века характеризуется глобальной нестабильностью, новыми вызовами и угрозами. «Успешно проходившее с помощью науки и техники в течение нескольких столетий преобразование и “покорение” природы, как известно, привело к современному экологическому кризису, который ставит под вопрос будущее человечества, ибо произведенные во внешней природе изменения несовместимы с биологической природой человека» [2. С. 270]. В этих чрезвычайных условиях кристаллизуются точки роста новой цивилизации,

чей главный вызов — новое видение роли природной среды в жизни человечества. Стремление освободиться от природной зависимости посредством достижений научно-технического прогресса и игнорирование законов эволюции биосферы обусловили высокий уровень жизни в странах Запада, что повлекло ухудшение качества окружающей среды.

Сегодня формируется новое видение природной среды — она начинает рассматриваться «не как конгломерат изолированных объектов и даже не как механическая система, но как целостный живой организм, изменение которого может проходить лишь в определенных границах. Нарушение этих границ приводит к изменению системы, ее переходу в качественно иное состояние, способное вызвать необратимое разрушение целостности системы» [4. С. 485]. К сожалению, как констатирует Водопьянов, «сложившийся потребительский вектор развития, ориентированный всецело на получение прибыли... привел в современных условиях к разрушению природных территорий, к утрате их качественных параметров, что представляет непосредственную угрозу здоровью и жизнедеятельности людей» (С. 269). Дальнейшая судьба цивилизации зависит от «выбора стратегии будущего... либо следовать по уже проторенному пути наращивания материального богатства за счет интенсивного экономического роста, ведущего к разрушению и деградации окружающей среды, либо избрать принципиально иной путь — согласования социально-экономического развития с законами биосферы» (С. 279).

Анализ положения дел в развитых странах показывает, что предпочтение во многих случаях отдается сохранению и достижению высокого уровня потребления. Подтверждение тому — грозные очертания глобального экологического кризиса, проявляющегося в нарастании загрязнения окружающей среды, разрушении озонового слоя, многочисленных пожарах, наводнениях, ураганах и других опасных симптомах, затронувших большинство стран мира. В этих условиях «удовлетворение потребностей общества и поддержание оптимальных соотношений между ним и природой — основная задача охраны природы» (С. 231): необходимо повсеместное утверждение коэволюционной стратегии взаимодействия общества и природы — это одна из ключевых задач современной экологической политики.

Ее решение Водопьянов видит не только в преодолении социально-экономических, экологических и геополитических проблем, но и в радикальном изменении сознания людей, их мировоззрения и нравственных ценностей. Иными словами, для преодоления кризисных явлений в жизни общества необходимо, в первую очередь, разрешить тот духовный кризис, что породил глобальные проблемы, обострившиеся в последние годы. «Экологический и антропологический кризисы, растущие процессы отчуждения, изобретение все новых средств массового уничтожения, грозящих гибелью человечеству, — это побочные продукты техногенного развития. И поэтому сегодня стоит вопрос: можно ли выйти из этих кризисов, не меняя базисной системы

ценностей техногенной культуры?» [1. С. 65]. В.С. Степин полагает, что «эта система ценностей должна трансформироваться... придется изменить наше отношение к природе, выработать иное понимание целей человеческой деятельности, чем то, которое представлено фундаментальными мировоззренческими установками техногенной культуры. Не исключено, что человечеству предстоит духовная революция, сопоставимая с той, которая была в эпоху Возрождения и Реформации» [3. С. 735].

Водопьянов показывает, что приближение биосферного века призвано изменить антропоцентристскую ориентацию в использовании природных ресурсов: сугубо количественная ориентация на экономические показатели привела к тому, что объемы потребления природных ресурсов уже превысили допустимые нормы и во многих случаях влекут разрушение и деградацию окружающей среды. Разумное самоограничение, самодостаточность, сохранение пригодной для обитания среды — наиболее характерные черты экологического мышления, основанного на осознании взаимосвязанности и взаимозависимости процессов в биосфере.

Утверждение экологического мышления тесно связано со становлением нового гуманизма, ориентированного на формирование мировоззрения и образа жизни, которые утверждают приоритетную ценность человека по отношению к самому себе и другим людям, а также осознание ценности всех живых существ и относительную ценность/равноправие по отношению к другим людям, обществу и природе. «Новый гуманизм означает не только установление истинно человеческих отношений между людьми, но и уважение и заботу о сохранении всех форм жизни» (С. 392). Здесь велика роль образования, но «господствующая до сих пор парадигма образования покоится на антропоцентристской ориентации, в основе которой лежит противопоставление человека природе, отношение к ней как к кладовой ресурсов... Кризис образования, наблюдаемый сегодня во многих странах, обусловлен известным консерватизмом образовательных систем, ориентированных всецело на прагматизм и практицизм» (С. 393). Преодоление этих негативных явлений возможно «на пути кардинального изменения мировоззренческих ориентиров, формирования новых ценностных установок во взаимодействии общества и природы и перехода цивилизации на путь эколого-безопасного развития» (С. 394).

В стратегии коэволюции, ориентированной на будущее, содержится установка на изменение всех сфер жизнедеятельности людей. «Новая модель образования предполагает формирование объективного миропонимания, изучение реального состояния окружающей среды, знание законов эволюции биосферы, на основе которых возможно разумное удовлетворение человеческих потребностей и определение основных направлений достижения будущего» (С. 456). Кроме того, «образование нового типа предполагает усвоение знаний о культурном наследии мировых ценностей, понимание причин кри-

зисных явлений в различных сферах жизнедеятельности людей, необходимость выработки биосферного мышления, направленного на формирование бережного отношения к природе, осознание важности использования системного подхода к изучению мировых процессов» (С. 457).

Важную роль в достижении безопасного будущего играет внедрение в сферу промышленного производства природоподобных технологий (нано-, био-, информационных, когнитивных и социальных), способных существенно повысить производительность ресурсов и ориентированных на предотвращение индустриального давления на биосферу. Аддитивные технологии направлены на отбор нововведений и инноваций, которые послужат основой промышленного развития на ближайшие десятилетия.

Построение будущего основано на осмыслении позитивных достижений прошлого, преодолении негативных явлений человеческой деятельности и выявлении нравственных ориентиров, определяемых самой природой. Ценностно-духовные ориентации — основание социально-экономического развития страны и всего мирового сообщества. Современное информационное общество оказывает огромное влияние на основы человеческой нравственности, духовный мир человека. Констатация необходимости новых ценностных ориентаций, учитывающих требования законов биосферы и определяющих возможность становления новой цивилизации, становится неизбежным условием сохранения жизни на Земле. В условиях глобальной нестабильности кристаллизуются точки роста новой цивилизации, где главный вызов — новое видение роли природной среды в жизни человечества. Выдвигая и обосновывая свою стратегию достаточного развития, Водопьянов утверждает, что будущее человечества зависит от того, сможет ли разум преодолеть пропасть между технологической мощью и культурной эволюцией и справиться с существующими опасностями.

Рецензируемая книга логически выстроена, учитывает многовековые изменения и новые данные, анализирует большой массив научной литературы, точно очерчивает круг рассматриваемых вопросов — сохранение биосферы, проблема устойчивости развития, регулирование социоприродных отношений, вызовы и угрозы будущему человечества, основные факторы жизнедеятельности человека, стратегия безопасного будущего на пути к ноосферному веку. Обозначенные проблемы представлены в мониторинговом режиме — к сожалению, они усугубляются и требуют все новых усилий со стороны всех и каждого по спасению планеты и всего живого, на ней обитающего. Монография написана ярким, образным языком, каждый тезис хорошо аргументирован и практически выверен. Книга хорошо иллюстрирована и рассчитана на широкий круг читателей: научных работников, преподавателей, аспирантов и всех, кто интересуется вопросами прогнозирования путей дальнейшего развития человеческой цивилизации.

Библиографический список

1. Данилов А.Н. Программирующая роль культуры в теории социальной эволюции // Социологические исследования. 2023. № 2.
2. Лекторский В.А. Человек и культура. Избранные статьи. СПб., 2018.
3. Степин В.С. Человек. Деятельность. Культура. СПб., 2019.
4. Степин В.С. Теоретическое знание: структура, история эволюции. Минск, 2021.

DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-4-916-923

EDN: ENSEJN

In search of a strategy for creating the future*

A.N. Danilov

Belarusian State University,
Kalvarijskaya St., 9, Minsk, 220004, Belarus

(e-mail: a.danilov@tut.by)

Abstract. The article is a review of the book by P.A. Vodopyanov *At the Turning Point of the Epochs: In Search of a Strategy for Creating the Future* (Minsk: Belorussian Science; 2023. 469 p.). The monograph is of great theoretical and practical significance and outlines new horizons for the future sufficient development. The author argues that the humans' embedment in nature and subordination to the laws of nature, the search for ways to overcome new challenges and risks caused by the negative consequences of scientific and technological achievements determine the new main directions of the coevolutionary strategy for sufficient development, which are associated with the extraordinary and unpopular measures: demographic regulation; reduction of industrial pressure on the biosphere through the introduction of nature-like technologies; economical use of natural resources and their replacement with artificial ones; increasing resource productivity through the introduction of new technologies; the use of alternative energy sources instead of hydrocarbon fuels; the changing vector of the social-economic development based on the laws of nature; a new type of morality and a new humanism; transition to the era of 'new Enlightenment' based on the ecological consciousness and thinking. The book identifies the main factors of maintaining the stability of natural ecosystems and the biosphere, which explain the need to use the laws of the biosphere organization to choose a strategy for a secure future. The author presents the key directions for ensuring the future based on bio-anthropocentrism as the main condition for preserving the biosphere and focuses on the main factors of human life under global instability and the need in appropriate ideological universals.

Key words: P.A. Vodopyanov; creation of the future; strategy of sufficient development; stabilizing selection; social ecology; sustainability; coevolution; education

*© A.N. Danilov, 2023

The article was submitted on 11.08.2023. The article was accepted on 16.10.2023.



DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-4-924-931

EDN: FDBWCF

Человек против смерти: идентичность, язык, технологии*

М.В. Субботина

Российский университет дружбы народов,
ул. Миклухо-Маклая, 6, Москва, 117198, Россия

(e-mail: subbotina-mv@rudn.ru)

Аннотация. Статья представляет собой рецензию на книгу Д. Дугласа «Смерть, ритуал и вера. Риторика погребальных обрядов» (М.: Новое литературное обозрение, 2022. 480 с.). Автор отмечает рост интереса общества к проблеме смерти и предпринимает попытку систематизировать ключевые для современности аспекты данного феномена: от погребальных обрядов в различных культурах до околосмертных переживаний и теорий горя. В рецензии акцент сделан на двух центральных идеях книги: как слова и ритуалы влияют на преодоление смерти и как феномен смерти сказывается на идентичности человека. В рецензии обозначены как сильные стороны книги, так и те ее аспекты, что требуют дальнейшего изучения, в частности, это влияние технологий на восприятие обществом смерти (современные междисциплинарные исследования под общим названием «digital death studies»).

Ключевые слова: смерть; ритуал; язык; идентичность; digital death studies

В последние годы смерть стала более важным предметом междисциплинарных исследований, интересую представителей самых разных дисциплин: биологов, медиков, философов, психологов, социологов и многих других, что не удивительно, учитывая, какую роль смерть играет в нашей жизни (как бы иронично это ни звучало). Научное сообщество стало свободнее рассуждать о смерти: проводятся междисциплинарные исследования («death studies»), издаются научные журналы, организуются конференции, открываются специальные центры по изучению данного феномена [3]. Однако говорить, что он достаточно изучен (хотя бы в своем социальном измерении), пока преждевременно. Этические аспекты нередко становятся непреодолимыми барьерами для изучения смерти, и особенно остро это ощущают представители социологической науки: люди далеко не всегда готовы обсуждать эту табуированную тему даже со своими близкими, не говоря уже об участии в социологических интервью. Вероятно, со временем данная проблема утра-

*© Субботина М.В., 2023

Статья поступила 15.03.2023 г. Статья принята к публикации 16.10.2023 г.

тит свою остроту (что следует из растущей потребности общества в «осознании смерти»), но пока говорить об этом рано.

Д. Дуглас начинает книгу с утверждения, что с момента публикации первого издания (в 1997 году) интерес к смерти существенно возрос, что обусловлено постепенным осознанием рисков повседневной жизни и глобальных угроз (эпидемии, терроризм, природные катаклизмы и т.д.). Кроме того, постмодернистский контекст — когда время и пространство концентрируются в непосредственной «близости-осознанности» — заставляет воспринимать риски как нечто локальное и близкое (С. 4), и мир уже не кажется защищенным. Помимо этого сегодня мы имеем огромное количество источников информации о смерти: с одной стороны, археологи и историки описывают обряды смерти в разных культурах, социологи и антропологи рассуждают о современных практиках погребений и траурных ритуалах; с другой стороны, люди, пережившие утрату, все чаще делятся своим опытом в публичном пространстве. Все это заставляет чаще задумываться о смерти и искать способы ее преодоления (хотя бы на эмоциональном уровне).

Книга состоит из пятнадцати глав, в которых рассмотрены разные стороны феномена смерти. Однако автор отмечает, что его текст — лишь вершина айсберга, и каждый из затронутых аспектов смерти требует дальнейшего изучения. Пытаясь рассмотреть смерть во всем многообразии ее социальных, психологических и культурных проявлений (что не всегда удается, и текст кажется излишне фрагментированным), Дуглас считает центральным вопросом то, каким образом люди борются со страхом смерти и смиряются с ее неизбежностью. Если бы человек в полной мере осознавал смерть и думал о ней слишком долго (смерть все еще неразрешимая проблема), он потерял бы всякую мотивацию к жизни (С. 33). Другими словами, поиск методов борьбы со страхом смерти можно считать одной из фундаментальных задач, от решения которой зависит существование человечества.

Книга охватывает огромное количество аспектов, связанных с феноменом смерти, в чем ее несомненный плюс. Автор описывает похоронные обряды и траурные церемонии народов практически со всех частей света, поражая читателя масштабами проделанной работы. В рамках рецензии невозможно прокомментировать все находки и выводы автора, поэтому акцент будет сделан на двух его ключевых идеях: роль слов в борьбе людей со смертью и проблема соотношения смерти с идентичностью.

Для обозначения обрядов и практик, которые люди используют, чтобы приспособиться к неизбежности смерти, автор использует формулировку «слова против смерти»: язык как способ коммуникации и самовыражения — основной способ осознания и реагирования на смерть. Погребальные ритуалы — адаптивная реакция человека на смерть, а ритуальный язык и похоронная практика — важнейшая форма ответа на смерть. Аргументируя эту позицию, Дуглас рассуждает так: человек обладает самосознанием;

язык — важнейший инструмент самосознания; смерть — вызов самосознанию; соответственно, язык должен выступать в качестве ответа на этот вызов. Погребальные обряды формируют словесный ответ в связке с другими поведенческими особенностями, музыкой, движениями, локацией, мифами и историей, что позволяет человеку и обществу в целом адаптироваться к неизбежности смерти (С. 7).

Язык влияет на людей, даруя возможность структурировать мысли, направлять эмоции и создавать новые ситуации, особенно в критические моменты жизни. Когда человек имеет дело со смертью, язык особенно значим (например, выражение сочувствия, слова утешения, хвалебные речи об умершем). Автор говорит о «риторике скорби», отмечая, что в последнее время набирают популярность похороны, «посвященные жизни», когда акцент делается на том, какую жизнь прожил человек, а не на том, какой утратой для всех стала его смерть. Иногда к проведению церемоний привлекают специалистов, которые находят правильные слова для описания жизни умершего с учетом контекста мероприятия. Как правило, мертвых оценивают исходя из сформировавшейся в семье системы ценностей (С. 21). Ранее такая практика реализовывалась в основном на похоронах известных людей (спортсменов, музыкантов, политиков) или в случае трагедий, которые потрясли общество, а сегодня получила широкое распространение, что может иллюстрировать некоторый поворот в оценке смерти.

В тексте упомянуты идеи Э. Дюркгейма, который отмечал положительную функцию обрядов смерти и писал о значимости ритуалов как инструментов, что интегрируют сообщество и формируют индивидуальное чувство трансцендентного (С. 24). Отмечено, что во многих культурах присутствуют обряды инициации, которые имитируют разные этапы жизни и завершаются символической «смертью» («смерть» мальчика и «рождение» мужчины); новое «рождение» и победа над духовной смертью в обряде крещения (С. 36), т.е. человечество борется со смертью, «проживая» ее при жизни, символически освобождаясь от оков и продолжая свой земной путь.

Рассуждая о «словах против смерти», автор отмечает, что о сотнях тысяч людей, погибших в годы Второй мировой войны (хотя количество погибших исчисляется миллионами), сегодня говорят в контексте патриотической риторики, прославляя их жертву, которая позволила сохранить жизнь еще большому количеству людей. Таким образом, «слова против смерти» провозглашают важность жизни согласно общественной морали (С. 57). «Слова против смерти» используются и официальными лицами, когда необходимо высказаться о резонансной трагедии: обещания наказать виновных, предотвратить последствия, извлечь уроки и т.д. Автор полагает, что человечество обладает универсальным инструментом для преодоления кризисных ситуаций: слова

и ритуалы — естественная ответная реакция на глобальную проблему, которую никто не в состоянии решить. Использование «слов против смерти» автор трактует как ритуализацию оптимизма в словесной форме, называя ее главным достижением человечества (С. 39). Данная тема перекликается с концепцией символического интеракционизма и может стать предметом изучения социологии языка.

Дуглас рассуждает и о влиянии феномена смерти на идентичность человека. Эта проблематика оказывается многогранной: осознание и формирование идентичности в условиях понимания своей смертности; влияние боли утраты и горя на идентичность, трансформация идентичности человека при потере близкого (жена становится вдовой, ребенок — сиротой и т.д.); соотношение выбранных погребальных обрядов с идентичностью умершего и т.д. В качестве примера можно привести рассуждения автора о горе: большинство людей изначально воспринимают горе как слово, используемое в отношении других, но, когда сами сталкиваются с потерей близкого человека, слово «горе» насыщается эмоциями и трансформируется в ценность. Постепенно динамика горя становится частью личности человека, способствуя его осознанию идентичности (С. 11).

Автор отмечает, что понятие «идентичность» трудно определить, так как оно затрагивает философские и антропологические вопросы, которые связаны с самосознанием, самоопределением и групповой принадлежностью (они различаются в разных культурах). В книге термин «идентичность» используется для обозначения того, как люди воспринимают себя по отношению к другим, к миру вокруг и зачастую (так как речь идет о смерти) к сверхъестественным сферам. Идентичность — результат самосознания, встроенный в определенный язык (С. 13), и самоосознание, выраженное публично. В момент смерти меняется идентичность как умершего, так и его близких. Идентичность формируется на протяжении всей жизни под влиянием внутрисемейных отношений и подвергается трансформации в случае утраты кого-то из членов семьи. Идентичность меняется не только вследствие потери, но под влиянием новых ролей и обязанностей, которые берут на себя живые. При этом, когда горе становится воплощением эмоций от разрыва отношений в результате смерти, оно превращается в форму саморефлексии, которая подпитывается глубиной человеческой жизни (С. 15).

Автор затрагивает и тему сомнений в смерти: многие культуры придерживаются позиции, что после физической смерти незримая часть человеческой сущности продолжает «бытие». Дуглас противопоставляет эти идеи тому, какие обряды люди совершают, чтобы избавиться от дискомфорта при лицезрении разлагающегося мертвого тела (по сути, более не считается «человеком»). Он отмечает, что, помимо практических задач по утилизации тела, почти во всех обществах существует формализованный погребальный ритуал с особыми социальными и личными функциями.

ми. В некоторых культурах труп воспринимается в качестве проводника в загробный мир, поэтому неправильное обращение с ним опасно, и зачастую страх мертвых и отрицание смерти формируют традицию нанесения грима на лица и тела усопших, который имитирует внешность живого и здорового человека. Автор приводит пример индонезийских ритуалов, в ходе которых тело перед захоронением высушивается — переход из «влажного» состояния в «сухое» символизирует переход из мира живых в мир мертвых.

Таким образом, идентичность человека меняется благодаря похоронному ритуалу (С. 45). Сила погребальных ритуалов заключается и в том, что люди сталкиваются со смертью лицом к лицу и переживают ее как трансцендентность (нечто непривычное, что не вписывается в рамки их осознанности — С. 75). В случае потери идентичность человека оказывается под угрозой, потому что утрата разрывает привычную ткань жизни, меняет привычные социальные практики. Дуглас отмечает, что для человека жизненно необходимо быть частью общества, поэтому горе — биологическая реакция и естественный индикатор разрыва социальных связей (как физическая боль, когда с организмом что-то не в порядке) (С. 73).

В главе «Души и присутствие умерших» Дуглас разграничивает физическую и социальную смерть: после физической смерти человек не сразу исчезает, о нем продолжают вспоминать его близкие. После смерти человек продолжает жить в памяти других людей, являясь своего рода симулякром. В некотором смысле это напоминает идею Э. Гуссерля о соотношении естественной и феноменологической установки: естественная установка — взгляд на мир, когда человек воспринимает вещи как нечто, существующее вне его сознания, как физическую действительность, трансцендентную его сознанию; феноменологическая редукция представляет собой переход от «наивного» (естественного) восприятия мира к сосредоточению на самих переживаниях, т.е. вещественный мир «выносится за скобки», и акцент смещается на мир, который представлен исключительно в сознании человека [1].

Автор рассматривает человеческое тело как микрокосм общества: человек в ходе социализации усваивает правила, нормы и ценности, а с помощью тела транслирует свое поведение и манеру держаться, т.е. тело выступает как модель общества. Соответственно, смерть микрокосма — нечто большее, чем просто физическая смерть тела. Дуглас приводит пример: супруги, друзья и артисты являются символами брака, дружбы и славы, но, когда человек умирает, эти идеи оказываются под угрозой. Общество сталкивается с вызовом, когда одно из его воплощений в лице человека умирает. Например, в случае смерти ребенка родительство как статус ставится под сомнение, то же самое происходит с дружбой, если умирает кто-то из друзей (С. 29). Таким образом, гибель тела как микрокосма доказывает, что смерть — это

проблема, которая глубоко затрагивает социальную природу человека и тесно связана с идентичностью.

Забегая вперед (про технологии речь пойдет ниже), необходимо упомянуть современную тенденцию «оживлять» знаменитых людей на экранах. Сегодня технологии позволяют снимать фильмы с реалистичными изображениями актеров, которых уже нет в живых. И такой подход обусловлен далеко не тем, что в киноиндустрии наблюдается дефицит кадров. Дело в том, что человек является носителем определенных идей, и общество использует технологии таким образом, чтобы компенсировать утрату как самих людей, так и смыслов, которые были с ними связаны (1). Данная тенденция, если довести ее до крайности, кажется деструктивной — человек отказывается от создания чего-то нового, в том числе смыслов, подменяя новое проверенным старым.

Говоря об идентичности, автор делает еще несколько интересных замечаний. Например, что идентичность умершего иногда используется для политических целей: с одной стороны, речь может идти о сохранении останков политических лидеров, создании мавзолеев и превращении их в памятники идеологии. С другой стороны, сохранение останков правителей может привести к их осквернению в случае прихода к власти оппозиционных партий, что тоже может стать громким политическим заявлением (С. 54). В главе «Места, где умирают» Дуглас отмечает, что смерть приносит глубину в те места, где происходит, наделяя сакральным смыслом привычные локации, будь то офис или участок автомобильной магистрали (С. 226). Различные места, связанные со смертью, нагружены социальными ценностями, например, больницы — места, в которых в том числе делают аборты и проводят эвтаназию. То, что для одних людей является медицинской процедурой, другими воспринимается как преступное деяние, убийство. Так автор приходит к выводу, что смерть — источник норм и ценностей (С. 234). Приведенные примеры показывают, насколько многогранен феномен смерти и что в рамках одной книги невозможно в полной мере осветить все его аспекты (что в некоторой степени объясняет некоторую хаотичность и фрагментированность текста).

Одна из завершающих глав «Роботы, книги, фильмы и здания» повествует о культурной памяти, которая передается из поколения в поколение благодаря книгам, архитектурным сооружениям и прочим элементам искусства. Автор рассуждает о том, как музыка помогает справляться с болью утраты, как смысл и звучание музыкальных композиций позволяет человеку пережить трудные периоды и негативные эмоции, и отмечает рост популярности практики, когда люди сами выбирают музыкальные композиции, которые будут проигрываться во время их похорон. Люди склонны увековечивать себя и свои идеи в архитектурных постройках и литературе. Исходя из названия главы, складывается впечатление, что

речь в ней пойдет о влиянии современных технологий на представления о смерти, однако это не так. Единственные идеи, так или иначе связанные с технологиями, — замечания, что для нашего времени характерно широкое взаимодействие с компьютерами, онлайн-мирами и социальными сетями, включая сайты, посвященные увековечиванию памяти мертвых, а также что человекоподобные роботы вызывают у людей эмоции, схожие с теми, что вызывают другие люди, и вид сломанного/выключенного андроида запускает у человека реакцию, названную «зловещей долиной». Здесь автор не совсем корректно апеллирует к понятию: термин «“зловещая долина”» используется для того, чтобы обозначить дискомфорт и негативные эмоции, которые испытывает человек при виде человекоподобного андроида, который лишь незначительными деталями отличается от настоящих людей» [2].

Хотя последнее переиздание книги датировано 2022 годом, автор не пишет о влиянии современных технологий на феномен смерти, что несколько странно, учитывая, как активно сегодня развивается междисциплинарное направление исследований смерти в цифровую эпоху под названием «digital death studies». Его представители изучают разные аспекты трансформации восприятия смерти под влиянием современных технологий. Одна из основных тем данного направления — цифровое бессмертие («digital afterlife»): исследователи анализируют изменения в практиках скорби и ритуалах траура в связи с возникновением «виртуальных кладбищ» (как специально созданные сайты, так и профили в социальных сетях, владельцев которых уже нет в живых), рассматривают паттерны конструирования собственного образа/профиля в Интернете и социальных сетях тех людей, которые понимают и говорят о том, что после их физической смерти их аккаунт продолжит существование и будет напоминать о них живым. Иными словами, у людей появляется возможность условно повлиять на неизбежность смерти, оставив «часть себя» существовать в цифровой реальности. Вероятно, понимание этой возможности может повлиять на восприятие современным человеком феномена смерти. К сожалению, автор книги не затрагивает эти вопросы, хотя они напрямую связаны с теми, что он изучает в своей работе.

Примечание

- (1) Эволюция цифрового воскрешения актеров кино // URL: <https://design.hse.ru/news/2455>.

Библиографический список

1. Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Т. 1. М., 1999.
2. Катерный И.В. Каузальные объяснения эффекта зловещей долины в робототехнике: теории и исследовательские данные // *Качество и жизнь*. 2017. № 4.
3. Мохов С.В., Миленина Д.А. Death Studies: особенности формирования дисциплинарного поля (2010–2020) // *Журнал социологии и социальной антропологии*. 2021. Т. 24. № 2

DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-4-924-931

EDN: FDBWCF

Man against death: Identity, language, technology*

M.V. Subbotina

RUDN University,
Miklukho-Maklaya St., 6, Moscow, 117198, Russia

(e-mail: subbotina-mv@rudn.ru)

Abstract. The article is a review of the book by D. Davies *Death, Ritual, and Belief: The Rhetoric of Funerary Rites* (Moscow: NLO, 2022. 480 p.). The author notes the growing interest of society in the phenomenon of death and makes an attempt to systematize the key aspects of this phenomenon: from funeral rites in various cultures to near-death experiences and theories of grief. In the review, the emphasis is placed on two main ideas of the book: how words and rituals influence our dealing with death and how the phenomenon of death affects our identity. The review identifies both the strengths of the book and those aspects that require a further study, such as the impact of technology on society's perception of death (contemporary interdisciplinary studies called 'digital death studies').

Key words: death; ritual; language; identity; digital death studies

*© M.V. Subbotina, 2023

The article was submitted on 15.03.2023. The article was accepted on 16.10.2023.



DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-4-932-938

EDN: EJWDVN

Антиномии цифровизации и визуализации в современной массовой культуре*

А.В. Нименский, А.Д. Герасимов

Российский университет дружбы народов,
ул. Миклухо-Маклая, 6, Москва, 117198, Россия

(e-mail: 1142220897@rudn.ru; 1132210569@rudn.ru)

Аннотация. Статья представляет собой рецензию на две книги, по-разному освещающие процессы и результаты массовизации, информатизации, сетевизации и цифровизации, которые породили массу антиномичных по своей природе явлений, прежде всего благодаря переплетению позитивных и негативных последствий для социального взаимодействия. В первой книге — «Постправда или фейк: проблема истины в социальных медиа» (СПб.: Владимир Даль, 2023. 303 с.) — Н.А. Родосский рассматривает посредством «ретроспективного анализа» понятие и роль медиа в «развитии философии киберкультуры», поэтому работа представляет собой «компендиум» категорий и концептуальных подходов к изучению социальных медиа. Вторая книга — А. Брунса «Реальная ли стена фильтров?» (Пер. с англ. А. Архиповой; под науч. ред. А. Павлова. М.: Изд. дом ВШЭ, 2023. 120 с.) — сосредоточена на одном аспекте функционирования социальных медиа — «влиянии идеологически ангажированных эхо-камер и пузырей фильтров на характер публичных дискуссий», но в то же время систематизирует противоречивые оценки последствий все нарастающей цифровизации нашей повседневности.

Ключевые слова: (новые) социальные медиа; цифровизация; постправда; эхо-камеры; пузырь фильтров; коммуникация; сетевое пространство; антиномии

Рецензируемые книги принципиально важны для социологического анализа «внутренних» и «внешних» характеристик, факторов и последствий усиливающейся визуализации и цифровизации социальных медиа по ряду причин. Во-первых, они представляют два возможных формата социально-теоретического изучения социальных медиа: Н.А. Родосский стремится обозначить буквально все возможные аспекты рассматриваемой проблематики; А. Брунс, напротив, описывает лишь один. Во-вторых, если в первой книге скорее считаются имплицитные оценки последствий и масштабов новой социально-сетевой революции в нашей жизни, то во второй книге эти оценки приведены в эксплицитном виде и далеко

*© Нименский А.В., Герасимов А.Д., 2023

Статья поступила 11.08.2023 г. Статья принята к публикации 16.10.2023 г.

не всегда предсказуемы для читателя. В-третьих, если в первой книге оценочность носит скорее «объективный» характер — обозначены преимущества и проблемы все большего подчинения нашей жизни цифровой среде, то во второй книге этот аналитический ракурс дополнен и «субъективной» оценочностью — констатацией, что ученые тоже могут ошибаться в наблюдениях и интерпретациях, создавая антиутопические страшилки про наше страшное гипертехнологическое будущее.

Бряд ли имеет смысл реконструировать содержательное наполнение двух книг: каждая основывается на обширном библиографическом материале и тематически крайне насыщена, но первая — информацией почти обо всем, а вторая — о конкретном аспекте этого «почти всего». Первая книга «призвана прояснить и систематизировать проблематику истины в социальных медиа с привлечением глубокой историко-философской базы и философско-антропологической базы, включая историю развития философии киберкультуры, а также античные основания связи проблематики истины с темой медиации», что важно «именно сегодня, когда внимание государства, общества и части академии приковано к неоднозначному положению социальных сетей в наши дни» (С. 16).

Иногда читателю сложно удержаться от вопроса столь уж «продуктивным оказывается обращение к паре мыслителей-досократиков, а именно к Эмпедоклу и Демокриту, в контексте изучения современных высокотехнологичных медиа» (С. 27), однако нельзя отказать автору в обоснованном применении весьма давних концептуализаций для лучшего понимания сегодняшней жизни. Кроме того, он подкрепляет свою позицию ссылками на академическую традицию, оформившуюся благодаря тому, что «мысль трактовать Эмпедокла и Демокрита в том числе и как родоначальников медиафилософии, встретила определенное одобрение» (С. 33). Так, «сопоставляя концепцию Эмпедокла с рассуждениями о метавселенных, запускаемых IT-компаниями — создателями и владельцами социальных медиа, следует рассмотреть вопрос о бесшовном мире и то, как идеи о нем реализуются в социальных медиа... Поскольку медиа опосредуют наши отношения с миром, правильным будет спросить, как выстраивается наша идентичность в социальных медиа, а поскольку они также “производят новый мир — медиареальность”, важно попытаться установить, какие ценности задаются в реальности социальных медиа, а также увидеть их отражение на политическом уровне» (С. 47). Кстати, постоянные отсылки к политическому — также рефрен обеих книг.

В первой книге читатель может выбрать наиболее интересные ему вопросы современной киберкультуры: в первой главе это медиафилософия и кибернетика, контркультура и киберноосферизм, субъект эпохи социальных медиа и цифровой субъект/фланер; во второй главе — машинные и цифровые идентичности, дихотомия «личное/публичное» в социальных

медиа и их этика, агрессия и сексуальность в цифровом мире, виртуальные сообщества и тролли; в третьей главе — роль новых медиа в формировании картины мира, трактовки истины и постправда, фейки или пузыри фильтров. Каждому вопросу посвящен отдельный раздел, но в целом социальные медиа рассматриваются как «концентрированное выражение модернизированного глобализованного XXI века, в котором сетевой принцип организации и децентрализация играют первостепенную роль. Мир, в котором живет современный человек (и сам обычно этого не знает), сформирован под влиянием постфордизма, кибернетики, теории игр и делезианских штудий» (С. 52), и в этом мире «сеть стала новым главным “означающим” и затмила собой все остальное» [2. С. 78]. Кроме того, каждый вопрос историко-теоретически контекстуализирован, например, корни постмодернистского феномена постправды автор обнаруживает в западной философии: «Ж. Сорель писал, что массы на исторические свершения толкают не экономические или иные рациональные интересы, как полагали марксисты, а мифы... Также для понимания феномена постправды крайне важна концептуализация связи власти и знания, которую осуществляли М. Фуко, французские гошисты (Л. Альтюссер, Г. Дебор) и представители Франкфуртской школы (М. Хоркхаймер, Т. Адорно). Уже тогда мыслители отмечали расползание экономической власти капитализма на формы мышления в виде культурных индустрий» (С. 233–234).

Книга систематизирует не только тематические акценты и контекстуальные фреймы всех перечисленных выше вопросов, но и их повседневные и академические интерпретации, а также, что немаловажно для читателя-студента, категориальный аппарат междисциплинарного анализа современного массового, информационно-цифрового и социально-сетевого общества. Например, автор отмечает, что у мгновенной популяризации и эгалитаризма Интернета есть и обратная сторона: «террористические движения... или ультраправые экстремистские группировки блестяще освоили роевые принципы вербовки и пропаганды через социальные медиа»; мы наблюдаем «феномен героизации преступников в социальных медиа» (С. 128) [см. также: 3] — «вместо воображаемой киберкультурной утопии Интернет стал ответственным за возрождение в мире фанатизма и нетерпимости. Политические и религиозные группы теперь можно рассматривать как “цифровые племена”, которые входят в онлайн-пространство с намерением получить подтверждение своей идентичности и закрепить свои параноидальные страхи и фобии» [1. С.166]. Автор говорит о масштабной «ретрайбализации социальных медиа», порождающей запрос на «цифровую детрайбализацию» (С. 129), «деплатформинг токсичных и агрессивных пользователей, а также блокировку отдельных социальных медиа с неоднозначной репутацией», которые, впрочем, «далеко не всегда приводят к положительным результатам» (С.140–141). Отсюда возникает

«цифровой вигилантизм» — «скоординированная в пространстве социальных сетей попытка гражданского общества восстановить нормы правопорядка в тех случаях, когда правоохранительные органы не до конца справляются с этой задачей» (С. 141), однако и этот феномен несет огромные риски — вместо усиления гражданского контроля может способствовать росту анархии и агрессии.

Подобная антиномичность прослеживается в социально-сетевой цифровой среде и применительно к субъектности. Так, одни исследователи считают, что «социальные медиа родились в ответ на невыносимую социальную изоляцию, вызванную деградацией традиционных СМИ, и именно поэтому запустили идею о самовольной и во многом произвольной пересборке собственных идентичностей... особенно в тех социальных медиа, где преобладает визуальная самопрезентация» (С. 159). Другие исследователи, напротив, полагают, что выстраивание цифровой идентичности предполагает «превращение себя в цифровую аватару... деперсонализацию... растворение в некоем заданном самой платформой стандарте, в причащении... сообществу социальной сети, самоидентификации с ней» (С. 160–161). «Алгоритмы, предлагающие тебе новых друзей и подписчиков, не имеют ничего общего с такими принципами свободного общения, как самоопределение и добровольный выбор круга общения... что доказывает истирание в социальных медиа фундаментальных свобод» (С. 186). Автор показывает, как постправда, фейки и пузыри фильтров могут усиливать политическую поляризацию, разрушать доверие и усиливать социальные конфликты [см., напр.: 4; 5].

Завершает книгу раздел о «пузырях фильтров — это эхо-камеры, созданные не человеческими общностями и лидерами мнений, а алгоритмами, опирающимися на личные предпочтения человека, даже если впоследствии работу алгоритмов эксплуатируют недобросовестные пользователи... Фильтры могут быть полезными для сужения поисковых задач, когда необходимо найти конкретное решение... Однако в иных случаях пузырь слишком сильно ограничивает поле зрения пользователя... В новых медиа окончательно реализуется бартовская “смерть автора”... Под действием алгоритмов из Сети уходит ощущение человека — автора контента — и разворачивается ультимативное соревнование за безличность» (С. 263). Здесь приведена ссылка на вторую книгу — ее автор упоминается в ряду ученых, которые «подходят к феномену пузырей ревизионистски, призывая не увлекаться метафорами и не пытаться объяснить с помощью легко запоминаемых образов социальную и цифровую машинерию социальных медиа. А. Бранс... называет концепцию фильтров “дутой”, полагая, что ее сторонники преувеличивают роль алгоритмов и что у социальной гиперполяризации и расцвета популизма совсем другие причины, не связанные напрямую с развитием цифровых медиа» (С. 265).

Бранс действительно отмечает «пагубное влияние злоупотребления метафорическими терминами на изучение принципов работы новых медиа» (С. 266), но сосредоточивается на систематизации не всего предметного поля междисциплинарного анализа нашей социально-сетевой жизни в цифровом пространстве, а лишь объективных характеристик и интерпретаций «стены фильтров». Поэтому рассматриваемые вопросы содержательно и количественно отличаются от первой книги: эхо-камеры и пузыри фильтров — не просто модное словечко; что это вообще такое; каковы они в действии; как можно прорвать пузырь (возможные стратегии противостояния негативному влиянию новых медиа и социальных сетей упоминаются в обеих книгах); рекомендация говорить не столько о цифровой изоляции, сколько о социальной поляризации. Автор признает корректность аргументов против эхо-камер: «если мы все спрячемся в свои информационные коконы, где будем общаться только с теми, кто разделяет наши взгляды, крайне избирательно потреблять информацию и пользоваться строго определенными медиа, то общество раздробится» (С. 9). Однако стремится показать и то, что «страхи по поводу общественных эффектов информационной раздробленности и роли новых медиа в их создании только отвлекают внимание от куда более серьезных проблем, являющихся движущей силой поляризации» (С. 10), и подразумеваются объективные офлайн процессы. Автор не отвергает концепцию эхо-камер и пузырей фильтров, а возражает против ее некритического восприятия в науке, публицистике и повседневности, поэтому, отмечая, что понятия «эхо-камера» и «пузырь фильтров» «словно миф отлиты в бетоне», предлагает «попытаться расколоть бетон и обнаружить шаткие основания, на которых выстроены эти концепции» (С. 19). Согласиться с тем, что у этих понятий нет прочного концептуального и эмпирического фундамента, сложно в силу объяснительного потенциала этих удачных метафор, однако нельзя не признать правоту автора в том, что мы пытаемся возложить слишком много ответственности за негативные офлайн процессы на последствия наших же технологических решений и социальных выборов в онлайн среде.

Главный и основной критический выпад автора сводится к тому, что понятия эхо-камер и пузырей фильтров стали феноменально популярны, будучи «очень плохо разработанными»: даже «ученые скорее склонны считать их взаимозаменяемыми, нежели пытаться провести между ними какие-то различия. Подобная понятийная путаница порождает многозначность использования этих терминов в научных работах и препятствует обнаружению несомненных доказательств существования данных явлений... Их первоначальные разработки основывались главным образом на гипотетических мысленных экспериментах или личных историях; выводы о вредоносных последствиях этих явлений авторы делают, не удосужившись подкрепить свои

мрачные прогнозы изучением предпочтений и поведения реальных пользователей. Нам не удастся свалить всю вину за тот хаос, в котором мы находимся, на технологии» (С. 14–15).

Действительно, многие работы в этом предметном поле не опираются на статистические и эмпирические данные (в том числе первая книга), а если соответствующие изыскания и проводятся, то «оказываются довольно близорукими» (С. 16). Впрочем, автор приводит результаты исследований последних двадцати лет, которые зафиксировали, что «принадлежность к тем или иным эхо-камерам и пузырям фильтров... может быть даже благотворной, до тех пор пока люди в состоянии найти выход из этих камер... а благоприятные аспекты участия в онлайн-сообществах зачастую упускаются из виду в публичных обсуждениях опасностей, связанных с эхо-камерами и пузырями фильтров. Пользователи со схожими взглядами помогают друг другу разобраться в окружающем мире, что не мешает им спорить друг с другом (иногда и в агрессивной манере)... Принадлежность к сетевому сообществу требует определенного уровня взаимного согласия и наличия общих целей, но это не значит, что участники должны придерживаться единообразной идеологии во всех сферах своего (сетевого) бытия» (С. 17).

Ссылаясь на данные исследований, автор показывает, что власть стены фильтров не столь сильна, как нас хотят убедить многие теоретики: пользователи могут сознательно прорывать свой пузырь идеологических фильтров, чтобы «продемонстрировать оппозиционный способ чтения контента, проникшего извне»; «самые рьяные идеологи меньше всего могут позволить себе закрыться наглухо в эхо-камерах и пузырях фильтров — чтобы привлекать сторонников, мониторить мнения противников, прорабатывать контраргументы для своих последователей, они должны оставаться на связи с внешним миром»; «у нас всегда есть выбор, какие связи создавать и какую информацию потреблять», даже если процессы отбора и исключения проходят преимущественно на социальных платформах (С. 57–59). Иными словами, и с этим выводом автора нельзя не согласиться, нам нужны «многосторонние методологические подходы в изучении сетевых и социальных медиа и их влияния на коммуникацию и установление связей между пользователями» (С. 60).

Библиографический список

1. Берарди Ф. Новые герои: массовые убийцы и самоубийцы. М., 2016.
2. Гэллоуэй А.Р. О любви посередине // Экскоммуникация. Три эссе о медиа и медиации. М., 2022.
3. Троцук И.В., Субботина М.В. Представления россиян о героях и героизме: устойчивые и изменчивые компоненты (по материалам опросов общественного мнения) // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2023. Т. 23. № 3.
4. Trotsuk I.V. All power to the experts? Contradictions of the information society as both depending on and devaluating expertise // Russian Sociological Review. 2021. Vol. 20. No. 1.
5. Trotsuk I.V. Excessive faith in certainty and its public proponents in the non-linear uncertain world: Reasons and... more reasons // Russian Sociological Review. 2021. Vol. 20. No. 4.

Antinomies of digitalization and visualization in the contemporary mass culture*

A.V. Nimensky, A.D. Gerasimov

RUDN University,

Miklukho-Maklaya St., 6, Moscow, 117198, Russia

(e-mail: 1142220897@rudn.ru; 1132210569@rudn.ru)

Abstract. The article is a review of two books that differently assess the processes and results of informatization, networkization and digitalization of the mass society, which have given rise to many phenomena that are antinomic in nature, primarily due to the interweaving positive and negative consequences for social interaction. In the first book — *Post-Truth or Fake: The Issue of Truth in Social Media* (Saint Petersburg: Vladimir Dal; 2023. 303 p.) — N.A. Rhodosky conducts a ‘retrospective analysis’ of the concept and role of the media in “the development of philosophy of cyberculture”; the book is a ‘compendium’ of categories and conceptual approaches to the study of social media. The second book by A. Bruns *Are Filter Bubbles Real?* (Transl. from English by A. Arkhipova; ed. by A. Pavlov. Moscow: HSE Publishing House; 2023. 120 p.) focuses on one aspect in the functioning of social media — “the influence of the ideologically biased echo chambers and filter bubbles on the nature of public discussions”, and also systematizes the conflicting assessments of the consequences of the ever-increasing digitalization of our everyday life.

Key words: (new) social media; digitalization; post-truth; echo chambers; filter bubbles; communication; network space; antinomies

*© A.V. Nimensky, A.D. Gerasimov, 2023

The article was submitted on 11.08.2023. The article was accepted on 16.10.2023.



НАШИ АВТОРЫ

Абгаджав Даур Арнольдович — кандидат социологических наук, доцент кафедры конфликтологии Института философии Санкт-Петербургского государственного университета (e-mail: d.abgadzava@spbu.ru).

Алейников Андрей Викторович — доктор философских наук, профессор кафедры конфликтологии Института философии Санкт-Петербургского государственного университета (e-mail: a.alejnikov@spbu.ru).

Белов Андрей Александрович — кандидат социологических наук, директор филиала технопарка ООО «ИнКата» в Минской области (e-mail: belov404.net@gmail.com).

Беляева Людмила Александровна — доктор социологических наук, исполняющая обязанности руководителя Центра изучения социокультурных изменений Института философии Российской академии наук (e-mail: bel46@mail.ru).

Герасимов Андрей Денисович — студент инженерной академии Российского университета дружбы народов (e-mail: 1132210569@rudn.ru).

Голодова Жанна Гавриловна — доктор экономических наук, профессор кафедры национальной экономики Российского университета дружбы народов (e-mail: golodova-zhg@rudn.ru).

Горшков Михаил Константинович — доктор философских наук, академик Российской академии наук, научный руководитель Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук, директор Института социологии ФНИСЦ РАН (e-mail: m_gorshkov@isras.ru).

Данилов Александр Николаевич — доктор социологических наук, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси; заведующий кафедрой социологии Белорусского государственного университета (e-mail: a.danilov@tut.by).

Джонг Аббас — кандидат социологических наук, научный сотрудник кафедры истории философии Российского университета дружбы народов (e-mail: dzhong-a@rudn.ru).

Дмитриев Тимофей Александрович — кандидат философских наук, доцент школы философии и культурологии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (e-mail: tdmitriev@hse.ru).

Игнатова Татьяна Андреевна — аспирант кафедры социологии Российского университета дружбы народов (e-mail: eignatova0304@mail.ru).

Кокаревича Анита — доктор наук в экономике и предпринимательстве, доцент кафедры общественного здоровья и эпидемиологии Рижского университета имени Страдыня (e-mail: anita.kokarevica@rsu.lv).

Комарова Вера — доктор экономики, ведущий исследователь Института гуманитарных и социальных наук Даугавпилсского университета (e-mail: vera.komarova@du.lv).

Кудиньш Янис — доктор социальных наук, доцент кафедры экономики Даугавпилсского университета (e-mail: janis.kudins@du.lv).

Ларина Татьяна Игоревна — кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии Российского университета дружбы народов (e-mail: larina-ti@rudn.ru).

Меньшиков Владимир — доктор социологии, профессор Института гуманитарных и социальных наук Даугавпилсского университета (e-mail: vladimirs.mensikovs@du.lv).

Милошевич Шошо Биляна — доктор социологии, доцент кафедры социологии Университета Восточного Сараево (Босния и Герцеговина) (e-mail: milosevic_biljana@yahoo.com).

Музыкант Валерий Леонидович — доктор социологических наук, профессор кафедры массовых коммуникаций Российского университета дружбы народов (e-mail: muzykant-vl@rudn.ru).

Мукситх Мунадхил Абдул — профессор коммуникологии, заведующий кафедрой коммуникативной науки UPN Университета Джакарты (e-mail: munadhil@upnvj.ac.id).

Мухаметжанова Винера Саяровна — кандидат социологических наук, доцент кафедры этики Российского университета дружбы народов (e-mail: mukhametzhanova-vs@rudn.ru).

Наран Болдмаа — доктор социологических наук, доцент кафедры социологии и социальной работы Монгольского государственного университет (e-mail: n.boldmaa@num.edu.mn).

Нименский Андрей Викторович — аспирант кафедры социологии Российского университета дружбы народов (e-mail: 1142220897@rudn.ru).

Осеев Александр Александрович — доктор социологических наук, профессор кафедры экономической социологии и менеджмента Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (e-mail: oseev.a@mail.ru).

Осипов Александр Михайлович — доктор социологических наук, профессор кафедры социологии Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена (e-mail: osipov.al58@gmail.com).

Пинкевич Анна Георгиевна — кандидат политических наук, доцент кафедры конфликтологии Института философии Санкт-Петербургского государственного университета (e-mail: a.pinkevich@spbu.ru).

Пратомо Ризки Ридхо — младший научный сотрудник факультета социальных и политических наук UPN Университета Джакарты (e-mail: rizkyridho0897@gmail.com).

Пузанова Жанна Васильевна — доктор социологических наук, профессор кафедры социологии Российского университета дружбы народов (e-mail: puzanova-zhv@rudn.ru).

Ротман Давид Генрихович — доктор социологических наук, директор Центра социологических и политических исследований Белорусского государственного университета (e-mail: dgrotman@rambler.ru).

Савин Сергей Дмитриевич — кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник Центра комплексных социальных исследований Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук; доцент кафедры социологии Российского университета дружбы народов (e-mail: ssd_sav@mail.ru).

Смирнов Павел Александрович — кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры национальной экономики Российского университета дружбы народов (e-mail: smirnov-pa@rudn.ru).

Старостина Анна Андреевна — аспирант кафедры социологии Российского университета дружбы народов (e-mail: starostina-aa@rudn.ru).

Субботина Мария Владимировна — кандидат социологических наук, ассистент кафедры социологии Российского университета дружбы народов (e-mail: mariya.subbotina.1995@mail.ru).

Талянович Амила — доктор социологии, профессор факультета уголовного правосудия, криминологии и исследований безопасности Сараевского университета (Босния и Герцеговина) (e-mail: ataljanovic@fkn.unsa.ba).

Тюрина Ирина Олеговна — кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник научно-организационного отдела Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (e-mail: irina1-tiourina@yandex.ru).

Чижо Эдмунд — доктор наук в экономике и предпринимательстве, доцент кафедры экономики факультета социальных наук Даугавпилсского университета (e-mail: edmunds.cizo@du.lv).



К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

В журнале публикуются статьи по методологии, истории и теории социологии, статьи по результатам социологических и междисциплинарных исследований по широкому кругу вопросов социально-гуманитарного знания на русском и английском языках, а также реферативные обзоры и рецензии.

Редакция принимает к рассмотрению статьи, оформленные в строгом соответствии со следующими правилами:

1. **Объем рукописи** — от 30 до 50 тысяч знаков (с пробелами) для статей, от 20 до 30 тысяч знаков — для рецензий. Формат страницы — А4, шрифт — Times New Roman, размер шрифта — 12, межстрочный интервал — полуторный, нумерация страниц не проставляется. Отступ первой строки абзаца — 1,25, поля на странице — 30 мм слева, 20 мм справа, сверху и снизу. Ссылки даются в тексте в квадратных скобках, внутри которых первая цифра указывает на номер источника в библиографическом списке, вторая, стоящая после прописной буквы «С», — на номер страницы в источнике (например, [1. С. 26]; ссылка на несколько источников — [1. С. 126; 4. С. 43]). Ссылки на примечания даются в круглых скобках, например, (1).
2. **Все таблицы, схемы, графики и рисунки** встраиваются непосредственно в текст статьи. Они должны быть пронумерованы и озаглавлены. Таблицы должны иметь заголовки, размещаемый над табличным полем, рисунки — подрисуночные подписи. При использовании в статье нескольких таблиц и/или рисунков их нумерация обязательна.
3. **Формулы** размечаются, поясняются и снабжаются библиографическими ссылками.
4. В рукописях необходимо приводить два списка ссылок на использованные в работе источники — «**Библиографический список**» и «**References**». Ссылки на источники в Библиографическом списке следует оформлять в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008; References — в стиле Vancouver в версии AMA. Требования к оформлению Библиографического списка и References приведены на сайте журнала: http://journals.rudn.ru/index.php/index/pages/view/References_guidelines.
5. К статье обязательно прилагаются:
 - ♦ **аннотация** (резюме) объемом 250–300 слов на русском и английском языках;

- ◆ **список 7–8 ключевых слов** на русском и английском языках; каждое ключевое слово или словосочетание отделяется от другого точкой с запятой;
- ◆ **авторская справка** на русском и английском языках, где указываются: Ф.И.О. (полностью), официальное наименование места работы, должность, ученая степень, а также **данные для связи с автором** — адрес места работы, включая почтовый индекс, номер телефона (служебный, мобильный), электронный адрес; **в статье допускается не более четырех соавторов.**

Срок рассмотрения и принятия решения о публикации составляет не менее **шести** месяцев со дня регистрации рукописи в редакции. Материалы, не принятые к изданию, не возвращаются. Редколлегия не вступает с авторами в переписку в случае отказа от публикации их материалов.

Авторы несут ответственность за подбор и достоверность приведенных фактов, цитат, статистических и социологических данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений.

Публикуемые материалы могут не отражать точки зрения редколлегии.

Представляя в редакцию рукопись, автор берет на себя обязательство не публиковать ее ни полностью, ни частично в ином издании без согласия редколлегии.

С содержанием вышедших номеров и аннотациями статей можно ознакомиться на сайте журнала в сети Интернет: <http://journals.rudn.ru/sociology/index>.

Для отправки статьи в редакцию необходимо заполнить форму на сайте журнала <http://journals.rudn.ru/sociology/information/authors>, где также приведена подробная информация для авторов.

AUTHORS' GUIDELINES

The journal publishes articles on the methodology, history and theory of sociology, articles on the results of sociological and interdisciplinary studies covering a wide range of issues in social sciences and humanities written in Russian and English, as well as brief surveys and book reviews.

The editors will consider articles strictly complying with the following standards:

1. **The size of the manuscript** — from 30 to 50 thousand symbols for articles; from 20 to 30 thousand symbols for reviews. References are to be given in the text in square brackets, inside of which the first figure indicates the number of the source in the references list, the second one, following the capital letter “P”, indicates the page number in the source (for example, [1. P. 126]; references to several sources — [1. P. 126; 4. P. 43]). References to footnotes are to be given in round brackets, for example, (1).
2. All the **tables, diagrams, graphs, and drawings** are to be incorporated in the text of the article. They are to be numbered and supplied with a title. Tables are to be given a title placed above the table, drawings are to have captions. When several tables and/or drawings are used in the article, their numeration is obligatory.
3. **Formulas** are to be marked out, explained and provided with references.
4. The manuscript must include a list of references submitted in accordance with the Vancouver style of the AMA version. Requirements to ‘References’ can be found on the journal’s website: http://journals.rudn.ru/index.php/index/pages/view/References_guidelines.
5. **It is obligatory to attach** the following to the manuscript:
 - ◆ **abstract (summary)** of 250–300 words in Russian and English;
 - ◆ **a list of 7–8 key terms** in Russian and English; each key term or word-combination is to be separated from another one with a semicolon;
 - ◆ **information about the author** in Russian and English, including: the author’s full name, the official name of the place of employment, position, scientific degree, as well as the **author’s contact data** — mailing address, telephone number (office, mobile), electronic address; **the number of co-authors cannot be more than four.**

The decision as to publication is made no less than within **six** months from the day the manuscript is registered at the editorial office. Materials which are not accepted for publication will not be returned. The editors will not enter into correspondence with the authors in case of refusal to publish the articles submitted by them.

The authors will bear full responsibility for the selection and authenticity of the given facts, quotations, statistical and sociological data, proper names, geographical names and other information.

The published materials may not reflect the viewpoint of the editorial board and the editors.

The author, submitting a manuscript to the editors, undertakes not to have it published, either in full or partially, in any other publication without the editors' consent.

The published issues and abstracts of the articles are available on the website of the journal: <http://journals.rudn.ru/sociology/index>.

To send the article to the editors the author need to fill in a form on the website <http://journals.rudn.ru/sociology/information/authors>, which also provides the detailed information for authors.